

INSPIRIA

Ирен Дивяк

Скажи Алексу, чтобы не ждал

В переводе
Аделии Зубаревой

18+

INSPIRIA

Скажи Алексу, чтобы не ждал

Ирен Дивяк

Аннотация
Ирен Дивяк. Скажи Алексу, чтобы не ждал
18 февраля 1943 года
Лето 1941 года
Лето 1941 года
1917–1921 годы
Лето 1941 года
Лето 1941 года
Осень 1941 года
Осень 1941 года
Осень 1941 года
1933 год
Зима 1941 года
Зима 1942 года
Зима 1942 года
1937 год
Весна 1942 года
Весна 1942 года
1937 год
Лето 1942 года
Лето 1942 года
Лето 1942 года

Лето 1942 года
Лето 1942 года
Лето 1942 года
Лето 1942 года
Лето 1942 года
Варшава, 1942 год
Россия, 1942 год
Россия, 1942 год
Россия, 1942 год
Россия, 1942 год
Россия, 1942 год
Россия, 1942 год
Россия, 1942 год
1937–1938 годы
Осень 1942 года
Осень 1942 года
Зима 1942 года
Зима 1942 года
Зима 1943 года
Зима 1943 года
Зима 1943 года
Февраль 1943 года
17 февраля 1943 года
Послесловие
Несколько заключительных слов
Именной указатель

Благодарности
Список литературы

Аннотация

Мюнхен, 1941 год. На первый взгляд кажется, что двух студентов – Ганса Шолля и Алекса Шмореля – мало что связывает, пока однажды они оба не сбегают с занятий по военной подготовке, предпочтя искусство и литературу стоянию по стойке «смирно». С тех пор между ними завязывается крепкая дружба, и Ганс становится постоянным гостем на русских вечерах, проводимых в доме Алекса.

Но с каждым днем война разгорается все сильнее, как и желание молодых людей высказаться против нее. Да, их затея опасна. И риск возрастает, когда младшая сестра Ганса Софи переезжает в Мюнхен – она ни при каких обстоятельствах не должна узнать о сопротивлении.

Потому что оно будет стоить всем участникам жизни.

Студенческое движение «Белая роза», организованное студентами Мюнхенского университета, просуществовало совсем недолго, но имена ее участников навсегда остались в истории.

«Скажи Алексу, чтобы не ждал» – документальный и оттого еще более пронзительный роман о молодых людях, которые были готовы отдать жизнь во имя своих идеалов, но вместе с тем это трогательная и человечная история о дружбе, любви и неистребимой надежде.

Ирен Дивяк
Скажи Алексу, чтобы не ждал

Irene Diwiak
Sag Alex, er soll nicht auf mich warten

© Зубарева А., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

18 февраля 1943 года

Арестовали двоих — девушку и молодого человека — это все, что нам известно. Да не арестовали, просто держат за рукава! Глядите, смотритель напустил на себя важный вид, а ведь он настолько маленький, что даже девушка смотрит на него сверху вниз. Какой же это арест?! Что-то там с бумагами… Нет, у них с бумагами все в порядке, дурачок. Речь о бумажках, которые нашли во внутреннем дворике. Может, в них вообще бутерброды заворачивали… Бумага есть бумага, пусть смотритель примет меры! Для чего он здесь вообще?! Ты подобрал листовку? Я тоже нет, мне еще жить хочется. Значит, не мусор… Как ужасно! Сейчас, когда недавнее поражение под Сталинградом все еще болью отзывается в сердце, нужно воспрянуть духом, а не поддаваться моральному разложению. Выше голову, друзья! Выше голову, девушка! Ничего не доказано… Парень выглядит подозрительным, есть в нем какая-то хитринка. В нем — да, но не в малышке. Глаза у нее, как два лесных орешка… Читал листовку? Я тоже нет, но женщина такое не напишет, вот и все.

Гляди, смотритель клещами вцепился ей в рукав! А ведь она и не пытается сбежать! Даже смотрители порой ошибаются, если она и бросила листовки, то наверняка случайно. А пусть даже и специально! Конечно же, она их не читала. А ты читал? Видишь, и я нет. Может, это все-таки пергаментная бумага?..

К сожалению, не она. Полиция уже здесь? Вот и хорошо, надо навести порядок, за словами последуют действия, а у нас, немцев, и без того проблем достаточно! Эй ты, попридержи язык! А не то присоединишься к этим двоим. Я уверен, что произошло недоразумение… Паренек мне знаком, он медик, служит в вермахте. Все служат в вермахте, но некоторые устраивают мятежи, хуже этих солдат нет. Что с того, что он медик? Какое отношение клятва Гиппократа имеет к присяге фюреру? Совершенно никакого, скажу я вам. А я вот что скажу: мальчишеская шалость, ошибка молодости, чистая глупость. Все прояснится. Нет, больше мы их не увидим. Думаешь, их отчислят из университета? Очевидно, что они ни при чем! Смотрите, какие спокойные! Их не уводят силком, они идут добровольно, шаг у них твердый — разве так идут виновные? Быть может, они не виновны, но мы все равно их больше не увидим.

Да ладно тебе. Они выглядят серьезными, почти радостными. Эй, живее! Несколько полицейских собирают *corpi delicti. Corpora, corpora* [1]! Третье согласное склонение, множественное число оканчивается на — *ora*, господин сокурсник! Да какая разница! В общем, полицейские собирают листочки. Довольно таращиться, шагом марш на следующую лекцию! Скоро отправитесь на фронт, там и будете таращиться! Пошел, пошел!

Внезапно молодой человек останавливается посередине внутреннего дворика, и девушка смотрит на него широко раскрытыми глазами. Неужели он все-таки будет сопротивляться аресту?..

Обращаясь к кому-то конкретному или ко всем нам, он бросает через плечо: «Скажи Алексу, чтобы не ждал!» После чего его грубо толкают вперед — пошел, пошел! — а мы, девушки и юноши, растерянно смотрим ему вслед.

---

[1] Примечания: 1

Corpora delicti — улики (*лат.*).

Лето 1941 года

Казарма, ранний подъем, дух товарищества, умывание над железной бадьей плечом к плечу — есть в этом что-то кочевническое. Переодеваешься в форму, преисполненный надежд на будущее, на повышение в чине и звании. Потом молитва в тишине за завтраком, отвратительный кофе, черствый хлеб — да, есть в этом что-то аскетичное. Поблагодарив Господа за все сущее и попросив о большем, отправляешься в университет и проводишь утро в умственных изысканиях. Никто из знакомых Ганса не набрал столько предметов, сколько он. Но ведь люди состоят не только из кожи, костей и крови, и одной медицины недостаточно, чтобы изучить человека во всех его проявлениях. Больше всего Ганс любит посещать лекции по философии. Впрочем, фюреру плевать, научишься ты чему-нибудь или нет, главное — не опаздывай на занятия по военной подготовке. В здоровом теле здоровый дух и тому подобное. Тренировки на свежем воздухе, совсем как в Ульме в старые добрые. Вечером — письмецо какой-нибудь девушке, не важно какой,

и распевание патриотических песен. Когда тут хандрить?

Как сильно можно измениться всего за несколько лет…

Ганс крутит педали. Каждое следующее нажатие дается труднее предыдущего: велосипед разваливается, скоро придется покупать новый, и не оставляй Ганс на прилавке книготорговца каждую рейхсмарку, которая попадает ему в руки, то давно бы скопил необходимую сумму. Однако философские труды не только безумно интересны, но и невообразимо дороги, поэтому пока приходится седлать старого железного коня. Если бы только на чтение оставалось больше времени, если бы только государство не дышало в затылок…

Вдалеке слышится звон церковных колоколов — полдень миновал. Ганс жмет на педали сильнее и сильнее, но велосипеду, кажется, все равно: быстрее он не едет. Интересно, думает Ганс, возможно ли, ну, с технической точки зрения, что его нежелание передается колесам? Затормаживает их? С технической точки зрения — вряд ли, но возможность все равно есть. Девушки на другой стороне улицы здороваются с Гансом, хихикают, оживленно машут, и он оборачивается. Нет, он

их не знает. Пошатнувшись, Ганс на мгновение теряет равновесие и чуть не сносит газетный киоск. И чего они поздоровались? Ах да, он же в форме! Глупые гусыни. Из-за них он чуть не упал. Впрочем, эти девицы еще совсем молоденькие, они свято верят, что каждый солдат — герой или, по крайней мере, славный малый. Вот ведь глупые гусыни. Дурацкие газетные киоски вбивают им в голову эту чушь громкими заголовками и фотографиями бравых парней на первых полосах: «Наш победоносный вермахт идет на Восток», «Наш победоносный вермахт идет на Запад» — наш победоносный вермахт и здесь, и там, и вообще повсюду. И вот крохотная частичка этого самого вермахта чуть не врезалась в газетный киоск. Девушки на другой стороне улицы больше не хихикают. Идут себе дальше. Что? Не такой уж он и бравый, да? Газетчик ругается: во время своего маневра Ганс снес с прилавка стопку «Фёлькишер беобахтер». Пусть себе валяются на земле. У Ганса есть заботы поважнее. Истинному немцу не пристало опаздывать на занятия по военной подготовке, это строго карается. Газетчик размахивает кулаком — не столь угрожающе, сколь комично, как муж-рогоносец из сценической буффонады, — но не утруждает себя погоней за

ржавым велосипедом. Похоже, здесь он согласен с Гансом: «Фёлькишер беобахтер» того не стоит.

Ганс мог бы облегчить себе жизнь. Остальные солдаты из его роты сейчас во дворе казармы (до войны там располагалась школа), докуривают последнюю сигарету, после чего неторопливо направляются к спортивной площадке. Но Ганс не вернулся в вест-эндовские казармы к полудню вместе с остальными. Несмотря на обязательное проживание в казарме, он по-прежнему платит за студенческую комнату — нужно же где-то разместить множество книг, да и себя тоже, когда становится совсем невмоготу. В этой комнате тихо, а из окна открывается вид на соседский сад. Цветов там сейчас мало, зато сад радует своей зеленью. К тому же Ганс наслаждается каждой минутой без приказов свыше. За что теперь расплачивается, потея в три ручья. Денек сегодня на редкость погожий для этого времени года. Кажется, будто солнце одобряет все, что сейчас происходит на земле. Что ж, по крайней мере помешать происходящему оно точно не в силах.

Возле ворот Ганс бездумно бросает велосипед в кусты. Украдут — невелика потеря, особенно в сравнении с дисциплинарным взысканием, которое почти наверняка будет стоить ему вы-

ходных. В такую погоду отправиться бы на гору Йохберг или на озеро Штарнбергер, но только не терять время в мрачной казарме. Нельзя же так себя мучить…

Наконец Ганс добирается до спортивной площадки. Никто не стоит по стойке смирно, душный летний воздух не вспарывают командирские выкрики. Ганс успел, он вовремя. Солдат пока нет, лишь десяток мальчишек. Перед глазами школьный двор, почти как в старые добрые времена, вот только детки большеваты, да и одеты одинаково. Одни болтают и смеются, другие пинают банку, третьи, полные энтузиазма, соревнуются в армрестлинге или отжимаются. Некоторые — их совсем немного — стоят в сторонке и кажутся такими же потерянными, как Ганс. Не успевает он как следует отдышаться, как начинается перекличка. Мальчишки сразу же становятся солдатами и встают по стойке смирно. Возможно, мы ничему в жизни не научимся, зато в шеренгу будем выстраиваться за считаные секунды. Наверняка это когда-нибудь да пригодится. Командир проверяет посещаемость, зачитывая фамилии от А до Я. На что мы тратим свое время…

— Аберер?

— Здесь!
— Ахляйтнер?
— Здесь!
— Бидерманн?
— Я!
На что мы тратим молодость…
— Шолль?
— Здесь!

Стоим, смотрим прямо перед собой и ждем, пока дойдет до буквы Я.

Наконец звучит последняя фамилия. Перед началом учений присутствующих делят на группы, по команде все расходятся по местам. А стоящий рядом долговязый паренек, на которого Ганс почти не обращал внимания, разворачивается и уходит прочь.

Похоже, никто этого не замечает. Неудивительно, в такой-то суете. А паренек знай себе идет в сторону леса: длинными ногами переступает через низенький заборчик, окружающий спортивную площадку, и исчезает вдали так непринужденно, будто сам командир приказал ему скрыться с глаз долой. Ганс задумывается. Донести на него? Но зачем? Во имя системы? Даже не смешно. Не обращать внимания? Как вариант. Однако любопытство одерживает верх. Минуту

назад Ганс был готов пожертвовать велосипедом, чтобы избежать наказания, теперь же безо всякой причины рискует получить наказание куда серьезнее. Он снова озирается по сторонам. Все заняты, никто не обращает на него внимания, даже командир. Глубоко вздохнув, Ганс следует за юношей — перешагивает через забор и направляется к лесу. К свободе.

Вот и долговязый паренек. Сидит в тени дерева, спиной к Гансу. Ушел ровно настолько, чтобы со спортивной площадки его не было видно, и расположился на своей форменной куртке, которую расстелил на лесной подстилке, как одеяло для пикника. Склонился над чем-то, одетый в одну спортивную водолазку, и… читает? Трудно сказать наверняка. Вот чудак. Осторожность выглядит иначе. Наверняка он листает какую-нибудь брошюрку, которые любят раздавать в казармах и которые, по мнению Ганса, не более чем перевод бумаги. М-да, наглости ему не занимать. Это ж надо — пропускать тренировку ради такой ерунды… И все же Ганс подходит ближе. Сухие ветки тихо хрустят под сапогами, однако долговязый паренек, как будто не слыша, продолжает что-то листать. И Ганс, глядя поверх его плеча, наконец видит, что именно — не ка-

кую-нибудь жалкую брошюру, а книгу, причем с фотографиями! Люди, изображенные на фотографиях, напрочь лишены одежды, однако одежда им не нужна — они сделаны из камня.

— Роден! — изумленно восклицает Ганс.

Паренек испуганно вздрагивает — видимо, принимает Ганса за командира или кого-нибудь еще, от кого жди неприятностей, — и книга с шелестом выпадает у него из рук. Он вскакивает, пытаясь одновременно надеть куртку, отдать честь и извиниться, — причем делает это с притворной небрежностью, всем своим видом словно говоря: «Дружище, давай не будем раздувать из этого вселенскую трагедию». Ганс, не сдержавшись, издает смешок, и паренек понимает: этот трагедию не раздует.

С тренировочной площадки доносятся крики: «Раз-два-три-поехали!» И паренек тоже смеется, он успел продеть в рукав куртки только одну руку, да и то — неправильную.

— Что ж, вам удалось меня напугать, — говорит он. — Радуйтесь, что я уронил всего лишь книгу, а не бутылку хорошего вина.

Только сейчас Ганс замечает во мху темно-зеленую бутылку.

— Да, ее было бы жаль, — соглашается он, — но

и Родена тоже.

— Роден не разобьется, — отвечает паренек. — Меня зовут Александр Шморель. Если хотите, можем выпить на брудершафт, прямо здесь и сейчас. Тогда я буду просто Алексом. Это короче.

— Ганс, — представляется Ганс и протягивает руку, — короче некуда.

— А полностью?

— Шолль.

— Ганс Шолль, — повторяет Алекс и неверяще качает головой: — Короче и правда некуда.

Он наклоняется, берет бутылку и вытаскивает пробку.

Лето 1941 года

Это становится ритуалом. Они приходят на тренировочную площадку — почти всегда с опозданием (Алекс тоже старается проводить в казарме поменьше времени, игнорирует правила и даже ночует дома), бросают велосипеды у кустарника, вбегают в ворота и успевают как раз к перекличке. Порой Алекс опаздывает сильнее обычного, и тогда Гансу приходится кричать «здесь!» дважды подряд: после фамилии Шморель и после идущей следом фамилии Шолль. Ужасно рискованно, конечно, однако каждый раз срабатывает. Как ни странно. В голове не укладывается, что это вообще возможно, что строгую немецкую организацию можно так легко обмануть… Видимо, все уверены, что солдаты и помыслить не могут об обмане. К тому времени как командир доходит до буквы Я, Алекс успевает вернуться, незаметно встает где-нибудь с краю и рьяно вытягивается по стойке смирно, зажав под мышкой портфель, который привычным движением прячет за спину — и прятать который уже наловчился. Когда приходит время разделиться

на группы, два товарища целенаправленно пересекают тренировочную площадку, по-военному слаженно переступают через ограждение и направляются к лесу. Если кто-то когда-то и видел, как они уходят, то не донес на них: видимо, решил, что они действуют в рамках приказа.

Спрятавшись под сенью деревьев, юноши сбрасывают с себя форменные куртки, Алекс достает книги и непочатую бутылку вина. Смотришь и глазам не веришь: как только они помещаются в такой маленький портфель? Туда даже похожий на кирпич «Роден» поместится, если постараться. Ганс делает свой вклад — сигареты, но Алекс не вынимает изо рта трубку, даже если в ней кончается табак.

— До чего же приятно подносить трубку к губам, как делали древние поэты и мыслители, — говорит он. Мол, мир сразу кажется иным. Гансу тоже стоит попробовать.

— Нет уж, — возражает Ганс. — Я предпочитаю сигареты и настоящий дым. Будешь, кстати?

Алекс пожимает плечами: время от времени можно выкурить и сигаретку, пусть даже это немного банально.

Они курят, пьют и листают книги. Все книги Алекса посвящены искусству.

— Роден — гений, — говорит он, — а скульптура ни с чем не сравнится.

Сам он тоже пробует себя в искусстве, занимается с частными преподавателями и на курсах. Сложно сказать, выйдет ли из этого толк, но было бы неплохо. А вообще Алекс тоже врач, только не такой прилежный, как Ганс. Если те или иные лекции не обязательны для посещения, то Алекс на них и не ходит.

— Я видел скульптуры Родена в Париже, — говорит Ганс.

— Ты бывал в Париже?

— Да. Во время Французской кампании.

Делать там было особо нечего: французы не то чтобы сопротивлялись, скорее выжидательно слонялись вокруг оккупантов, которые занимали лучшие дома и забирали себе все ценности. Гансу до боли было стыдно за своих соотечественников.

Сам он отправился в столицу, посещал музеи. Наконец-то оправдалась покупка дорогой фотокамеры. В лазарете, где Ганс нес свою порой ужасно скучную, а порой просто ужасную службу, было на что посмотреть, но не сфотографировать. Ганс насмотрелся на страдания во время службы и в свободное время хотел созерцать прекрасное.

Интересно, где сейчас те фотографии? Наверное, остались дома в Ульме… Надо попросить родителей выслать их, как смогут. Или пригласить Алекса поехать с ним в Ульм на каникулы. Да, это хорошая мысль…

— Во время Французской кампании, — повторяет Алекс. — Я тоже в ней участвовал, но, к сожалению, в Париже не был. — Он вздыхает и делает большой глоток вина. — Как думаешь, куда нас пошлют в следующий раз? И когда?

В дни, когда они распивают на двоих целую бутылку, приходится быть особенно начеку, чтобы не пропустить заключительную перекличку, а потом — ничем не выдать своего легкого опьянения. Алекс говорит, что из-за того, что он родился в России, у него высокая сопротивляемость спиртному, однако это не совсем так: порой он бродит по тренировочной площадке заметно пошатываясь.

После того как они пролистали толстенного «Родена» и еще несколько книг поменьше, тоже посвященных скульптуре, Ганс говорит, что теперь его черед. Он покупает себе портфель (подожди еще немного, новый велосипед!) и засовывает туда полное издание Ницше. Потом с сияющей улыбкой выкладывает книги перед

Алексом:

— Ну, что скажешь?

— Что эти книги можно грызть долго, — отвечает Алекс, сморщив нос.

— Конечно, — соглашается Ганс, — но они того стоят.

— Даже не знаю, — говорит Алекс. — Философия… — Он пожимает плечами и, пожевав мундштук своей трубки, добавляет: — Бог ведь есть? Тогда что еще нужно?

Ганс с большим трудом сдерживает свое негодование и, немного запинаясь, выдавливает:

— Н-но… Ницше, он… его высказывания о современной культуре… форме без содержания и… о свободном человеке…

— А давай, — предлагает Алекс, — ты почитаешь своего Ницше, а я почитаю что-нибудь, что нравится мне?

Так они и поступают, однако случившееся не идет у Ганса из головы. В конце концов, этот Алекс разумный малый, так почему же отрицает высшую форму мышления?

В следующий раз Ганс снова приносит портфель, однако теперь в нем лежит одна-единственная книга. Алекс вытягивается на земле во весь рост и с любопытством смотрит на Ганса:

— Снова ты со своей философией?

Ганс лишь слегка усмехается, а потом вытаскивает книгу. Алекс удивленно округляет глаза.

Прежде они никогда не обсуждали политику. Негласно сошлись на том, что пропускать еженедельные военные учения — дело совершенно естественное, будь то просто из-за лени или из-за других причин. Между ними не существовало никаких договоренностей на этот счет.

— С первого апреля тысяча девятьсот двадцать четвертого года я начал отбывать свой тюремный срок в крепости Ландсберг-на-Лехе по приговору Мюнхенского народного суда, вынесенного в тот же день, — читает Ганс твердым голосом. Пропускает это предисловие и переходит к воспоминаниям Гитлера об отчем доме, точнее к призывам объединить германскую Австрию со Старой империей: — Тогда плуг станет мечом, тогда из слез войны вырастет хлеб для будущих поколений.

Алекс продолжает смотреть на него широко раскрытыми глазами.

— Что это вообще значит? — вдруг спрашивает Ганс, отрываясь от книги. — Речь о плуге или все-таки мече? Или это метафора ради метафоры? И с каких пор хлеб, словно какой-то овощ, растет

из земли? То есть из слез?

Напряженное лицо Алекса чуточку расслабляется, губы растягиваются в широкой усмешке.

— Подожди-ка! — восклицает Ганс. — Здесь еще столько странностей… — Он перелистывает несколько страниц. — Вот, например. Он пишет, что родился в «небольшом городишке, освещенном золотыми лучами мученичества немецкого народа». Похоже, мученичество немецкого народа освещает целые города! Или вот, послушай. Эта фраза мне особенно нравится: «Когда этому тринадцатилетнему мальчику исполнилось семнадцать». Чтобы в тринадцать стать семнадцатилетним?! На такое способен только отец нашего фюрера! Или вот еще…

Ганс снова принимается листать страницы, но Алекс, громко расхохотавшись, протягивает ему бутылку с вином:

— Держи. Выпей и отложи книгу, пожалуйста. Эти отрывки звучат нелепо.

— А ведь я даже не дошел до политики, — возражает Ганс. — Но сначала давай почитаем о том, как наш фюрер преуспевал в каждой профессии, за которую брался, из-за чего у бедняги просто не было другого выбора, кроме как стать фюрером…

Они превращают это в игру: передают между

собой книгу, по очереди открывают и читают вслух. На каждой странице находится кривое предложение, неуместное сравнение или неудачная метафора. Они зачитывают друг другу длиннющие предложения с бесконечным числом запятых и до смешного сложных конструкций. «Как пламенно вспыхнул бы Шиллер! С каким возмущением отвернется Гёте!»

Во время прочтения сего шедевра они думают о том, что негодование Шиллера описано как спонтанное самосожжение, а Гёте обошелся без сослагательного наклонения, которое звучит попросту странно. Столько глупостей, что приходится запивать вином, чтобы не отупеть, — это они и делают, с каждой фразой отпивая по глоточку.

Некоторые предложения они читают не вслух, а про себя. Предложения, которые оставляют на языке неприятный привкус. Ганс с Алексом не говорят о разных расах, об уничтожении еврейского народа, о делении людей на достойных и недостойных жизни. Пока не говорят, потому что не хотят сегодня об этом думать. Сегодня они хотят повеселиться и насладиться тем, что нашли друг друга. Сегодня они смеются над заботами и страхом, который мог бы сковать, не будь они

вместе.

1917–1921 годы

Александр Шморель рождается в Оренбурге на Урале в том же году, когда в России вспыхивает революция.

Его отец, Гуго, родом из немецкой семьи, которая давным-давно обосновалась в Российской империи и нажила небольшое состояние на торговле мехами, вагоностроении, паровой лесопилке, — семья была большая и разносторонне одаренная.

Его мать, Наталья, — русская. Дочь священника, хорошенькая, как картинка. По крайней мере, такой будет вспоминать ее Алекс.

Они необычная пара. Немцы, как правило, женятся на своих: русские им не доверяют, да и богатство — это далеко не все. Но Наталья и Гуго настроены решительно. Главное, что они нашли друг друга, они вместе, вместе они и останутся. «В вере и в любви нужно проявлять упрямство», — говорит Наталья. Они венчаются по православному обряду в красивой церкви, где с золотых икон на них гордо взирают сотни святых.

Гуго не торговец и не ремесленник, а врач. Руководит больницей для немцев и австрийцев. Прежде он работал в московской университетской больнице, но после начала войны немцы там больше не в чести. Война не только сделала всех немцев подозрительными, но и превратила их во врагов. Гуго сослали в Оренбург как «гражданского военнопленного», и Наталья последовала за ним. Немецкая больница — по сути, полевой госпиталь, как теперь и все больницы, на койках лежат раненые и изуродованные солдаты, в бреду мечтающие о Германии.

Гуго старается не прислушиваться и все чаще спрашивает себя: «Что нас ждет? Какое будущее ждет эту страну?»

Дома безраздельно царствует Наталья, а значит — Россия: в каждом уголке диван или самовар, на стенах висят богатые иконы, с подоконников приветливо смотрит по меньшей мере одна матрешка. Наталья частенько садится за фортепиано, наигрывая «Калинку» и другие мелодии. Она продолжает играть и во время беременности, чтобы первым, что услышит пока не рожденный малыш, были звуки русских народных песен, а не войны.

«Что нас ждет?» — все чаще и чаще спрашивает

себя Гуго, ведь с каждым днем ситуация ухудшается, все больше немцев покидает оседлые земли. Историческая родина манит обещаниями и надеждами, слова эмигрантов почти не отличаются от бредовых речей умирающих, и Гуго старается не прислушиваться. Но теперь и он порой задумывается об отъезде. Только после того, как газеты сообщают об отречении царя, Гуго осмеливается поделиться этими мыслями с Натальей. Наталья реагирует так, как Гуго и ожидал: смеется ему в лицо.

— Я, — говорит она, — русская береза, навсегда укоренившаяся в мерзлой почве, здесь я и останусь, здесь и появится на свет мое дитя.

— Но политические события, — возражает Гуго, — революция, царь свергнут, в городах стреляют, в деревнях крестьяне убивают помещиков, немцев гонят в Сибирь. Неужели тебе все равно?

— Нет, — отвечает Наталья, — но нам пристало всегда и во всем уповать на Господа.

На этом тема для нее закрыта.

В сентябре на свет появляется мальчик, которого называют Александром, как деда по материнской линии, а еще — как Пушкина.

Рассказывают, что один из предков малыша по отцовской линии смастерил ту самую карету,

на которой Александр Пушкин, самый русский из всех русских поэтов, поехал на свою последнюю, смертельную, дуэль. Так гласит семейная легенда, которую нельзя проверить и которую любят передавать из уст в уста. Насколько тесно их семья связана с историей этой великой страны — и насколько грубо она их изгоняет!

Роды проходят хорошо, малыш здоров, Наталья быстро оправляется. На несколько дней Гуго с головой окунается в семейную идиллию — крики новорожденного заставляют забыть о стонах пациентов, но лишь ненадолго. Вскоре мысли Гуго возвращаются к внешнему миру: в Петрограде вооруженные протестующие свергли правительство, большевики захватывают власть. Поговаривают о гражданской войне.

— Петроград далеко, — говорит Наталья.

«Нам пристало всегда и во всем уповать на Господа», — эти русские слова Гуго пытается вспомнить, когда в ушах слишком громко звучат немецкие причитания. Порой ему это даже удается.

К ним переезжает дородная русская девушка, которая прежде вела хозяйство у одного из родственников Гуго, а теперь будет помогать Наталье с ребенком. Девушка спит на диване

рядом с Натальей, возле колыбели с маленьким Александром, которого называет исключительно Шуриком, уменьшительным именем, фонетические метаморфозы которого понятны только русским. Саму девушку вся семья вскоре будет называть исключительно *Njanja*.

В один далеко не прекрасный день Наталья жалуется на головную боль. Гуго приносит из больницы лечебный порошок, *Njanja* заваривает чай из каких-то тайных корений — ничего не помогает. Потом у Натальи начинает болеть живот, на следующий день она ложится в постель с внезапной лихорадкой и больше не встает.

Поначалу *Njanja* лечит хозяйку компрессами и травами, но вскоре ей остается только молиться, что она и делает днями и ночами, прижимая к груди Шурика и не выпуская из виду икону Пресвятой Богородицы. Когда Наталья в беспамятстве кричит, чтобы ей принесли ребенка, *Njanja* не слушается — Гуго запретил. Он знает эту болезнь, он знает все болезни. Эпидемии поражают страну одна за другой, от врачей сейчас толку не больше, чем от служанок. Молись, *Njanja*, молись за нас. Двумя неделями позже Наталья уходит из жизни. Приезжает черная повозка, запряженная одинокой тощей клячей.

— Покойников теперь забирают не всех, — говорят гробовщики. — Павших в бою, например, оставляют лежать в канавах.

— Нехорошо, — добавляет один из них и поясняет: — С приходом лета снова вспыхнут болезни, все начнется сначала. Но ничего не поделаешь.

Они на носилках выносят из дома покойницу, которая еще выглядит живой и не начала распространять запах разлагающейся плоти. В воздухе витает тонкий аромат цветов, как позже расскажет *Njanja* и объяснит: так случается, когда умирают святые. *Njanja* больше не плачет, а в благоговейном ужасе молчит. Гуго тоже молчит, и даже Шурик притих, хотя еще ничего не понимает — по крайней мере, так считает *Njanja*.

Друзья — те немногие, кто остался, — уверены, что теперь-то Гуго уедет, ведь в России его больше ничего не держит. Однако через некоторое время можно увидеть, как Гуго после непродолжительного траура снова спешит по утрам в больницу. Теперь и сюда поступают раненые, которые пострадали от уличных стычек. Теперь не только немцы. Все распадается на части, мировой порядок разрушен.

Дома больше не раздаются звуки фортепиано, но зато поет *Njanja* — глубоким, сильным голосом.

Гуго несколько притих, посерьезнел. Не отчаялся, а, напротив, стал более собранным: перестал спрашивать о том, что их ждет, почти не говорит о политике, даже не упоминает об эмиграции. Каждый вечер совершает паломничество на маленькое кладбище вместе с *Njanja* и малышом, украшает могилу Натальи цветами и свечами. *Njanja* молится и поет. Это первые неизгладимые и нежные воспоминания, которые остаются у Алекса в памяти: густой снег, похожие на медведей люди, огромные меховые шапки, гортанные звуки, запах квашеной капусты и черного чая, проникающий сквозь оконные щели, рыночные прилавки и конные экипажи, уличный шум, тишина кладбища, *Njanja* — теплая, мягкая, звонкоголосая, и Наталья — замолкнувшая навеки.

Однажды вечером Гуго выходит из кабинета, чтобы пойти домой, и натыкается на молоденькую медсестру, которая поджидает за дверью. Гуго знает эту девушку — он тысячи раз выкрикивал ей: «Скальпель!», «Бинты!», «Щипцы!», однако теперь даже не может вспомнить ее имени. Как неловко… Девушка бормочет что-то об ангине:

— Господин доктор, не могли бы вы… Просто на всякий случай…

Она говорит по-немецки. Почти все здешние

медсестры — дочери немецких пивоваров или торговцев искусством, которые давно обосновались в России, но гордятся своей родной культурой. Если бы не война, эта девушка сидела бы сейчас в теплой гостиной и вышивала бы цитаты Гёте на салфетках, а не штопала бы раны в больнице.

Гуго впускает девушку в кабинет. Та садится на его рабочий стул и широко открывает рот. С первого взгляда видно, что ангины нет и в помине, однако Гуго все равно заглядывает в горло с фонариком. Ухоженные зубы, да и в целом девушка привлекательная — и ни капельки не похожа на Наталью. В противном случае смотреть на нее было бы невыносимо.

— Ничего необычного, — говорит он, убирая фонарик, — однако если боль усилится, то рекомендую вам длительные прогулки на свежем воздухе.

Медсестра благодарно улыбается и впервые смотрит ему прямо в глаза:

— Не соблаговолите ли составить мне компанию, господин доктор?

В эту секунду Гуго вспоминает ее имя: Элизабет Хоффман.

С тех пор он каждый вечер совершает две

прогулки: одну с *Njanja* и Шуриком на могилу Натальи, а вторую — с фройляйн Хоффман в лесу. Фройляйн Хоффман хорошо воспитана, мало говорит, но все знает: родственники и друзья пишут ей со всех концов империи. Дела везде обстоят плохо. В отличие от Натальи фройляйн Хоффман очень сдержанна и осторожна: медленно говорит, медленно двигается, аккуратно ставит одну ногу перед другой, чтобы не споткнуться. Гуго подозревает, что ее «ангине» предшествовал долгий период размышлений и планирования. В работе фройляйн Хоффман трудолюбива и надежна. Она часто говорит о Германии. Она улыбается и слегка краснеет, когда однажды на прогулке Гуго берет ее руку в свою. Гуго любит ее, но совсем не так, как Наталью, и это обстоятельство делает ситуацию терпимой.

Церемония небольшая и скромная — осталось не так много яств, которые можно поставить на стол, и не так много людей, которые могли бы прийти на свадьбу.

Njanja обижена на Гуго: уж слишком быстро он отдал себя в руки другой женщины, да еще и католички! Слова о том, что Шурику нужна мать, она аргументом не считает.

— Есть же я! — возмущается она.

— А если я отправлюсь в Германию? — спрашивает Гуго. Он впервые за долгое время заговаривает об отъезде.

— Тогда я тоже отправлюсь.

Однако Элизабет нашла к *Njanja* подход: позволяет ей поступать по-своему и не вмешивается в воспитание ребенка. Только изредка, когда *Njanja* выходит из комнаты, она тайком прижимает к себе Шурика и шепчет ему на ухо несколько немецких слов: уж язык-то мальчик выучить должен.

Через несколько недель после свадьбы Элизабет сидит в кресле, бледная и изможденная, и жует кусок зачерствевшего хлеба, поскольку теперь не может проглотить ничего другого:

— Тебе известно, что это значит, Гуго.

Большевики захватывают все больше власти, в больницу все чаще попадают белогвардейцы — демократы и монархисты вперемешку. Они терпеть друг друга не могут, а немцев любят и того меньше, но, оказавшись перед лицом смерти, сражаются плечом к плечу и вместе идут к немецкому доктору, чтобы залечить свои гниющие раны.

— Тебе известно, что это значит, Гуго. Здесь у детей нет будущего.

Вскоре Гуго отправляется навестить свою Наталью в последний раз. В кармане у него уже лежат выездные документы. Они с Элизабет были и остаются гражданами Германии, а значит, по отцу Шурик родился немцем, поэтому выезд и въезд не должен представлять сложностей. С *Njanja* дело обстоит иначе: ее придется выдать за жену умершего родственника — у Гуго есть необходимые бумаги. Проглотят ли их пограничники, покажет время.

— Отныне тебя зовут Франциска. Слышишь, *Njanja*? Франциска Шморель.

Njanja пожимает плечами. Пусть называют как хотят. Она же навсегда останется тем, кто она есть. Русской.

Элизабет уже запихнула самое необходимое в чемодан, больше вещей они взять с собой не смогут. *Njanja* выносит из своей каморки самовар — без него никак, ведь больше у нее ничего нет, только самовар да иконы. Немногочисленный багаж стоит в прихожей, готовый к отъезду, и взрослые напоследок прогуливаются по родным комнатам, где остались почти все вещи; хочешь не хочешь, а скоро их заберут большевики. Шурик неуверенно шлепает следом, его растерянный испуганный взгляд блуждает между взрослыми.

Прощание — слишком громкое слово для такого малыша. Гуго в последний раз смотрит на фортепиано, на котором играла Наталья, на кровать, где она умерла. Потом сжимает руку Элизабет, и они вчетвером отправляются в путь.

По крайней мере, так рассказывает эту историю Алекс.

Лето 1941 года

Алекс до сих пор живет с родителями — или, как он любит уточнять, «с отцом и мачехой». Дом Шморелей впечатляюще элегантен. На садовой скамейке перед входом сидит девушка лет шестнадцати и читает какую-то книгу. «Должно быть, это Наташа», — понимает Ганс. Единокровная сестра Алекса, о которой тот однажды рассказывал. Еще есть единокровный брат, он чуть младше Алекса и сейчас служит в армии. Вот и все, что Ганс знает об этой семье, — когда Алекс рассказывает о своем детстве, то редко дальше побега: он заканчивает историю на границе с Россией.

Стоит Гансу приблизиться, как Наташа отрывается от книги и приветствует его по-русски. Потом у нее внутри словно что-то щелкает, и она с ужимкой улыбается и произносит на тягучем баварском диалекте:

— Заходи, все уже в сборе.

«Все», — Ганс думал, что придет лишь несколько друзей, — это человек тридцать — сорок, они собрались в гостиной и поглощены оживлен-

ной беседой. Одни сидят вокруг большого стола, который, кажется, вот-вот проломится под тяжестью фаршированных яиц, медовых коврижек и банок с вареньем, другие нежатся на мягких диванах и креслах, третьи разбились на небольшие группы.

Под потолком клубится сизый сигаретный туман, но под ним все разноцветное: мебель, обои и женские платья. Звенят бокалы, уютно булькает самовар.

Все присутствующие похожи на художников или на русских или на русских художников, Ганс, чувствуя себя неловко в своем простеньком светлом костюме, оглядывается в поисках Алекса: куда же тот запропастился, черт побери? Подходит белокурая дама с подносом в руках, на подносе — множество маленьких стаканчиков, наполненных прозрачной жидкостью, и тарелка с солеными огурцами.

— Вы, должно быть, друг Шурика, — говорит она без тени улыбки и подает Гансу стаканчик.

— Кого? — спрашивает Ганс.

— Алекса, — поправляется она. — Берите, не стесняйтесь. — И кивком указывает на соленые огурцы: — В России водку принято закусывать, это традиция.

Соленые огурцы Ганс прежде ел только с хлебом или в салате, но он не хочет разочаровывать эту даму. Водка обжигает горло, от огурца пощипывает язык.

— Вы познакомились с Шуриком… то есть с Алексом… на учениях? — интересуется дама, тон ее звучит вежливо, но взгляд ее остается строгим.

Ганс невольно усмехается — пожалуй, можно и так назвать, но вслух покорно отвечает:

— Да, мы познакомились на военных учениях — оказались в одной студенческой роте. Еще мы учимся вместе в медицинском, просто никогда не пересекались в лекционном зале.

Дама кивает:

— Алекс нечасто туда заглядывает, верно?

Ганс не знает, что на это ответить и какого ответа она ждет, поэтому просто пожимает плечами.

— Эх, что же будет с мальчиком, — бормочет дама, поглядывая на большой стол, где от горы фаршированных яиц осталось всего несколько штук. — И куда только подевалась *Njanja*, — продолжает она и рассеянно спрашивает: — Хотите чаю?

Ганс не хочет ее больше задерживать, но она, не дожидаясь ответа, говорит:

— Сейчас я вам принесу. — И исчезает в толпе.

Ганс, растерявшись, остается на месте. Вокруг звучит русская речь, и он слушает иностранные звуки как концерт. Повсюду гремят голоса, крещендо, форте, фортиссимо, ярко накрашенная женщина бьет кулаком по журнальному столику, стаканы на нем трясутся, один падает. Тут раздается смех, там — заговорщицкое бормотание, это бормотание образует контрапункт, в котором слышатся немецкие слова, но Ганс не может ничего разобрать, как ни вслушивается.

— А вот и чай!

Исходящую паром чашку подает не белокурая дама, с которой Ганс сейчас разговаривал, а Алекс. Широкая белая блуза, лицо сияет, волосы растрепаны — Алекс выглядит так, словно проехал через азиатские степи и совершенно случайно оказался здесь, в центре Мюнхена. Ганс с благодарностью принимает чашку.

— Горячий, — предупреждает Алекс, — но он того стоит!

Чай и правда горячий, а еще — невероятно крепкий, приятно горький, как дорогой табак, и даже немного сладкий. Ганс одобрительно приподнимает брови.

— Это настоящий русский чай из настоящего

русского самовара, — говорит Алекс. — В этом весь секрет.

— Я тебя заждался, — шутливо, но вместе с тем немного укоризненно ворчит Ганс: — Твоя мать взглядом практически просверлила во мне дырку.

— Ах, моя мачеха, — говорит Алекс, закатывая глаза. — Что бы я ни делал, все ей не так. Она нетерпима ко всему, что мне нравится. И ко всем, кто мне нравится. Не принимай на свой счет. А теперь пойдем со мной!

Алекс радостно проталкивается сквозь толпу, перебрасываясь с окружающими то русским, то немецким словечком, потом вдруг указывает на пожилого господина, увлеченно беседующего с другими мужчинами:

— Это мой отец, но сначала я должен познакомить тебя кое с кем еще.

Ганс знает, что отец Алекса — уважаемый хирург-ортопед, ведущий частную практику, и он всегда недоумевал, почему у Алекса так мало медицинских амбиций, учитывая его происхождение. С другой стороны, отец Ганса управляет трастовыми фондами, в то время как сам Ганс не может отложить ни пфеннига.

«Так порой бывает у отцов и детей», — думает

Ганс и следует за Алексом. Пройдя мимо группы мужчин и заставленных книжных шкафов, они оказываются в задней комнате. Здесь тише. Комната похожа на кабинет. На стене висит большая карта России времен империи. Молодые люди за письменным столом играют в карты.

Один сидит перед камином в кресле-качалке, поджав ноги, словно воробей на жердочке, и курит трубку. Алекс с Гансом подходят к нему.

— Кристель, это Ганс, — представляет их друг другу Алекс, словно салоньерка, и пододвигает к камину второе кресло, чтобы Ганс тоже мог сесть, а сам запрыгивает на мягкий подлокотник.

Ганс протягивает Кристелю руку со словами:

— Ганс Шолль, студент медицинского.

Этот Кристель нравится ему сразу, тем более что он тоже пришел в видавшем виды костюме. Однако Кристель вовсе не выглядит смущенным. Несмотря на моложавое лицо, он больше похож на хозяина дома, его можно было бы принять за отца Алекса, если бы не возраст.

Кристель улыбается и крепко отвечает на рукопожатие:

— Кристоф Пробст, тоже студент медицинского.

— А, значит вы с Алексом познакомились в

университете, — заключает Ганс, на что Алекс смеется, а Кристель качает головой:

— Мы познакомились еще в школе. Учились в одном классе. Я перескочил через класс, в то время как Алекс остался на второй год. К счастью. Я был настоящим ботаником, а он никогда не признавал авторитетов. Я бы сказал, что мы хорошо повлияли друг на друга.

Алекс кивает в знак согласия и снова смеется, а потом вскакивает на ноги — из-за чего кресло вместе с Гансом резко заваливается набок — и пружинистым шагом покидает комнату. Кристель и Ганс смотрят ему вслед, причем последний удивлен немного больше, чем первый.

— Сегодня Алекс выглядит веселее обычного, — бормочет Ганс.

Кристель вздохнул, выпустив в потолок колечко дыма.

— Я даже знаю почему, — говорит он.

— Из-за девушки? — спрашивает Ганс и неожиданно понимает, что они с Алексом никогда, даже после целой бутылки вина, не говорили о девушках. Быть может, эта тема казалась слишком банальной или же, что более вероятно, Ганс просто не хотел рассказывать о себе. Лиза, ах, Лиза — она почти в прошлом, с Уте он заигрывал, но

та еще слишком юна, и он никогда не относился серьезно к Эрике, но недавно катался на лыжах с Розой, которой до сих пор пишет, но Роза всегда была скорее хорошей подругой, чем возлюбленной. Теперь кажется, что все это было не более чем позерством — все равно что курить сигарету, в которой нет табака. А потом он чувствует укол в сердце, тоску и некую ревность из-за того, что Алекс нашел человека, вызывающего у него такую улыбку.

Ганс закуривает еще одну сигарету и глубоко затягивается.

— Не просто девушки, — говорит Кристель и снова вздыхает, — а моей старшей сестры.

— Ты, похоже, не слишком этому рад, — замечает Ганс.

Кристель выпускает в воздух еще одно колечко дыма, больше предыдущего.

— В конце концов, я знаю их обоих, — говорит он. — Знаю как никто другой. И поэтому уверен, что эти отношения не продлятся. По крайней мере, долго не продлятся.

Однако в следующую секунду Алекс возвращается, и Кристель прочищает горло, намекая, что нужно сменить тему, — впрочем, Ганс и сам бы все понял. Теперь Алекс двигается спокойнее,

потому что держит в руках три полные до краев рюмки водки, а под мышкой — еще и банку с огурцами. Губы у него слишком большие для таких тонких черт, особенно когда он радуется, но улыбка необычайно привлекательная.

— Мы должны выпить, — улыбаясь до ушей, говорит Алекс и раздает рюмки, — за первый день рождения Миши.

— Миши? — переспрашивает Ганс.

— Это мой сын, — отвечает Кристель. — На самом деле его зовут Михель, но Алекс сказал, что по-русски — Миша. Так нам даже больше нравится.

Ганс прикидывает: судя по всему, Кристель младше Алекса на два года, а значит, на год младше его самого. Ему двадцать один. Конечно, и в двадцать один год уже можно стать отцом, но Ганс просто не может представить себя в этой роли — и не только потому, что для рождения ребенка без возлюбленной не обойтись.

Вероятно, именно отцовство придает молодому лицу Кристеля это серьезное, степенное выражение. А может, оно было у него всегда. Кристель и Алекс — полные противоположности, решает Ганс, один — само благоразумие, другой — неисправимый мечтатель, и какую роль он

сам играет в этом трио, если играет вообще, Ганс пока сказать не может.

Они громко чокаются рюмками и пьют за Мишу, после чего Алекс снова усаживается рядом с Гансом, на подлокотнике.

— Настоящие русские, выпив, разбивают рюмки об пол, — говорит он, — но моя мачеха запрещает так делать.

— И не без причины, — добавляет Кристель, но Алекс все равно гримасничает. Потом выуживает из банки огурец и демонстративно откусывает конец с хвостиком. Кристель с Гансом смеются, воодушевленный такой реакцией Алекс снова подскакивает и теперь возвращается уже с бутылкой водки.

Выпив множество рюмок, съев бесчисленное количество огурцов и подробно сравнив и обсудив русские и немецкие обычаи, Кристель хлопает себя по колену и говорит:

— Пожалуй, мне на сегодня хватит. Миша кричит всю ночь, и назавтра я глаза разлепить не смогу. — Он встает, разглаживает брюки и на прощание протягивает Гансу руку: — Мы должны как-нибудь встретиться и обсудить Ницше. Да-да, Алекс мне об этом рассказывал.

Они провожают Кристеля в гостиную, где те-

перь заметно меньше людей, но так же шумно и накурено, как раньше. Мачеха Алекса выбегает из кухни с тарелкой яиц — один бог знает в который раз.

При виде Кристеля она улыбается теплой, даже материнской улыбкой. Если бы Ганс не видел сам — никогда бы не поверил, что ее лицо на такую способно.

— До скорой встречи, дорогой Кристель! — И гораздо холоднее добавляет: — Передавай привет своей сестре.

«Не принимай на свой счет», — говорил Алекс. Что ж, Ганс постарается.

Сейчас Алекс стоит рядом с ним и смотрит, как Кристель исчезает в ночи, а потом мечтательно глядит на захлопнувшуюся дверь.

— Ангели и правда возвращается в Мюнхен, — с горящим взором бормочет он. — До сих пор не верится… — Потом поворачивается к Гансу, как будто только заметив его присутствие, и бодро спрашивает: — Хочешь, покажу гипсовый бюст Бетховена? Сам слепил!

Ганс очень хочет, и Алекс снимает бюст с одной из книжных полок, некоторые книги падают, но ему, кажется, все равно. Столько книг — и все на кириллице.

«Я должен выучить русский, — внезапно думает Ганс, — должен научиться все здесь понимать. Должен все понимать».

Алекс взвешивает гипсовый бюст в руках и критически прищуривается:

— Я думал о нем лучше, чем он есть. Ну да ладно. Быть может, однажды из меня все-таки выйдет толк.

Он усмехается. Ганс внимательно осматривает бюст. Ему скульптура нравится. Можно было сделать аккуратнее, но, с другой стороны, в этом и заключается искусство — в стихийности, в движимости наитием. Ганс вспоминает о бесчисленных стихах, которые написал в юности, когда еще думал, что однажды сможет стать писателем, когда еще думал, что слова могут что-то изменить, и завидует Алексу почти до щемящей боли в груди.

— Ты голодный? — спрашивает Алекс.

Так они оказываются за большим столом, где сидят последние гости, и глотают фаршированные яйца, подслушивая беседу двух пожилых господ — к счастью для Ганса, говорят на немецком, речь о Библии и о том, что Павел называет политический строй порядком, данным Богом. Теперь они спорят, относятся ли эти слова к сего-

дняшней России, а если нет, то что это означает для народа и Германской империи. Ганс чувствует, как щеки начинают пылать, он хочет что-то сказать, но не осмеливается — к тому же у него между зубами остался кусочек яйца. Но тут в беседу вмешивается мачеха Алекса. Сначала заговаривает о погоде: «Интересно, будет ли завтра дождь? — а потом спрашивает: — Кому-нибудь положить кусочек пирога? А хлеба?»

Отец Алекса, который тоже сидит за столом и до сих пор молча следил за происходящим, поддерживает супругу: «В воздухе уже пахнет дождем, не правда ли?» На этом глубокомысленные разговоры заканчиваются.

— Она всегда ужасно осторожничает, — шепотом говорит Алекс, — хотя знает, что осведомителей здесь нет. Отец приглашает домой только проверенных людей. И я тоже. А ты что об этом скажешь?

— О чем? — спрашивает Ганс.

— Ну, о Божьем порядке и обо всем остальном.

Ганс пожимает плечами:

— Сложный вопрос. С одной стороны, все в мире совершается по промыслу Божьему, непостижимому для человека. С другой — мы обладаем свободой воли и, следовательно, всегда имеем

возможность вмешиваться в колесо истории.

Алекс задумчиво кивает, а потом внезапно вскакивает и подбегает к фортепиано, стоящему в углу.

До этого мгновения Ганс считал это фортепиано не столько музыкальным инструментом, сколько своего рода алтарем: уж слишком много на нем икон. А в центре стоит фотография красивой женщины, одетой и причесанной по моде начала века, — покойной матери.

Алекс начинает играть, причем на удивление ладно, учитывая количество выпитого. Веселая музыка легко заглушает споры, и все присутствующие поворачиваются к фортепиано. Песня русская, и, кажется, все ее знают — все, кроме Ганса. Алекс поет чистым громким голосом, остальные присоединяются, поют громко, но не столь чисто. В конце концов Ганс запевает вместе со всеми, пусть не знает слов и даже языка. Эта песня заканчивается, Алекс принимается играть следующую, а Ганс поет и поет незнакомые ему песни, пока те не перестают быть незнакомыми, и чувствует, что однажды они ему пригодятся.

Лето 1941 года

Именно тогда, когда Ганс думает, что неплохо было бы обзавестись девчонкой и что любая сойдет, он встречает Трауте.

Это происходит во время антракта «Бранденбургских концертов», когда они с Алексом выходят в фойе и становятся в очередь к буфету, чтобы купить вино и булочку с ветчиной.

Они сошлись во мнении о классической музыке, которую оба любят, и о литературе. Алекс одолжил Гансу «Братьев Карамазовых», теперь эта книга лежит у него дома на столе. Ганс просмотрел начало и пока не знает, что думать. Взамен он принес Алексу «Будденброков», которые можно сравнить с «Братьями Карамазовыми» по количеству страниц.

Что касается музыки, то Алекс предпочитает русских композиторов, но восхищается Бахом и Бетховеном, произведения которых не имеют ничего общего с военными маршами, звучащими из уличных динамиков.

Всю первую половину концерта Ганс наблюдал за Алексом, тот сидел с закрытыми глазами и

слегка покачивал рукой, словно был инструментом, органично вписавшимся в оркестр. Ганс тоже чувствовал себя поглощенным музыкой — но, видимо, несколько иначе, чем Алекс: не он становился частью звуков, скорее это звуки становились частью его самого, словно исходили изнутри, подобно чувствам.

Аплодисменты давно стихли, и вот Ганс стоит в очереди в буфет, однако волнение не улеглось до сих пор. Алекс — перед ним, роется в бумажнике, у него все еще немного подергиваются пальцы. К ним направляется высокая брюнетка, поначалу Ганс думает, что она просто пытается пройти, и уже делает шаг назад, чтобы пропустить ее, как вдруг слышит:

— Алекс, это ты?

Алекс вздрагивает и, едва не уронив бумажник, отвлекается от своих мечтательных поисков. Сосредоточенно прищуривается — Ганс практически видит, как в голове у него крутится мысль: «А это еще кто такая?» — а потом скорее вопросительно, чем утвердительно произносит:

— Труди?

— Трауте, — поправляет брюнетка. — Ничего страшного. В прошлую встречу мы лишь перебросились парочкой слов.

— Трауте! — Алекс хлопает себя по лбу, но тут наступает его очередь делать заказ, и становится не до разговоров. Трауте улыбается Гансу, демонстрируя идеально ровные молочно-белые зубы.

— А вы?.. — дружелюбно спрашивает она.

— Шолль, Ганс Шолль, — говорит Ганс и сразу же понимает, как преувеличенно официально это звучит. Он деловито пожимает брюнетке руку, отчего становится только хуже, однако девушку это, кажется, совсем не беспокоит. Она приветственно кивает.

Наступает очередь Ганса делать заказ, и он берет сразу же два бокала вина и две булочки с ветчиной. Что ж, похоже, следующие дни придется немного попоститься. Или написать матери и снова попросить у нее посылку: в Ульме на черном рынке все довольно дешево — не то что в Мюнхене! Кроме того, мама любит о нем заботиться. Неудобно только из-за денег, отцовской зарплаты налогового аудитора хватает ровно на то, чтобы содержать семью. Но что остается делать Гансу? Пока идет война с ее вечными учениями, казармами и угрозой призыва в армию, о подработке не может быть и речи.

Но как только Ганс станет врачом, он все вернет, причем с лихвой! От этой мысли становится

хорошо, а от улыбки Трауте — еще лучше. Трауте невероятно вежливая, она горячо благодарит Ганса за булочку и вино. Она выглядит очень опрятно: искусно уложенные на затылке волосы, приталенный костюм, жемчужное ожерелье… А еще прямая осанка и внимательный взгляд — есть над чем задуматься.

— Мы с Алексом познакомились во время учебы в Гамбурге, — рассказывает она. — Разговорились как-то на уборке урожая, обсуждая Толстого и Достоевского, помнишь?

Алекс кивает, но Ганс знает, что Алекс обсуждает Толстого и Достоевского со многими людьми — это можно назвать одним из его любимых занятий. Поразительно, насколько его другу неинтересна эта женщина, которой явно есть что предложить — по крайней мере, с визуальной точки зрения. Вдобавок ко всему она еще и Достоевского читала. Однако Алекс стоит и как ни в чем не бывало жует свою булочку, будто происходящее его не касается и он вообще оказался здесь случайно.

Он думает только об одной женщине — той самой, которая скоро приедет в Мюнхен, — о своей Ангели. Ганс давно знал, что Алекс год проучился в Гамбурге, однако о том, что причиной тому

была сестра Кристеля, узнал только недавно.

— Ах да, она работает в школе на севере Германии, — объяснил Алекс, когда они случайно заговорили о его пребывании в Гамбурге, а потом радостно добавил: — Она там работала!

В каком-то смысле Ганс рад за друга, в каком-то смысле — завидует и даже отчасти ревнует: сколько времени Алекс будет уделять ему, когда сюда приедет его Ангелика? Другого друга в Мюнхене Ганс пока не нашел. Поэтому неплохо было бы обзавестись девчонкой, думает он. Любая сойдет.

Трауте осторожно поправляет прическу, и Ганс начинает проявлять бурную заинтересованность («Значит, вы приехали из Гамбурга?», «Чему мы обязаны удовольствием лицезреть вас здесь, на юге?» — и тому подобное), отчего немного стыдится сам себя. Трауте сообщает, что тоже изучает медицину, но переводится сюда, в Мюнхен, только с нового семестра, ей хотелось бы посещать сразу все предметы — о, Гансу это прекрасно знакомо! — и когда в конце антракта раздается звонок, Алекс уже давно съел свою булочку, в то время как Ганс с Трауте даже не надкусили свои.

Трауте сидит впереди, со своих мест Алексу и Гансу виден ее красиво уложенный затылок.

Алекс снова закрывает глаза, но Ганс — нет. Музыка с необыкновенной легкостью течет сквозь него, и после концерта они встречаются с Трауте на улице перед входом.

— Прекрасное выступление, — говорит она. — О, еще не очень поздно!

И вот Ганс уже предлагает прогуляться по Английскому саду. Поначалу Алекс идет с ними, но вскоре незаметно исчезает. Весь вечер Ганс и Трауте говорят исключительно о классической музыке, и все же ему удается найти подходящий момент, чтобы приобнять собеседницу за плечи. Трауте шутливо уворачивается и смеется. Алекс уже давно дома, пишет письмо своей Ангелике, думает Ганс, и правильно: Алекс поступил куда разумнее его.

Ганс прощается с Трауте у дверей ее квартиры, дерзко целуя руку, и она снова смеется.

Они с Трауте случайно встречаются несколькими днями позднее, в университете, на одной из лекций по медицине. Первые секунды Ганс не очень-то рад: он ожидал, что у него будет время все обдумать, однако Трауте снова выглядит очаровательно и, что самое главное, задает лектору очень умные вопросы. После лекции Ганс приводит ее в пивную, где они беседуют о философии.

До чего приятно снова поговорить о философии, думает Ганс. Они уже перешли на ты, да и выпили лишнего, поэтому он набирается смелости и на прощание коротко целует Трауте в губы.

Они договариваются встретиться на следующий день у Трауте дома, она собирается приготовить что-нибудь перекусить, поставить пластинки и все такое, она не хочет тянуть кота за хвост, думает Ганс, и ему это нравится.

Но все складывается иначе. Ганс едет к Трауте на велосипеде — сегодня крутить педали ему так легко! — снова проезжает мимо газетного киоска и снова чуть не врезается в него, однако на этот раз виноваты не крикливые девчонки. В последний момент Ганс все же успевает затормозить.

— Повезло тебе, — мрачно бормочет продавец газет, но Ганс не слышит. Он вскакивает с велосипеда и покупает три разные газеты, что не имеет никакого смысла, когда вся пресса придерживается господствующей идеологии, однако он не раздумывая берет три. Стоя рядом с небрежно брошенным велосипедом, принимается подряд листать первую, вторую, третью газету… Продавец хмурится: — Правду там пишут, правду. Наш фюрер знает, что делает.

Но Ганс по-прежнему не слушает, он запрыги-

вает на велосипед, напрочь позабыв о газетах. Продавец удивленно глядит ему вслед, но жаловаться ему не на что: за газеты заплачено и можно продать их снова. Ганс что есть мочи крутит педали, но теперь держит путь не туда, куда раньше.

Когда он подъезжает к дому Шморелей, снаружи на скамейке не сидит Наташа, а внутри все выглядит подозрительно тихим. Ганс все равно стучит в дверь. Открывает сам Алекс, причем так быстро, словно стоял в прихожей и только его и ждал. Его светлые глаза слезятся, но он улыбается.

— Ганс, — говорит он, — война скоро кончится. Наполеон когда-то сломал себе о Россию зубы, теперь черед Гитлера. Если Германия начнет войну против России, то скоро все кончится.

Друзья падают друг другу в объятия, словно это уже произошло, и даже Ганс, который до этой минуты изнывал от беспокойства, внезапно верит услышанному.

Пританцовывая, Алекс проводит его внутрь и кричит:

— Пойдем же, выпьем за это! Сегодня я выпил бы даже за Сталина!

Они не пьют за Сталина, а сидят рядышком у

камина и неторопливо смакуют водку прямо из горла не закусывая. Небольшой глоток обжигает Гансу горло и оседает в желудке теплым, но зловещим предчувствием. Некоторое время друзья просто сидят, молча передавая друг другу бутылку. Ганс смотрит на карту на стене, на царскую Россию — место, где родился Алекс, и только сейчас замечает, насколько эта карта пожелтела.

— Я ненавижу Сталина, — немного погодя бормочет Алекс, — но Гитлера я ненавижу больше. — И смотрит на Ганса так, словно только что задал ему вопрос и теперь ждет ответа.

— Я когда-нибудь рассказывал, что состоял в гитлерюгенде? — спрашивает Ганс.

— Как и все мы, — отвечает Алекс.

— Нет, — говорит Ганс, — не как все. Я горел идеями Гитлера, занимал руководящую должность и так далее. Я мог бы стать по-настоящему большой шишкой у нацистов!

Алекс задумчиво кивает, отпивает из бутылки большой глоток и спрашивает:

— А теперь?

— А теперь я ненавижу Гитлера, — говорит Ганс, — и войну.

Алекс снова кивает.

— Я тоже ненавижу войну, — бормочет он, — и

эту немецкую наглость. Жизненное пространство на Востоке. Не смешите меня. Можно подумать, здесь нацисты разжирели недостаточно. Можно подумать, они что-то понимают в Востоке. В России. Как будто можно понять Россию, если ее не чувствуешь. Я ненавижу эти бессмысленные смерти, а еще больше — бессмысленные убийства. Я ненавижу Гитлера.

Алекс говорит, но смотрит не на Ганса, а поверх него, словно в невидимый горизонт. Смотрит на стену, где на самом деле нет ничего, кроме устаревшей карты:

— Теперь все скоро закончится, правда? Прежде ни один тиран не выстоял против России!

Алекс говорит, и глаза его наполняются слезами, и слезы безудержно текут по щекам, как будто в глубине души он не верит, что все закончится.

Германия вступила в войну с Россией. Одна его родина развязала войну с другой.

Ганс остается с Алексом до поздней ночи. Они больше не обмениваются ни словом, но теперь в этом и нет необходимости.

Трауте обиделась. Она понимает все «исключительные обстоятельства», однако Ганс мог бы по меньшей мере позвонить или передать сообщение как-нибудь иначе, а не бросать ее и ее

вкусную домашнюю еду. Ситуация с Советским Союзом угнетает и Трауте: теперь она опасается, что война станет еще более ожесточенной.

Ганс и Трауте говорят о войне, лежа на берегу Изара, она одета в ярко-красный купальный костюм, и солнце светит так сильно, как будто это лето ничем не отличается от других. Лежишь себе, слушаешь журчание реки, осторожно, кончиками пальцев, касаешься теплой кожи Трауте и ощущаешь всепоглощающее умиротворение…

— Пойдем ко мне, — предлагает она, — если хочешь. Я разогрею тебе оставшуюся еду.

Они с Трауте встречаются все лето. Несколько раз приезжают в Ульм — родители приходят в неописуемый восторг от «будущей невестки», которая умеет быть полезной всегда и во всем: матери помогает по хозяйству, отцу — с бумажной работой. Даже брат и сестры очарованы Трауте. А Ганс просто думает: «До чего славно снова обзавестись подружкой, которая будет отвлекать тебя от политических событий и казарменной службы». Волнуются только рядовые солдаты. Ганс полагает, что офицеры из «верхушки» предвидели разрыв с Советским Союзом, быть может даже знали о нем. Повсюду разворачивается военная деятельность, учеба отодвигается на второй план

— стране больше не нужны врачи, только солдаты. Женщины тоже должны вносить свой вклад, и Трауте определяют трудовую повинность в Крайбург-на-Инне. Ей давно об этом известно, но теперь, когда она нашла Ганса, назначение делает ее несчастнее прежнего. Крайбург-на-Инне — чего стоит одно название! Вкалывать на заводе по производству боеприпасов!

— Меня заставят собирать боеприпасы и тем самым сделают соучастницей войны, — причитает Трауте, склонив голову на его груди, и Ганс думает: «Как же с ней хорошо».

На какое-то время.

Осень 1941 года

— Почему ты не хочешь выйти за меня замуж? — внезапно спрашивает Алекс, нарушая тишину.

Ангелика поворачивается так медленно, словно ее стройное тело весит непомерно много. Уже поздно, она лежит в постели, натянув одеяло до носа. Она еще час назад попросила Алекса уйти — если он не вернется в казарму к завтрашней перекличке, то быть беде, — но Алекс настоял на том, чтобы остаться, пока она не заснет, и теперь сидит на маленьком табурете возле кровати и смотрит на нее, как было условлено. Вот только обещанного молчания он выдержать опять не смог — казалось, словно между ними осталась некая недосказанность.

— Ты и сам знаешь, — сонным голосом отвечает Ангелика.

— Нет, скажи, — настаивает Алекс.

— Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже замужем.

Один и тот же диалог, всегда один и тот же. Они, как актеры, произносят заученные фразы

и не могут вырваться из этого замкнутого круга, снова и снова подпитывают слабые ростки надежды, чтобы потом безжалостно их растоптать. Воскрешение и смерть, сменяющие друг друга с головокружительной скоростью, — вот на чем зиждется их страсть.

И Алекс, как и всегда, говорит:

— Ты можешь развестись.

Ангелика зевает, и зевок ее душераздирающе похож на вздох, затем она отвечает:

— Ты же знаешь, что я не верю в брак по любви.

Он спрашивает:

— Почему?

Конечно, Алекс знает, что родители Ангелики развелись, когда дети были совсем маленькими. Еще он знает, что, когда Ангелике едва исполнилось восемнадцать, ее отец, впав в умопомешательство, выбросился из окна лечебницы и погиб.

Ангелика отвечает лишь:

— Ах, *Aljosha*.

Aljosha. Она дала Алексу это прозвище, потому что хотела называть его как-то по-особенному, не «Алекс» или «Шурик», как называют другие. Алекс зовет ее «Ангели», «Энгсляйн» или «Ее Свет-

лейшее Высочество графиня Ангелика Элизабет», когда хочет немного подурачиться.

Ангелика потягивается, показывая, что хочет спать, — она и правда сонная. Алекс молча сидит на табурете, который сам и соорудил. Для нее. Алекс нашел эту квартиру — для нее. Смастерил мебель, нарисовал на голых стенах лошадей, заплатил за первый месяц аренды, заехал за Ангеликой на Мюнхенский вокзал, куда она прибыла со слезами на глазах и двумя чемоданами, и привез сюда. Ангелика потом и сама не могла объяснить, почему плакала, ведь на самом деле все было хорошо. Она никогда не чувствовала себя как дома, пока жила на севере Германии, где ее супруг руководит школой, а сама она работала учителем. Супруг ничего не мог поделать: бескрайние просторы и мрачная зимняя темнота делали Ангелику несчастной, как и одиночество и сознание того, что семья и все друзья находятся за много часов езды на поезде. Только Алекс, которого Ангелика в то время считала почти членом семьи, Алекс, лучший друг Кристеля, ставший для нее вторым братом — более взрослым и веселым, частенько приезжал погостить.

Алекс решил изучать медицину в Гамбурге, хотя тоже терпеть не может Северную Герма-

нию. Ангелика приняла это за жалость и была ему благодарна — да, вначале она испытывала в первую очередь благодарность, однако позже эта благодарность переросла в нечто большее, много большее.

Алекс снова начинает говорить, Ангелика этого ждала и даже не открывает глаз:

— Мы будем работать. Я буду рисовать, переводить и создавать такие скульптуры, каких никогда еще не создавал, буду сидеть на берегу Изара и за деньги писать портреты. Что ты на это скажешь? Еще я могу давать уроки русского, а ты будешь выступать со своей блокфлейтой, публиковать стихи и рассказы, мы будем вкалывать как проклятые, и в один прекрасный день эмигрируем.

— В Москву, в Москву! — с усталой иронией в голосе произносит Ангелика, цитируя Чехова. Между ними существует негласное правило: не говорить о войне, даже не упоминать ее, потому что в их отношениях не должно быть ничего некрасивого, и говорить о Москве как о Москве, которую знал Чехов. Которую знал отец Алекса.

– *W Rossiju*, — без всякой иронии бормочет Алекс. Прежде во время таких разговоров он вяло говорил, что доучится и станет настоящим вра-

чом, уважаемым человеком и высокооплачиваемым профессионалом, способным прокормить семью. Но Ангелика все равно никогда ему не верила.

Мужу она призналась раньше, чем рассказала об измене кому-либо еще. Ей была невыносима сама мысль о том, что однажды он наткнется на чужие любовные письма, как делают мужья-рогоносцы из великих романов мировой литературы.

Да, она слишком много читает, однако стоило вообразить такое развитие событий, как ей становилось настолько больно, что она предпочла сразу во всем признаться и смиренно ждать, какое наказание назначит ей уважаемый господин директор. Однако поначалу он ничего не сказал, задумался, на лице у него застыло непроницаемое выражение. Минута проходила за минутой, и Ангелике ничего не оставалось, кроме как надеяться… На что? Может быть, даже на развод. Но затем он спокойно сказал, что бросит руководство школой и переедет с Ангеликой на юг — как будто ее любовь к Алексу была лишь своего рода тоской по дому! Не то чтобы он был полностью неправ, однако и не совсем прав, и тогда они поссорились: «И речи быть не может! А

как же ученики?! И самое главное — твоя военная бронь?! Неужели тебе не терпится на фронт? Не делай глупостей!»

На самом деле говорила только Ангелика, супруг ее сидел и молча слушал.

— И вообще, — кричала она, — нам нужно побыть порознь, подумать, я еще так молода, а ты — уже давно нет! — И выбежала из комнаты, как будто это он причинил ей зло — так ей почему-то казалось.

Несколько дней спустя муж сказал: школе пригодился бы человек, умеющий печатать на машинке и стенографировать, так почему бы Ангелике, его собственной жене, не стать этим человеком? Если она хочет, то может вернуться в Мюнхен на несколько месяцев — исключительно ради повышения квалификации, конечно, так мы и скажем ученикам. Да, именно в Мюнхен, именно туда, куда вернулся Алекс.

— Я не могу жить там, где постоянно натыкаюсь на твоего мужа, — утверждал Алекс, но на самом деле у него закончились деньги и вдохновение, и втайне он, должно быть, получал некоторое удовольствие, проверяя, последует ли за ним Ангелика.

И она последовала, но с пагубного благослове-

ния мужа. Порой Ангелике в голову приходила мысль о том, что Алекс — человек, которого можно любить, но с которым невозможно жить, и почти беззаботное поведение ее мужа только усиливало эту мысль. Дошло до того, что одно присутствие Алекса рядом стало откровенно неприятным, она предпочла бы просто думать о нем, мечтать о нем, как раньше, предпочла бы просто заснуть и спать. В мире снов не приходится принимать решений — тем более окончательных, любовь там существует без каких-либо последствий и совершенно безрассудно.

Алекс уже знает, когда притворный сон Ангелики сменяется настоящим, она похрапывает — но, конечно, никогда не призна́ется в этом даже себе. Алекс тоже ничего не говорит, но негромкий шум ее дыхания ему несказанно мил. Похож на мелодию флейты. До чего же хочется нарисовать ее прелестное личико, а еще лучше — забраться к ней под одеяло, да нельзя будить, слышишь, *Aljosha*, Ее Светлость нуждается во сне. Алексу нравится это слово — оно напоминает светлячков, и он забавляется, слушая похрапывание своей возлюбленной.

Он влюбился в Ангелику с первого взгляда. Он познакомился с ней в конюшне, куда пришел,

чтобы научить Кристеля верховой езде.

— Я всегда хотела научиться ездить верхом, — дерзко сказала она, и единственная мысль у него в голове была: «Вот так, должно быть, выглядела моя мать. Тоже высокая и стройная, с такими же умными глазами и такой же нахальной улыбкой на губах. Ее голос, наверное, звучал так же звонко, только по-русски, и с той же интонацией. Старая дореволюционная Россия, должно быть, была такой же красивой и правильной, как это лицо».

Он полюбил ее с первого взгляда.

Всякий раз, когда они с Ангеликой и Кристелем совершали прогулки верхом, пешком или на велосипеде, для Алекса это было чем-то иным, чем для них, потому что он любил Ангелику. Даже когда она вышла замуж. Быть может, тогда он любил ее особенно сильно.

Сейчас она, похрапывая, лежит в снятой Алексом квартире, которая находится в двух шагах от родительского дома и куда он всегда может прийти и посмотреть на нее, свою возлюбленную, как на экспонат в музее. Не сдержавшись, он целует Ангелику в лоб, она недовольно бурчит под нос и поворачивается на другой бок.

Алекс с тяжелым сердцем покидает квартиру, стараясь не попасться на глаза любопытным

соседям. Здесь приличный дом, и хозяйка слишком часто об этом напоминает. Горизонт чист, и Алекс, подобно вору в ночи, крадется из квартиры своей замужней любовницы, сейчас он не студент-медик и не солдат, а герой романа, представитель богемы. Спускаясь в темноте по лестнице, Алекс наслаждается сладкой болью разлуки, которая уже вдохновенно обжигает пальцы, но стоит открыть входную дверь, как его обдает холодом.

Снаружи поджидает ясность.

Он знает, что Ангелика никогда не выйдет за него замуж.

Знает, что Ангелика не похожа на его мать, а если и похожа, то он никогда об этом не узнает: мать умерла слишком давно, слишком маленьким он тогда был.

Знает, что его Россия потеряна, более того, «его России» никогда не существовало, это мечта, как и «его Ангелика».

И он знает, что ему все равно, что он все равно ее любит, любит, любит, и, насвистывая, он уходит прочь.

Осень 1941 года

На улице еще по-летнему палит солнце, однако у Ганса в душе внезапно наступает осень. Прежде такое уже случалось, но это состояние терзает его каждый раз, как в первый, — все вокруг словно засыхает и умирает, и остается только ждать весны, возрождения всего живого. Ганс знает, что весна непременно придет, но сейчас он настолько подавлен, что с трудом встает с кровати, и присутствие Трауте он тоже переносит с трудом. Трауте много говорит, она не может не говорить, и в такие минуты Ганс снова и снова понимает: какое счастье, что у него есть Алекс, который прекрасно умеет молчать. В последнее время они почти не разговаривают, просто сидят напротив друг друга, курят и думают о России. Алекс почти забросил учебу, он снова записался на художественные курсы — сейчас, когда на Востоке одни его собратья убивают других, ничего нельзя откладывать на потом. Элизабет занята тем, что пишет своим родственникам и знакомым, оставшимся на советских землях. Можно только гадать, дойдут ли письма до получателей,

и каждое утро *Njanja* проделывает долгий путь до православной церкви, чтобы помолиться за свою родину. Русских вечеров в доме Шморелей больше нет, а если они и случаются, то проходят молчаливо.

Одна Трауте все говорит и говорит и обижается, когда Ганс не отвечает. Ах эта слабая плоть! До чего же злит ее зов… Как ни крути, а Трауте довольно современна и не торопится говорить о браке, поэтому Ганс возвращается к ней снова и снова, как бы она его ни раздражала. Трауте бредит своей школой, Рудольфом Штайнером и его мировоззрением — антропософией (само слово звучит глупо, считает Ганс) — и снова обижается, потому что Гансу нечего сказать по этому поводу. Потом они ругаются, но из-за проклятой меланхолии у Ганса даже на ссоры нет сил.

— Жду не дождусь, когда уже уеду на трудовую повинность, — с вызовом говорит Трауте. — Разлука пойдет нам на пользу. Я тебе не собачка, чтобы гонять меня туда-сюда, то зайди, то выйди.

— Ну, — отвечает Ганс, — а я с нетерпением жду практики. Тогда у меня все равно не будет на тебя времени.

Он намеренно умалчивает о том, что будет

дежурить в клинике только до двух часов. Пусть Трауте думает, что ему и так приходится нелегко, даже без ее непрерывных стенаний. Она постоянно говорит что-то типа «я тебе не собачка». Гансу нравятся умные женщины, но не те, которые упрекают его и указывают, как ему жить.

Когда Трауте отправляется в Крайбург-на-Инне, они прощаются на вокзале так же холодно и официально, как при первой встрече, — одним крепким рукопожатием. Трауте поднимается по ступенькам в вагон, напоследок оглядывается через плечо, и Гансу кажется, что у нее на лице появляется жалость. Это приводит его в ярость — зачем ему ее жалость? Если кто и заслуживает жалости, так это Трауте, которая уезжает отбывать трудовую повинность.

Он что есть мочи пинает лежащую на земле консервную банку, и та летит вслед уходящему поезду. Становится немного легче.

По дороге домой Ганс позволяет себе сделать крюк через Английский сад. В июне они с Трауте гуляли здесь под руку, но сейчас эти воспоминания не вызывают грусти. Напротив. «Осень еще толком не наступила, — думает он, — почти все вокруг выглядит таким же, как тогда; может пройти какое-то время, прежде чем с деревьев

опадут листья. Внутри меня и снаружи — два разных мира, и мир снаружи на самом деле очень красив».

Одна беда: люди вокруг слишком шумные, рот у них никогда не закрывается, совсем как у Трауте. «Вот бы выбраться из города, — думает он, — вот бы оказаться в нетронутой природе, в нетронутом мире».

Вечером, сидя в биргартене, они с Алексом не без злорадства совершают величайшее в Баварии оскорбление — заказывают бутылку красного вина. Трактирщик смотрит на них с таким отвращением, что Алекс набрасывает на салфетке его нелепый карикатурный портрет, и Ганс впервые за долгое время по-настоящему смеется. Этот вечер похож на первые тайные встречи у перелеска на краю тренировочной площадки — еще до появления Трауте, до нападения на Советский Союз. Беззаботными те встречи уже не были, но все равно отличались. Когда трактирщик приносит вино и, не говоря ни слова, уходит прочь, Ганс начинает делиться мыслями, которые пришли ему в Английском саду.

— Скоро нас назначат санитарами-фельдфебелями, — говорит он.

— По крайней мере, этому мы обязаны не своим

военным заслугам, — отвечает Алекс и театрально, словно знаток, покачивает бокалом с вином. Он знает, что трактирщик где-то там, наблюдает злыми глазами, и не может удержаться от провокации.

— Верно, — отвечает Ганс, — но это означает, что скоро мы вырвем себе клочок свободы. Санитары-фельдфебели не просиживают штаны в казармах. Не знаю, как тебе, а мне хочется выбраться из города.

Алекс пробует вино, громко причмокивает и одним глотком опустошает половину бокала.

— Итак, что скажешь? — спрашивает Ганс.

— Ну, — говорит Алекс после недолгого колебания, — если мы отделаемся от практики, то я с удовольствием погляжу на мир. Отправлюсь в приключение.

— Ангелика не будет возражать? — осторожно спрашивает Ганс.

Алекс пожимает плечами:

— Порой мужчине нужно побыть в одиночестве, — говорит он, и это «одиночество» как бы само собой включает Ганса.

Ганс переживал, что с появлением Ангелики он потеряет Алекса навсегда, однако опасения его не оправдались. Поначалу они даже

пытались встречаться втроем или вчетвером с Трауте, но ничего хорошего из этого не вышло. Дело никогда не доходило до ссор или какого-то противостояния, Ангелика общалась с Гансом исключительно дружелюбно, но смотрела на него так же неодобрительно и холодно, как Элизабет. Есть определенная трагикомичность в том, что Алекс всю жизнь искал женщину, похожую на мать, а нашел копию своей мачехи. Конечно, Ганс никогда не произнесет этого вслух — у Алекса совершенно нет чувства юмора. Как бы то ни было, в определенный момент Ганс решил избегать дальнейших встреч с Ангеликой, что не составило особого труда. Как ему кажется, Алекс теперь ищет его общества больше прежнего, особенно когда газеты снова сообщают о военных успехах на советской земле или когда Элизабет получает письма от своих русских родственников. В такие дни Алекс предпочитает молчаливое курение с Гансом общению с возлюбленной. Правда, когда об Ангелике все-таки заходит речь, то Алекс отзывается о ней в самых лестных выражениях. Возможно, даже слишком лестных. Лишь однажды он обмолвился о том, что у Ангелики есть другой мужчина, более того — она замужем.

— Но чисто формально, — сразу же отмахнул-

ся он, когда Ганс захотел узнать подробности. На этом тема была закрыта, однако Ганс понял: отношения с Ангеликой не такие безоблачные, как Алекс пытается себе внушить. Почему-то это успокоило, быть может, даже немного обрадовало: теперь у них было еще больше общего. Однако Ганс по крайней мере не скрывает, что Трауте действует ему на нервы. Он до сих пор не ответил ни на одно из писем, которые она прислала ему из своего захолустья.

— Значит, решено! — кричит Ганс и поднимает бокал: — Отправимся же навстречу приключениям!

– *Na sdarowje*, — отвечает Алекс.

К немалому удивлению, даже страшная бюрократия не встает на пути их планов: главный врач без колебаний подписывает практикантам Шморелю и Шоллю заявление на отпуск. Алекс рад, а Ганс еще больше укрепляется в уверенности: этой стране больше не нужны врачи. Нет, это остальной мир должен исцелиться от неметчины, что, судя по всему, вряд ли произойдет.

У Алекса есть старая лодка, на которой они хотят проплыть по Дунаю, захватив с собой только зубные щетки, ни дать ни взять — настоящие бродяги. На короткое время планирование, вер-

нее игра воображения, затмевает все остальное: политику, сердечные дела, даже свинцовую меланхолию Ганса. Однако в глубине души всегда остается страх, что по какой-то причине ничего не получится, что кто-то подставит подножку — не столько главный врач, которого, похоже, ничуть не заботит их присутствие или отсутствие, сколько отечество, которое в любую минуту может призвать их в армию, как всю роту, так и всего нескольких человек, и направить бог знает куда: фронтов более чем достаточно. Каждую минуту они проживают под контролем Гитлера.

— Кристель сейчас в Страсбурге, — однажды говорит Алекс, когда они стоят во дворе клиники и курят бок о бок.

— Что он там забыл? — удивляется Ганс.

— Что он там забыл? Его туда направили, он служит в люфтваффе.

— Но у него жена, ребенок…

— Тем, кто отдает приказы, все равно, — презрительно отвечает Алекс и в знак уважения к старому другу, которого сослали подальше на Запад, пускает колечко дыма, пусть даже не совсем правильной формы. Ганс с удивлением качает головой: как-никак, а у Кристеля маленький ребенок…

— И рождение второго не за горами, — бормочет Алекс. Ганс удивленно моргает. — Дарить детей фюреру — дело благое, однако после того, как оно сделано, тебя просто отправляют в Страсбург.

Гансу и Алексу везет. Ничто не мешает их планам, разве что погода: небо над головой зловеще серое. Сойдя с железнодорожной станции, они поднимают лодку высоко над головой и начинают идти — Ганс впереди, Алекс позади. Кроме весел, прижимаемых ими к борту лодки, у них с собой лишь то, что помещается в карманах. Когда они опускают лодку в воду Дуная, начинается дождь.

— Что скажешь? — спрашивает Ганс. — Рискнем?

— Конечно, — отвечает Алекс. — Плохая погода меня не смущает. Сил больше нет терпеть это лживое солнце.

И Ганс смеется над тем, как похожи порой их мысли.

Осень 1941 года

Открыв входную дверь, Инге Шолль не на шутку удивляется, когда видит перед собой двух промокших насквозь мужчин. В одном из них она узнает своего младшего брата Ганса, второго же за лодкой почти не разглядеть. Инге держит в руках кухонное полотенце: мама сейчас моет посуду, а она вытирает.

— Добрый вечер, сестренка, — говорит Ганс и лукаво улыбается: — Знаешь, одного полотенца нам двоим будет мало.

Инге радостно кричит:

— Мама, мамочка, скорее сюда! Ганс приехал!

Слышно, как мать торопливо спускается по лестнице: жилые помещения находятся на втором этаже, а на первом располагается отцовская контора, сквозь молочно-белые стекла в двери виден свет — значит, отец до сих пор работает. Мать тяжело дышит, добравшись до нижних ступеней, она уже немолода и в последнее время сильно исхудала: колики не дают покоя. Однако глаза у нее видят по-прежнему ясно, и причину неожиданного визита она понимает гораздо

раньше, чем ее взволнованная дочь.

— Так-так, — смеется она, — у нас здесь жертвы кораблекрушения!

Двум бродягам приходится отказаться от своего первоначального плана: заехать в Ульм, быстро заделать дыру в лодке и сразу же отправиться в путь. Инге не терпит возражений. Первым делом она приносит полотенца, затем — старую одежду Ганса. Очень старую. Поношенная рубашка гитлерюгендцев налезает на Алекса впритык, и Ганс рад, что ему Инге приносит что-то другое. Мать на кухне тем временем разогревает остатки только что законченного ужина, через приоткрытую дверь слышно, как она тихонько напевает.

— Лодка пусть останется за дверью. О ней позаботитесь позже, — почти строго говорит Инге. — Главное сейчас — здоровье.

Вскоре Ганс и Алекс, одетые в узкие рубашки и короткие брюки, сидят за большим кухонным столом, пьют чай и едят суп. Не совсем так они представляли свое приключение, но что поделать. В первый же день они весьма драматично перевернулись, пробили днище лодки и на ближайшей железнодорожной станции обменяли мокрые насквозь купюры на билеты до Ульма.

— Мы столько о вас слышали, — говорит Инге,

обращаясь к Алексу, и с любопытством подпирает голову руками: — А вы настоящий русский?

Алекс смеется и говорит чуть ниже, чем обычно:

– *Da, nastojaschij russkij*!

Ганс шутливо предупреждает:

— Не подначивай его, а то он весь вечер будет болтать по-русски и разобьет все наши стаканы!

Инге хихикает, а фрау Шолль молча улыбается, потому что всегда души в Гансе не чаяла, отчего остальные ее дети порой были не в восторге. В десять лет Ганс чуть было не оказался между движущимися льдинами во время ледохода, отец спас его в последний момент, и тот отделался лишь несколькими ссадинами. С тех пор при взгляде на повзрослевшее лицо сына фрау Шолль всегда вспоминает о Божьей милости. Еще она знает, что Ганс всегда старался быть послушным ребенком и что это давалось ему труднее, чем остальным детям, поэтому она улыбается и поглаживает золотой крестик, висящий на тонкой цепочке у нее на шее.

В очередной раз опустошив тарелки и чашки, Ганс и Алекс, в которых больше ничего не влезает, начинают собираться к отъезду. Однако Инге вмешивается:

— Нет, нет, нет, не может быть и речи! Конечно же, вы останетесь на ночь. Вернер уехал, его кровать все равно пустует.

«Почти все кровати пустуют», — думает Ганс. Его младшая сестра Лизерль работает няней где-то под Тюбингеном, самая младшая — Софи — отбывает трудовую повинность в приюте на границе со Швейцарией. Вернеру — единственному брату Ганса, самому младшему из детей — сейчас девятнадцать, и он служит во Франции. Ганс смотрит на большой кухонный стол, а потом на бледную мать. Каким пустым, должно быть, кажется ей этот стол теперь, когда уехал и Ганс! Только Инге всегда рядом, она мамина помощница и отцовский секретарь, она словно срослась с домом, и Ганс от всего сердца желает ей поскорее выйти замуж. Иначе ей отсюда не выбраться. Как бы Ганс ни любил своих родителей, — и своего строгого отца в особенности, — он знает, что Инге приходится нелегко. Быть может, именно поэтому она не хочет отпускать их с Алексом.

— В такую погоду нельзя спать на улице! — восклицает она и осуждающе поднимает указательный палец: — Так и помереть недолго.

Не сосчитать, сколько раз Ганс спал под открытым небом — со своими товарищами по

гитлерюгенду, как солдат, в любую погоду, — однако Инге и слышать ничего не хочет. Она уже поднимается в мансарду, в бывшую комнату братьев, чтобы застелить кровати свежим бельем. Мать только молча улыбается ей вслед.

— Эх, мамочка, неужели с твоей дочерью никак не договориться? — укоризненно спрашивает Ганс, но потом смеется и целует мать в щеку.

Немного отвернувшись от стола, Алекс прикрывает зевок коротким рукавом рубашки, однако Ганс все видит и думает: глупо отказываться провести эту ночь в теплой постели, да он и сам устал. Еще он может показать Алексу фотографии из Парижа, путевые заметки из Швеции и вообще — всю свою прежнюю жизнь. Алекс столько рассказывал о своем детстве в России: три коротких года оказались источником бесконечных историй и анекдотов. Теперь Ганс должен показать ему Ульм, каким бы скромным он ни казался по сравнению с великой царской Россией.

Возвращается раскрасневшаяся Инге и говорит, что кровати готовы.

— Хорошо, мы останемся, — сдается Ганс, — но рано утром уедем.

— А лодка? — спрашивает Алекс.

Ганс напрочь забыл о пробоине — он вообще

склонен либо не замечать препятствия, либо не считать их таковыми в зависимости от настроения.

— Починим завтра, — предлагает он.

— Лучше сейчас, — возражает Алекс и едва заметно кивает, указывая на Инге, которая радостно потирает свои трудолюбивые руки. Алекс прав: если они будут возиться с лодкой завтра утром, то не уедут.

На мгновение Ганс задумывается, не позволить ли лени вопреки здравому смыслу победить, но в конце концов соглашается:

— Хорошо. Давай спустим лодку в подвал, там есть все необходимое.

Основную работу предстоит выполнить Алексу, чьи руки годятся для создания не только бюстов Бетховена, но и вполне полезных вещей. Ганс всегда любил строить шалаши, плоты, плотины и все такое, но не отличался большим мастерством и потому никогда не мог полностью воплотить свои идеи в жизнь. Впрочем, заделать небольшую дырку в днище лодки — невелика хитрость, а если и окажется таковой, то Алекс что-нибудь да придумает.

Женщины скрываются на кухне, чтобы второй раз за вечер помыть посуду, а Ганс с Алексом

выходят на улицу и взваливают на плечи еще влажную лодку. Лестница в подвал старая, узкая и неровная, спустить по ней лодку — та еще задача. Теперь Алекс идет впереди, а Ганс — сзади, нетвердым шагом они спускаются по ступенькам. Дверь в подвал закрыта — и это странно: в детстве она всегда была нараспашку. Ганса осеняет внезапная догадка, но не успевает он произнести ни слова, как Алекс уже толкает дверь.

Колокольный звон, и объявление: «Here is the BBC News» [2]. Герр Шолль стоит спиной к двери, склонившись над верстаком, где, судя по всему, лежит радиоприемник. Он выпрямляется и, обернувшись, вглядывается в лицо незнакомого молодого человека в плохо сидящей коричневой рубашке и с чем-то тяжелым на плече. Диктор говорит по-английски, и герр Шолль понимает: выключать радио нет смысла, пусть работает себе.

— Это Томас Манн? — спрашивает незнакомец.

— Пока нет, — бесстрастно отвечает отец.

В подвал втискивается Ганс, «чем-то тяжелым» оказывается деревянная лодка, и Ганс обращается к отцу:

---

[2] Примечания: 2

«В эфире новости Би-би-си» (*англ.*).

— Папа, это мой друг Александр Шморель.

Он говорит это тоном, который мгновенно возвращает герру Шоллю уверенность и ощущение безопасности, и тот отвечает, коротко бросив на сына строгий взгляд:

— Вам следовало постучать.

Затем закрывает дверь и делает радио погромче.

1933 год

Небо над полем светлое и ясное, как глаза новорожденного, воздух как никогда чист, а по земле радостно шагают брат и сестра. Они с трудом сдерживают веселость, девочка несет корзинку с яйцами, взятыми у крестьянина, — мать велела, их нельзя разбить. А девочке очень хочется попрыгать и потанцевать, солнышко так тепло светит, а впереди — длинная ровная дорога, иди себе и иди. Мальчик идет впереди, ему нет еще и пятнадцати, но гордо выпяченная грудь в коричневой рубашке хорошо смотрелась бы и в солдатской шинели.

— И тогда, Инге, — говорит мальчик, — придут коммунисты, марксисты и все остальные, толпой нападут на нашу дорогую родину. Как ты думаешь, Инге, что тогда будет?

Инге хихикает, в корзинке перекатываются яйца.

— Не знаю, ты мне скажи.

Все она прекрасно знает, каждый немец должен это знать, потому и хихикает.

Мальчик забегает вперед, преграждает девочке

дорогу и вскидывает правую руку — жест представляет собой нечто среднее между немецким приветствием и знаком остановиться.

Мальчик кричит:

— Гитлер встанет перед ними и остановит их нашествие громким, нескончаемым приказом «стоять!». А за спиной у него будет целая армия, и мы с тобой, Инге, мы тоже будем там!

Инге хохочет, хохочет всем телом, отчего в корзинке разбиваются два яйца, повсюду желтая слизь, мама будет ругаться. Отец тоже, но не из-за яиц. Ничего не поделаешь: отец вечно устраивает много шума из ничего, думает Инге. Сегодня такой славный день, единство — это славно, скоро все немцы поладят, как сегодня ладит со своим братом Инге, скоро все они будут братьями и сестрами, как братья и сестры Шолль. И Гитлер будет их отец, потому что нет нужды в отцах, которые ничего не понимают и устанавливают свои правила, теперь дети будут маршировать с Гитлером. Вперед, вперед!

Место молодых — вместе с молодыми, у Ганса есть друзья в гитлерюгенде, и не только друзья: на Ганса равняются, с таким рвением он скоро поднимется на вершину, многие последуют за ним, не только Инге со своей корзинкой яиц. В

глубине души Ганс давно знал, что ему суждено стать лидером, суждено изменить этот мир, вот только не знал как — но теперь Гитлер скажет, что делать. Гитлер — великий, умный человек, таким Ганс станет, когда пройдет обучение в гитлерюгенде и по-настоящему вырастет. У них есть цели, у Германии снова есть цели! Если придут красные или прохвосты из «Союза католической молодежи», то им не поздоровится — как на днях после службы в церкви. Не стоит католикам наглеть, Гитлер сокрушит то, что не сокрушили кулаки Ганса. Ему тоже хорошо досталось, но в компании других гитлерюгендцев забываешь о боли, по вечерам они сидят у костра и поют, и песни эти эхом разносятся по всей стране.

К тому времени, как Инге с Гансом приходят домой, отец уже поднялся из своей конторы. Это видно, как только входишь в дом: фотография Гитлера убрана в ящик, и на стене зияет белое квадратное пятно.

Ганс вешает фотографию снова. Каков отец, таков и сын — Ганс давно научился упрямиться. Выбегает мама:

— Ох, бедные яички!

Мама не ругается, только выглядит немного грустно. Она уходит на кухню с оставшимися

яйцами, и в дверях гостиной появляется отец. Теперь, знает Инге, снова будут слезы.

Оказывается, отец прознал о драках, которые устроили ребята из гитлерюгенда, прознал о подвигах Ганса, которые считает глупостями. Мальчишки должны драться, думает Инге, и те другие заслужили взбучку, но отец вообще категорически против Гитлера, он всегда видит все в черном свете.

Отец громоподобно спрашивает: неужели Ганс думает, что играть в войну весело? Что он знает о жестокости? Кто из них двоих был на войне — Ганс или он, отец? Борьба с инакомыслящими — это только начало, вскоре в ход пойдет оружие, бомбы. Именно этого Гитлер и хочет — неужели Ганс настолько глуп, что не понимает?

Глаза Ганса наполняются слезами, слезы бегут по детским щекам, но голос звучит твердо и упрямо:

— Что ты вообще знаешь о современном мире, отец? Вы навлекли на Германию хаос эпохи, но Гитлер наводит порядок, чтобы у нас была молодость! Настоящая молодость и будущее! Я не позволю говорить о Гитлере в подобном тоне!

Инге бросается мимо отца в гостиную и принимается играть на пианино патриотическую

песню «Адольф Гитлер проложит путь к блаженству» — так она больше не слышит крики, но вместе с тем оказывает отцу сопротивление, а брату — поддержку. Прибегают младшие брат и сестры и с любопытством наблюдают за происходящим. Вернер тоже хочет вступить в гитлерюгенд, а Софи — в «Союз немецких девушек», Лизерль пока не знает, но, скорее всего, последует примеру старшей сестры.

В конце концов, отец не может им запретить, песня звучит задорно, а слезы брата обладают особой убедительной силой.

Отец поднимает руки, словно сдаваясь, он больше не выглядит сердитым, только усталым. Он удаляется к себе в кабинет и не показывается до обеда, фотография Гитлера остается висеть на стене. Ганс и Инге довольны: раньше отец кричал больше, но теперь, наверное, настроен менее категорично. Быть может, однажды они его переубедят, обратят в свою веру. А если и нет, то не важно — будущее принадлежит не ему, а им. Ганс вытирает остатки слез рукавом, и там, где ткань становится влажной, ее коричневый цвет делается только темнее.

Зима 1941 года

До сих пор декабрь был мягким, но сейчас, похоже, начинается метель: дует сильный ветер, в воздухе висит тревожное ожидание. Алекс все равно садится на велосипед: холод всегда был ему по душе — благодаря наследию русской матери, ну, или так ему хочется верить. *Njanja* связала шарф из хорошей довоенной шерсти, которым Алекс плотно обматывает шею, на голове у него — старая меховая шапка отца, проверенная русскими морозами. Осталось только купить приличную зимнюю обувь. Форменные сапоги держат тепло, но Алекс предпочитает не надевать их, если есть такая возможность, — уж лучше промочить ноги и замерзнуть. Велосипед новый, или, по крайней мере, новый для Алекса: он купил его у Ганса, который не переставал жаловаться на его, велосипеда, странности.

Алекс тогда рассмеялся:

— Что значит «плохо везет»? Это же не какой-нибудь строптивый скакун, а обычный велосипед.

Однако Ганс настаивал на том, что у этого

велосипеда есть свой характер, причем весьма капризный характер, и Алекс, который тоже умеет упорствовать, ответил:

— Если не веришь, то продай велосипед мне, и я докажу тебе обратное.

На самом деле для обоих сделка оказалась довольно выгодной: добавив к своим накоплениям несколько рейхсмарок Алекса, Ганс смог купить у сокурсника старый велосипед, да и Алекс поначалу тоже был доволен.

Но теперь, проездив на этом велосипеде некоторое время, он вынужден признать, что Ганс, возможно, был прав. Чем ближе он подъезжает к дому Ангелики, тем тяжелее становится крутить педали — по крайней мере, так кажется в последние дни. Ангелика уехала встречать Рождество с семьей. С мужем. Так они условились с самого начала, и все же… теперь почему-то больно. Кроме того, Ангелика собралась в спешке, причем утром, когда Алекс находился в университете, и он не может отделаться от ощущения, что к этому причастна Элизабет. Однажды, вернувшись с семинара, он увидел, как Ангелика, бледная и маленькая, выбегает из дома его родителей. Конечно, Алекс бросился за возлюбленной, но та не захотела с ним говорить, и за ужином Элизабет

выглядела суровее обычного.

«Она хочет как лучше, потому что заботится о тебе», — любит повторять отец. Забота Элизабет — оправдание всему. Забота позволяет Элизабет отвергать все, что не соответствует ее идеалам, все, что делает Алекса счастливым. Забота — инструмент, с помощью которого Элизабет диктует условия даже в тех краях, куда не дотягивается сам фюрер. Ее братья — большие шишки в партии. Если бы не отец, думает Алекс, если бы не отец и *Njanja*, то они с Ангели сбежали бы в Россию — необязательно жениться, лишь бы быть вместе, — он стал бы художником или бродягой… Его останавливают отец и *Njanja* — последние люди, с кем он делит память о своей настоящей матери. И возможно, немного останавливает вермахт: дезертирство карается смертью.

Ангелика так и не рассказала о том, что произошло в доме Шморелей, на все вопросы качала головой и говорила, что они с Элизабет просто болтали, и его, Алекса, не должны интересовать пустые женские разговоры. А потом она уехала к мужу, не дождавшись Алекса, не поцеловав его на прощание. Было оговорено, что она вернется после праздников и останется в Мюнхене по меньшей мере до Пасхи — чтобы продолжить

обучение, конечно. Все давно решено, господин директор даже объявил об этом в циркуляре своим ученикам. И Алекс твердо верит, что Ангелика вернется, в наше время во многое надо верить, просто верить. Теперь в войну вступила Америка — не совсем на стороне русских, но против Германии, в американцев тоже надо верить. Только велосипед, велосипед больше ни во что не верит, объезжает каждый газетный киоск и с трудом двигается, когда Алекс в очередной раз хочет проехать мимо дома Ангелики. Алекс сопротивляется изо всех сил, крутит и крутит педали, крутит и крутит, даже насвистывает по ветру русские песни. Вот он проезжает мимо нужного дома, и крутить педали сразу становится легче. Держись, *Aljosha*, Ее Светлость скоро вернется! Держись, Россия-матушка, никому тебя не одолеть!

Несмотря на надвигающийся холод, дорога не скользкая, просто мокрая. В любом случае сегодня Мюнхен выглядит совсем не празднично: в окнах вместо рождественских свечей — свастики, в глазах детей вместо радостного блеска — слезы и уныние, домохозяйки мечутся от одного пустого прилавка к другому: надо же купить хоть что-то, что сделает этот вечер святым. Элизабет снова купит маленькую елочку и украсит ее

блестящими игрушками. Брат и сестра Алекса — католики, у них свое Рождество. Алекс будет стоять рядом с ними и чувствовать себя чужим на этом празднике, зная, что его собственное, настоящее, Рождество еще впереди. Тогда *Njanja* приготовит праздничный ужин из тех продуктов, которые ей удастся найти, и вечером они пойдут на православную вечернюю службу, только отец, *Njanja* и он. Церковь будет украшена белыми цветами, и старинные священные песни, запрещенные в нынешней России, будут звучать здесь по-прежнему, а по дороге домой они будут говорить о Наталье. Таким будет Рождество Шурика.

Что же ему делать на сегодняшнем празднестве в казарме, где все сводится к выпивке и танцам? Посещать его необязательно, поэтому он лучше пойдет к Гансу, который тоже не хочет никуда идти.

— Большинство солдат не имеют ни малейшего представления об Иисусе Христе, — говорит Ганс, — а если и имеют… что ж, тем хуже.

Алекс заметил, что в последнее время Ганс все чаще заговаривает об Иисусе. Возможно, это из-за частых бесед со старым теологом, с которым он недавно подружился. У старика такая большая библиотека, что Ганс просматривал

книги несколько недель, а потом с энтузиазмом рассказывал, что «там столько запрещенки!». А может, дело в многочисленных письмах, которые Ганс получает от матери, письмах, пронизанных псалмами и библейскими изречениями. Что ни говори, а ни один сын не останется равнодушен к письмам настоящей матери.

Но вообще трудно сказать, находит ли Ганс в религии такое же утешение, как его мать. Во всяком случае, Алексу самому становится все труднее и труднее. Он начинает насвистывать русские песни громче прежнего, прохожие оборачиваются ему вслед и, должно быть, думают: «Какой забавный парень! Наверное, у него есть повод для радости».

«Совсем наоборот, потому я и свищу, потому я и должен свистеть!»

Ганс встречает Алекса с чашкой чая в руке. Не так давно он обзавелся собственным самоваром, поменьше, чем у Шморелей, но почти таким же хорошим. Впервые они с Алексом затопили его незадолго до своего путешествия на лодке, отношения Ганса с Трауте уже рушились — ах эта мимолетная любовь! — бесконечная война, вермахт окружил Ленинград. Ганс и Алекс сидели на ковре и молча пили русский чай. И как будто

чего-то ждали.

Сегодня они тоже почти не говорят, Ганс наливает Алексу чашку чая, от тепла которого у того приятно покалывает губы. На обеденном столе горит свеча. Ставни уже закрыты, и эта свеча — единственный источник света в комнате, она светит мягко, успокаивающе, как костер, пусть даже совсем маленький. Они садятся, Алекс набивает трубку, Ганс тоже закуривает.

— Ты был прав насчет велосипеда, — говорит Алекс, — он действительно капризный.

— Ну не знаю, — говорит Ганс, задумчиво потирая подбородок, — мне кажется, что сейчас все вокруг капризные.

После этих слов они долго молчат. В углу лежит не до конца закрытый чемодан, из которого торчит яркая упаковочная бумага, а рядом стоят лыжные ботинки. Каждый год на рождественские каникулы Ганс вместе с братом, сестрами и друзьями снимает небольшой лыжный домик, это уже почти традиция. Он спросил Алекса, хочет ли тот присоединиться, но Алекс колебался не дольше мгновения. А вдруг Ангели передумает и вернется в Мюнхен, к нему?

— Когда уезжаешь в Ульм? — спрашивает Алекс.

— Завтра, — говорит Ганс. — Люблю проводить Рождество дома. Однажды у меня не получилось приехать. Хуже праздника у меня не было.

— Фронт?

— Тюрьма, — отвечает Ганс и быстро добавляет: — Подрывная деятельность, контрабанда валюты и… подобные вещи. — Он молча докуривает сигарету и тут же закуривает следующую. — Не возражаешь, если я почитаю о Рождестве из Евангелия? — вдруг спрашивает он.

Алекс качает головой.

Ганс достает из ящика стола Библию — несколько потрепанную, но все равно красивую, бегло пролистывает и начинает читать вслух. «До чего странно, — думает Алекс, — этот же голос читал мне работы Гитлера в лесу, однако сейчас он звучит совсем иначе».

— Не бойтесь, — читает Ганс, и Алекс замечает, что впервые после путешествия на лодке видит своего друга по-настоящему счастливым. Спокойным, задумчивым, но все же счастливым: древние слова вырываются из уст Ганса так, словно никто не произносил их прежде, и в ясном голосе звучат вибрации, проникающие в самое сердце. И Алекс просто слушает, откинувшись назад, почти лежа в глубоком кресле. Торже-

ственно мерцает свеча. Дано нам немного. Алекс видит Ангелику и свою мать, одно лицо, любовь и смерть, они вне его власти. Но война, а как же война? — Не бойтесь! Родился ваш Спаситель!

Закончив, Ганс оставляет Библию открытой и некоторое время скользит пальцами по страницам, прослеживая слова. Потом говорит:

— Знаешь, теперь я, кажется, понял. В этом году я впервые понимаю смысл Рождества и впервые могу отпраздновать его от всего сердца.

Снаружи ветер стучит по ставням и черепице, но внутри стоит полнейшая тишина. Друзья смотрят друг на друга.

Резня славянского и еврейского населения в Польше, в Киеве, в Крыму, голод в Ленинграде, в Москве, об этом не пишут в газетах, но все всё знают. Взгляд Ганса говорит то, о чем думает Алекс, — в этом особенность их молчания, которое выражает невыразимое: война на их совести тоже.

— Знаешь, — без перехода говорит Ганс громким веселым голосом, словно продолжая беседу, — в новом году я бы хотел организовывать… собрания, знаешь, что-то вроде литературного кружка, но не только литературного. Будем встречаться каждую неделю и говорить о теологии,

философии, искусстве. О свободе. Так я себе представляю эти встречи. Быть может, даже удастся привлечь кого-нибудь из профессоров, попросить почитать лекции. Думаю, это стало бы началом.

— Началом, — повторяет Алекс, улыбается и отпивает чай.

Зима 1942 года

Софи хочет учиться в Мюнхене — не важно на кого, но как можно скорее. Для Ганса это не новость, Софи уже говорила о своем желании на Рождество. Она говорила о нем и раньше, но потом выучилась на воспитательницу в детском саду, чтобы избежать обязательной трудовой повинности. После ей все же пришлось отбыть трудовую повинность, потому что законы изменились, и теперь воспитателей детских садов тоже заставляли работать на благо так называемого национального единства. Когда Софи оставалось отработать всего несколько дней, трудовую повинность продлили еще на полгода. Софи была в отчаянии. Дальнейшей службе она предпочла бы любую несмертельную болезнь. Ганс сестру урезонил: здоровье и силы ей еще понадобятся. Оставалась последняя надежда — убедить власти в том, что без Софи родители не справятся, однако вскоре погасла и она. Теперь Софи сидит в захолустье на швейцарской границе и присматривает за детьми, родители которых — по крайней мере большинства — сидят в тюрь-

ме, но, как метко выразилась Софи на Рождество, «неплохие люди, особенно по сравнению с моим верным фюреру начальством».

Слова о том, что без Софи родители не справятся, нельзя назвать ложью. Вот Ганс держит в руках письмо матери, написанное нетвердым и дрожащим почерком. С осени колики не прошли, а стали только хуже, врачи разводят руками и могут сказать лишь то, что это не рак. Мать пишет, что им нужна помощь Софи по дому, ведь сама она с трудом передвигается из-за боли, а Инге занята бумажной работой в канцелярии отца. К тому же нельзя забывать о том, что у Софи есть жених! По крайней мере, так мама всегда называет Фрица, как всегда называла Трауте невестой Ганса. Когда закончится война и Фриц будет освобожден от офицерских обязанностей, первое, что нужно сделать, — это жениться и создать семью… Однако, несмотря на все разумные доводы, Софи больше всего на свете хочет учиться в Мюнхене. «Что же делать?» — спрашивает мать.

Ганс знает, что это он виноват — по большей степени. Это он рассказывал Софи о студенческой жизни в Мюнхене, рассказывал о лекциях и дискуссиях, рассказывал о своем русском друге. Говорил, что она зачахнет, если станет домохо-

зяйкой или секретаршей.

А еще Ганс знает, что он прав. Однообразная домашняя жизнь, которая делает Инге такой несчастной, погубит Софи — с ее стремлением к созиданию и жаждой знаний. Ганс знает это, но все равно сидит сейчас у окна и смотрит на заснеженный соседский сад, задумчиво прикусив ноготь. На рождественских каникулах он находился в приподнятом настроении и предвкушал перемены, хотел сделать первый шаг к чему-нибудь и чувствовал, что серьезность Софи может оказаться тем, чего так не хватает ему и Алексу. Однако сейчас его настроение испортилось, и он думает: почему именно Софи? Почему не Вернер, с которым они в детстве делили комнату и уже тогда хорошо ладили? Почему не Инге? Да, почему ей не приехать? Ганс мог рассказать Инге что угодно — она держала все его тайны при себе. А когда отец злился, Инге всегда вставала на сторону Ганса. И Гитлера, но сейчас он предпочитает об этом забыть. Ганс думает о Софи и ее попытках его образумить — сестренке не нравится, что Ганс вечно гуляет с девчонками, а ведь она знает далеко не о всех его похождениях! Говоря языком философии, Софи можно было бы назвать ригористом — человеком, который строг

к себе и столь же строг к другим. Ганса это в ней, конечно, восхищает — когда она применяет свои моральные нормы не к нему.

Из задумчивости Ганса выводит металлический привкус на языке, и только через секунду приходит боль. Ганс прикусил ноготь настолько, что пошла кровь. Громко выругавшись, он встает и подходит к столу, в одном из ящиков которого хранятся пластырь и бинт. Пока он стоит там, нагнувшись над столом, засунув одну руку в ящик, а другую — неловко подняв, чтобы ничего не запачкать кровью, он вдруг думает: как же хорошо, если рядом кто-то есть. Несмотря ни на что. Хорошо, если рядом кто-то есть, когда в душе Ганса наступает осень, кто-то, кто знает все черты его характера — особенно плохие. Кто-то, кто может поддержать. Кто-то вроде Софи.

Ганс находит пластырь, торопливо наклеивает на палец — впрочем, ранка совсем крохотная и кровь уже засохла. Потом берет ручку и пишет матери: «Я настаиваю на том, чтобы сестренка как можно скорее приехала ко мне в Мюнхен. Во время рождественских каникул я подробно изложил свое мнение на этот счет, с тех пор оно не изменилось. Софи нельзя отказывать в учебе. С наилучшими пожеланиями, Ганс». И приписка:

«Мы пойдем друг другу на пользу». Он кладет письмо в конверт, пишет на нем адрес, надевает пальто и сапоги.

За окном до сих пор лютая зима, мороз, и страшно даже представить, каково сейчас на Восточном фронте. Где там сейчас Фриц, так называемый жених Софи? Ганс не слишком хорошо знает этого Фрица — они никогда особо не общались, пусть даже ходили в одну школу. Однако в те немногие разы, когда им довелось перекинуться словечком, Фриц всегда казался славным парнем, даже разумным — и чего связался с нацистами? И тут Ганс вспоминает свои офицерские брюки — хорошие, дорогие брюки, купленные всего за несколько недель до Рождества, которое ему пришлось провести в тюрьме вдали от семьи, и при мысли об этих брюках у Ганса вырывается горький смешок. Он опускает письмо матери в ближайший почтовый ящик — теперь назад дороги нет.

Ганс договорился встретиться с Алексом во второй половине дня — вместе они хотят прогуляться в лесу Перлахер-Форст. О каком-то определенном времени не уславливались: так сложилось, что они всегда приходят примерно в одно и то же время независимо от того, куда и

зачем. Наверное, поэтому говорят, что некоторые люди живут в одном ритме, словно часы.

И действительно: подойдя к тропинке, Ганс видит двоих — да, двоих человек, приближающихся с противоположной стороны. Алекса легко узнать по странной меховой шапке и размашистой, пружинистой, несмотря на глубокий снег, походке. Другой человек одет в форму, и Ганс узнает его только тогда, когда они подходят чуть ближе: это Кристель, старый школьный друг Алекса, брат Ангели. У обоих во рту трубки, но дым выходит только изо рта Алекса.

— Я бросил курить, — говорит Кристель вместо приветствия.

Алекс смеется:

— Но от трубки все равно не отказывается. Мол, так воздерживаться легче.

— Ты уже вернулся из…? — удивляется Ганс и чувствует неловкость из-за того, что даже не может вспомнить, куда сослали Кристеля. В любом случае, куда-то далеко — слишком далеко для семейного человека.

— К сожалению, речь всего лишь о коротком отпуске, — вздыхает Кристель, — я уже возвращаюсь в Страсбург.

— По крайней мере в Страсбурге красиво, — от-

вечает Ганс и ободряюще улыбается.

— Даже не знаю, — говорит Кристель, — мне кажется, во время войны ни один город не может быть по-настоящему красивым.

Втроем они пробираются по заснеженному лесу. Под ногами хрустит едва расчищенная тропинка. Алекс срывает с куста длинную ветку и принимается рисовать на снегу узоры — волны и закорючки.

— Как поживает Миша? — интересуется Ганс, гордый тем, что вспомнил хотя бы имя сына Кристеля.

— Замечательно поживает, — отвечает Кристель, и лицо его сияет. — И у Винсента тоже все хорошо.

— Кто такой Винсент? — спрашивает Ганс и в следующую же секунду вспоминает слова Алекса о втором ребенке Кристеля.

— Мой сын, — улыбается Кристель, — родился всего три дня назад. Поэтому я и приехал — по такому случаю меня отпустили домой.

Ганс рассеянно кивает, погруженный в раздумья. Алекс выбрасывает ветку, оглядывается и укоризненно смотрит на Ганса, и тот сразу же понимает, что нужно делать:

— Поздравляю, — торопливо бормочет он и

выдавливает улыбку — слишком напряженную, чтобы быть искренней.

Кристель разочарованно вздыхает:

— Значит, ты думаешь так же, как остальные.

— О чем? — спрашивает Ганс, все еще пытаясь изображать на лице радостную улыбку.

— Что в такие времена нельзя рожать детей, — отвечает Кристель.

— Нет, я никогда бы не подумал о таком! — восклицает Ганс, возможно излишне поспешно, излишне громко, излишне горячо.

Алекс приходит на помощь:

— Я хорошо знаю Ганса. У него всегда мрачный вид, даже когда он искренне радуется…

— Да-да, — бормочет Кристель, — я все понимаю. Быть может, вы и правы. Но вы не знаете, что значит быть отцом. Заботиться о семье. А у меня только одна жизнь, и я не позволю Гитлеру отнять ее.

Ганс не мог не заметить, что Кристель обращается во множественном числе, а Алекс виновато опустил взгляд.

— Я поздравляю тебя, — повторяет Ганс, и на этот раз ему удается улыбнуться. Кристель прав, нельзя позволить войне лишить нас всякой радости и уж тем более — самой большой радости на

земле. Он вспоминает Рождество из Евангелия, Христа в яслях.

— Спасибо, — отвечает Кристель, и по голосу слышно, что говорит он серьезно.

Алекс поднимает веточку и рисует на снегу что-то похожее на счастливое детское личико или улыбающееся солнышко. Они идут дальше, бок о бок, начинается легкий снег, несколько снежинок попадают на меховую шапку Алекса и блестят, как волшебная пыль.

Время от времени Ганс настороженно поглядывает на Кристеля, однако тот больше не кажется обиженным, напротив, даже улыбается, словно погруженный в приятные мысли. Возможно, о Мише и его братишке.

На кладбищенской стене сидят и чирикают два тощих воробья. Как и всегда, Алекса на прогулку собирала дорогая *Njanja*, поэтому в кармане пальто у него лежат два больших бутерброда. Алекс крошит хлеб и бросает крошки себе под ноги. Воробьи набрасываются на них, как будто они хищные птицы, голод заставляет их забыть о страхе. Из-за стены слышен тихий перезвон колоколов, издалека доносится музыка. Похороны.

— Кстати, у меня тоже есть новости, — говорит Ганс, пока Алекс крошит и второй кусок хлеба,

хотя воробьи еще не доели первый. — Моя сестра скоро приезжает в Мюнхен.

— Погостить? — спрашивает Кристель.

— Учиться, — отвечает Ганс.

— Она красивая? — спрашивает Алекс, не отрывая взгляда от воробьев. Это настолько неожиданный вопрос, что Ганс не может сдержать смеха. Воробьи взлетают, однако вскоре возвращаются на прежние места — такое пиршество нельзя пропустить.

— Неужто отказался от сестры другого своего друга? — спрашивает Ганс, продолжая смеяться. Кристель предостерегающе пихает его локтем в бок, давая понять, что с такими вещами шутить не стоит.

Сам Алекс лишь смотрит пустым взглядом на воробьев, жадно клюющих крошки у его ног.

— Ангелика не оставит мужа. По крайней мере, не навсегда, не ради меня, — бормочет он осипшим голосом. — Не правда ли, Кристель? Она ведь никогда этого не сделает?

Приходит черед Кристеля отводить взгляд.

— У Ангели курсы, — наконец отвечает он, — стенография, французский и так далее. Думаю, она останется в Мюнхене до Пасхи…

— Да, до Пасхи, — грустно повторяет Алекс и

трогается с места, оставляя позади воробьев и кладбищенскую стену, Ганс и Кристель молча следуют за ним.

— Я познакомился с одной художницей, — через некоторое время говорит Алекс. — На художественных курсах. Ее зовут Лило, она очень милая. И замужем.

— Везет тебе на замужних, — замечает Ганс.

Алекс оборачивается, у него на щеках вспыхивают красные пятна.

— Это совсем не то, что вы думаете, — торопливо объясняет он. — Она не… Не в этом смысле. Она просто друг, не более того.

Алекс встряхивается всем телом, словно отбрасывая всякую возможность того, что в его сердце когда-либо появится кто-то, кроме его обожаемой Ангелики. После этого с него как рукой снимает любую меланхолию, он снова шагает пружинистой походкой, весело машет перед собой веткой, пародируя капельмейстера, и произношение его разительно напоминает гитлеровское:

— Р-р-р-раз, два, тр-р-ри, четы-р-р-ре! Р-р-р-раз, два, тр-р-ри, четы-р-р-ре!

Ганс с Кристелем смеются и маршируют так исправно, как только возможно на таком снегу, маршируют, как подвыпившие гитлерюгендцы.

На повороте Алекс резко останавливается и веткой рисует на снегу большую свастику.

— А это еще зачем? — весело спрашивает Ганс.

— А ты как думаешь? — отвечает Алекс. — Мне нужно отлить.

Зима 1942 года

Февраль — месяц доносов. Гансу приходится столкнуться с этим дважды за нескольких дней, оба раза не по своей воле, и он дважды в полной мере ощущает трусость и злобу своих современников. Такие товарищи хуже любого гестапо.

Первый донос случился на учениях. Всю роту направили на тренировки, и на этот раз они с Алексом не смогли улизнуть — уходить в лес было слишком рискованно: снега выпало много, на нем остаются следы. Поэтому друзья прилежно тренировались вместе со всеми. Группу Ганса отправили на стрельбище. Он не смеет признаться Алексу в том, как весело ему было. Вообще-то Ганс — умелый стрелок и почти всегда попадает в мишени. Он ползал на животе по снегу, стреляя и попадая в цель, и пытался не думать о том, что однажды ему придется стрелять не только по нарисованным мишеням.

Ганса похвалили, однако уже в следующую секунду детская радость, вызванная этой похвалой, принесла досаду. Можно подумать, ему нужно признание этих людей. В конце концов, это не

имеет никакого значения.

Донос случился в другой группе, в отделении Алекса, и потом никто не мог точно сказать, что произошло. Солдаты должны были вырыть в снегу ямы и тренироваться стрелять из укрытий, однако до этого не дошло. Командующий обер-лейтенант — известный тупица! — сначала тщательно осмотрел присутствующих, с недоверчивым видом переходя от одного человека к другому, потом остановился перед Алексом и принялся кричать как сумасшедший.

Виной тому была прическа. У Алекса волосы длиннее, чем у большинства других солдат, но несильно — ровно настолько, чтобы Ангелика могла их слегка взъерошить. Прежде никто не обращал на это внимания, однако обер-лейтенант то ли встал сегодня не с той ноги, то ли по жизни встает не с той. Итак, у него две левые ноги и ужасный запах изо рта, который Алексу пришлось терпеть несколько минут — настолько близко подошел к нему этот мужчина, который кричал, что Алекс позорит всю часть и если завтра он не явится с должной стрижкой, то он, обер-лейтенант, обреет его лично…

Алекс говорит, что, оправившись от первоначального испуга, он перестал слушать — в

общем-то, никто не слушал, все стояли, смотрели друг на друга и пытались думать о чем-нибудь приятном, согревающем, чтобы не замерзнуть. Наконец у командира закончились ругательства, он еще несколько секунд с ненавистью смотрел на Алекса, а потом отвернулся. Тогда-то все и случилось.

Алекс и сам уже не помнит, что именно пробормотал, скорее всего что-то вроде: «Побрей себе сам знаешь что». В общем, сболтнул он какую-то глупость, даже не связанную с политикой. Командир ничего не услышал, а вот некоторые товарищи, стоявшие рядом с Алексом, услышали. Большинство из них засмеялись. Те, кто не смеялся, донесли.

И вот Алекс вдруг оказывается предводителем мятежа, а всей роте грозит трибунал.

— Если бы я действительно что-то сделал, — говорит Алекс, — что-то… стоящее.

Но теперь уже совершенно не важно, кто и что сделал. Ганс в тот день был образцовым солдатом, однако оказался наказан вместе со всеми остальными — заперт в казарме. Ох уж этот произвол, с каким вмешиваются в их жизни! Он снова напомнил о себе. Быстро выяснилось, что за случившееся никого нельзя расстрелять (к явному

сожалению тупоголового обер-лейтенанта), и тогда их решили подвергнуть бессмысленным и морально выматывающим наказаниям, и прежде всего — лишению свободы.

Ганс беспокойно ворочается на казарменной койке, с тоской вспоминая свою комнату с множеством книг и соседский сад.

— В следующий раз, когда на меня кто-нибудь накинется, я плюну ему в лицо. Пусть потом думают, что со мной делать, — едва слышно произносит Алекс с верхней койки.

Его волосы, кстати, не стали ни на миллиметр короче. Первоначальный повод для так называемого мятежа больше никого не интересует. Если бы не этот случай, то нашелся бы другой — начальство просто хотело разок проучить роту студентов, этих интеллектуалов, которых с незапамятных времен ненавидел режим.

То был первый февральский донос.

Ко второму Ганс имеет еще меньше отношения, чем к первому, однако страдает от него куда сильнее. Новое письмо из Ульма, подписанный безобидным маминым почерком конверт. Ганс машинально разрывает его, вынимает лист бумаги и по прыгающим буквам сразу понимает: произошло нечто ужасное. Отец арестован. На

него донесла сотрудница его канцелярии — совсем молоденькая девушка, надежная, прекрасно справляющаяся с бумажной работой и, в общем-то, очень милая. Видимо, слишком милая. В ее присутствии отец чувствовал себя слишком свободно и высказывался так же откровенно, как и наверху, дома. О войне и о том, что ее уже не выиграть. О национал-социалистической партии, настоящей испанской инквизиции наших дней. О Гитлере, самом страшном биче человечества. Это стало последней каплей — молоденькая секретарша не смогла больше терпеть. И тогда в дом Шоллей во второй раз явились гестаповцы. «Перевернули все вверх дном и мало что нашли, отца допросили, но в тот же вечер разрешили вернуться домой. Впрочем, суд еще впереди, и исход его более чем не определен», — пишет мать.

«Отец, должно быть, немало лукавил на допросе, — думает Ганс. — Должно быть, вел себя двулично и лицемерно». И эта мысль вызывает тошноту. Лучше бы отец ударил по столу со словами: «Да, я сказал! И сказал потому, что это правда!»

Нет, конечно, не лучше. В таком случае гестапо никогда бы не выпустило отца на свободу, его бы оставили под стражей надолго или… даже

думать об этом не хочется. Хорошо, что отец притворился, хорошо, что Алекс не плюнул в лицо обер-лейтенанту. Ганс все понимает, однако внезапно им овладевает самоубийственное желание пожертвовать собой: просто пойти и выкрикнуть правду! А потом пусть хоть потоп, мне все равно, пусть меня расстреляют!

Как будто это кому-то поможет.

Ганс берет ручку и пишет матери, что она должна сохранять спокойствие и всегда полагаться на Иисуса Христа, отдавшего жизнь за грехи человечества, и, пока Ганс писал письмо, он сам вдруг почувствовал всепоглощающее спокойствие. Это одна-единственная жертва, которая одолеет самый страшный бич человечества. Христос погиб ради человечества и ради человечества он воскрес, и только потому каждая жизнь и все страдания имеют смысл! Ганс кладет письмо в конверт, невольно улыбается и молитвенно складывает руки.

1937 год

Гуго поднимает взгляд и смотрит на Шурика, который стоит, скрестив руки и поджав губы. Забавное зрелище, почти смехотворное. За последние несколько лет Шурик изрядно вытянулся — и сам еще к этому не привык. В свои девятнадцать он по-прежнему неуклюж, движения его скованны. Своенравный мальчишка.

— Что ты на это скажешь? — выдавливает Шурик, едва приоткрывая рот, словно заранее знает, что скажет отец. Ответ с самого начала был очевиден, и все же Шурик написал письмо. Или, скорее, писульку. Когда Шурик старается, то может писать красиво, как девочка. А здесь — сплошные каракули, буквы толкаются, перечеркивают друг друга кривыми закорючками, местами чернила расплываются, страница почти промокла. Это не письмо, это бумажное недоразумение.

Гуго вздыхает:

— Во-первых, такое письмо нельзя показывать. Только посмотри на него! И это ты собираешься отдать начальству?

— Я перепишу начисто, — тотчас отвечает Шу-

рик, едва шевеля губами.

Гуго снова вздыхает. Он все понимает, но не должен этого показывать. Нельзя поощрять мальчика в его упрямстве. В конце концов, Германия приютила их в тяжелое время, не стала придираться к документам *Njanja* и быстро выдала ему разрешение на работу. Конечно, все это случилось до Гитлера, однако в сегодняшней России им было бы намного хуже.

— Шурик, — ласково зовет отец и откидывается на спинку кресла, делая вид, что совершенно расслаблен. Только пальцы не желают подыгрывать и судорожно сжимаются, отчего письмо зловеще шуршит. — Ты и сам знаешь, что это невозможно.

Шурик не двигается, смотрит с вызовом, на щеках — красные пятна, доставшиеся в наследство от Натальи. Она тоже всегда краснела, когда сердилась. Это случалось нечасто, да и Шурик пока нечасто злился. В конце концов, нам не дано выбирать время, в котором мы живем. Да и место на самом деле тоже. Обстоятельства могли сложиться намного лучше, но, как любила говорить Наталья: «Господь знает, кому какая ноша по плечу».

— Почему невозможно? — спрашивает Шурик.

К чему все эти терзания? Что он надеется услышать? Гуго не может сказать ничего полезного. Наталья обязательно бы что-нибудь придумала, и в такие минуты Гуго недостает ее столь же сильно, как недоставало с самого начала. Он знает, что Шурику всегда ее не хватает, и поэтому сделал все возможное, чтобы в остальном мальчик не знал недостатка. Совсем недавно он обустроил комнату Шурика под мастерскую, с мольбертами, ведрами для красок и разными материалами. Шурик пропадает там часами, рисует или лепит скульптуры, а потом, сияя от радости, показывает, что получилось. Тогда Гуго думает: «Все наладится». Но потом случается очередная глупость. Вот как это нелепое письмо.

— Потому, — отвечает Гуго, — что теперь ты немецкий солдат.

Голос его звучит ласково и спокойно, но письмо уже превратилось в комок. И тогда Шурик вдруг начинает кричать:

— Я не немец и не солдат, *ni njemets, ni soldat*!

Он переходит на русский, как делает часто, — в семье все одинаково хорошо говорят на обоих языках, все, за исключением *Njanja*, которая до сих пор на немецком и двух слов связать не может. Поэтому дома в основном говорят по-русски.

Общаясь между собой, дети могут посреди предложения перейти с одного языка на другой и даже не заметить, это ничего не значит. Но теперь это значит: *ni njemets,* я не немец!

Гуго вскакивает с кресла, однако из-за разницы в росте ему все равно приходится немного запрокинуть голову, чтобы посмотреть своему ребенку в глаза. Скомканное письмо летит на пол, Гуго хватает сына за плечи и говорит:

— Однако тебе же нравилось в гитлерюгенде, Шурик. И в «Стальном шлеме», и в конных войсках тоже. Почему сейчас ты творишь глупости?!

Гуго повышает голос, но не со злости, а от отчаяния. *Njanja* избаловала парнишку, и он тоже избаловал его — последнее и единственное, что осталось от Натальи. Красные пятна, доставшиеся Шурику от матери, почти побагровели, однако его слова звучат спокойно, почти рассудительно.

— Тогда меня интересовал только спорт и лошади, которых разрешалось брать в штурмовых отрядах. То было ребячеством. Но теперь речь идет о присяге. Я не могу присягать Гитлеру. Я же русский.

«Перед лицом Бога я клянусь этой священной клятвой фюреру германского рейха и народа Адольфу Гитлеру, главнокомандующему вер-

махта, беспрекословно подчиняться и быть, как храбрый солдат, всегда готовым пожертвовать своею жизнью».

Конечно, Гуго знает эти слова — слова, которые должен произнести каждый солдат. Им приходится клясться перед лицом того, на кого Наталья уповала всю жизнь. Шурик верит в Бога с почти детской наивностью — научился у *Njanja*. Для русского народа проклятия и клятвы — это не просто слова, а почти магия.

Гуго по-прежнему держит Шурика за плечи, но больше не сжимает. Руки его бессильно повисают. Погубили мальчишку…

— Но я немец, — шепчет Гуго, — значит, ты немец тоже, а значит, должен служить немецкому народу и немецкому фюреру. Так уж повелось.

— А мама? — спрашивает Шурик.

— Мама бы не хотела, чтобы ты навлек на себя неприятности из-за пустяков.

Шурик молчит, мрачно смотрит на пол — туда, где лежит его прошение, скомканное и потрепанное, как будто только что участвовавшее в безнадежной битве.

— Присягни Гитлеру, — шепчет отец, — сделай это ради мамы.

С этими словами он поднимает письмо, рвет

его на мелкие кусочки и бросает в камин. Шурик молча наблюдает. Благочестивое желание не давать клятву фюреру германского рейха и народа горит в огне. Не сказать чтобы Шурик ожидал чего-то другого, просто он из тех, кто никогда не теряет надежды. Вот она, честность. Последний клочок бумаги скрывается в огне, даже не сгорает, а просто исчезает, и Шурик возвращается в свою мастерскую, но сегодня ему просто не хочется ничего делать.

Вскоре рядовой Александр Шморель присягает фюреру — так же, как и все остальные, однако руку при этом поднимает ровно настолько, насколько необходимо, и говорит неразборчиво. Он клянется беспрекословно подчиняться то ли Арвольфу, то ли Арнольфу, то ли Арнольду Хиблеру — а может, Хивлеру или Хифлеру, кто бы это ни был, Бог простит, даже русского простит.

Весна 1942 года

«О вреде табака». Алекс когда-то читал одноактную пьесу, которая называлась так же. Читал вместе с частным преподавателем, русским, приходившим к Алексу дважды в неделю давать уроки литературы. Алекс обожал читать, особенно Тургенева и Достоевского. Впрочем, Чехов ему тоже нравился. Однако из этой пьесы ему запомнилось немногое, только то, что она была довольно забавной.

«О вреде табака». Совсем не забавной оказывается лекция его соседей по комнате — тоже медиков, естественно. Прилизанные волосы, словно их обладатели упали в бочку слизи, у одного из них — большие важные очки.

— Итак, еще раз медленно, чтобы все успели записать: легкие, кровеносные сосуды и, самое важное, питание мозга кислородом, — подводит итог очкарик.

На самом деле говорит он далеко не медленно и постоянно запинается в своем занудном рвении.

Другой с усмешкой добавляет:

— Вот в чем главное различие между этим ми-

стером Черчиллем и нашим фюрером.

Он жестом изображает курение толстой сигары, и очкарик громко — преувеличенно громко — смеется.

Алекс стоит с уже набитой трубкой и догорающей спичкой и недоумевает, во что же он ввязался.

Почему-то будущее всегда рисовалось ему в радужных красках: они с Гансом вернутся в мюнхенскую клинику, где их будут ждать скучающий главврач, лишенный амбиций, и дежурства самое позднее до полудня. Однако на этот раз у бюрократии были другие планы, и Алекс отправился на стажировку в Хольцхаузен — городок, который столь же провинциален, как звучит. Находится этот городок не очень далеко от Мюнхена, однако слишком далеко, чтобы ездить каждый день домой. Поэтому Алексу приходится делить комнату с двумя незнакомцами, которые, как назло, еще и не курят.

Алекс без возражений откладывает трубку и спички в сторону — ему не хочется спорить, и два слизняка торжествующе кивают друг другу: еще пара легких прибережена для блага родины. «Если бы они только знали, что это русские легкие», — думает Алекс. Впрочем, эти двое больше

пекутся о своем благополучии, чем о здоровье соседа, который им явно неприятен.

Алекс забирается на верхнюю койку двухъярусной кровати и, стараясь не вслушиваться в глупый разговор своих соседей, пишет Ангелике. Как Кристель и говорил, после рождественских праздников Ангелика добросовестно вернулась к Алексу. Ключевое слово «добросовестно». От Алекса не ускользнуло, что после возвращения она все чаще говорит… нет, не о муже, а о своей школе, об учениках, об обычной жизни.

— Правила нужно устанавливать самому, — сказал Алекс, и Ангелика грустно ответила:

— Да, может быть.

Алекс лежит на животе, матрас настолько твердый, что можно писать прямо на нем.

Им с Ангели остается только переписываться, и, сказать по правде, Алекс не страдает из-за разлуки. Ганс говорит, что после расставания они с Трауте прекрасно ладят. Считает ли Трауте так же? Как бы то ни было, они по-прежнему проводят много времени вместе, быть может даже больше, чем раньше, — например, на праздниках катались вместе на лыжах. Кроме того, Трауте до сих пор регулярно наведывается в Ульм, чтобы помочь родителям Ганса и пообщаться с Инге.

— Можно любить физически, — однажды сказал Ганс, — а можно духовно. Но нельзя любить и физически, и духовно одновременно.

Тогда Алекс решительно возразил, однако сейчас как будто понимает, о чем говорил Ганс. Поэтому совсем не страдает из-за того, что им с Ангеликой остается только переписываться, любить друг друга духовно, как в самом начале, когда ее муж еще ничего не знал. Прежде Алексу претило быть тайным любовником, теперь это кажется куда привлекательнее, чем их нынешняя путаница. Он размашисто пишет на бумаге приветствие: «Золотце мое, радость моя», но потом ему больше ничего не приходит в голову. Письмо едва длиннее открытки. Ангелика подумает, что Алекс был уставшим, и это правда. Он переворачивается на спину и закрывает глаза. Умники внизу тем временем рассказывают непристойные анекдоты о Черчилле и время от времени громко смеются. Алекс прижимает к ушам подушку.

Из Советского Союза сюда прислали первых раненых — с обмороженными пальцами ног. Чаще всего Алексу достаются пациенты с легкими ранениями. Он немногословен. Наверное, его считают глуповатым. По правде говоря, Алексу хочется

задать много вопросов о войне и о том, что сейчас происходит у него на родине, но, во-первых, на это нет времени — врачи и медсестры гоняют его и в хвост и в гриву. А во-вторых… он боится. Боится рассказов о разрушенных городах и селах, о том, что Россия горит… Боится слов солдат о том, что им не жаль — пусть горит, да посильнее! Русские — не люди, они не имеют права на жизнь, их жизнь менее ценна, чем жизнь животного. Тогда… что ж, тогда Алексу пришлось бы вмазать полузамерзшему пациенту, валяющемуся на больничной койке. А он не хочет — эта вспышка насилия ни к чему не приведет. Пропаганду можно вбить в головы людей, но выбить ее еще никому не удавалось, поэтому Алекс предпочитает молчать и просто выполнять свои обязанности. У солдат сине-черные пальцы на руках и ногах, да и носы тоже, Алекс испытывает легкое омерзение — когда он создает скульптуры или рисует человеческие тела, обычно те целые и красивые. Однако он стискивает зубы и накладывает толстые повязки на еще не полностью отмороженные, вздувшиеся участки тела, в худших случаях зашивает раны после ампутаций.

Какими далекими сейчас кажутся лекции по анатомии, которые можно было прогулять,

и экзамены, которые можно было пересдать! Здесь нет места ошибкам, и Алекс рад, что ему доверяют только простые задачи. По крайней мере, технически простые — он старается не присутствовать при пробуждении пациентов с ампутированными конечностями. Иногда этого не избежать, и тогда Алекс видит на их лицах глубокую потерю, которую оставляет недостающая часть тела — пусть даже мизинец, он незаменим. Как бы Алекс ни старался, как бы аккуратно ни накладывал швы, он ничего не может поделать с разочарованием, которое появляется на лицах пациентов. Вот что труднее всего. Алекс часто вспоминает Ганса — интересно, выполняет ли он в своем военном госпитале в Шробенхаузене — звучит еще ужаснее, чем Хольцхаузен! — такую же работу или что-то посложнее. Ганс — хороший врач, и после войны он станет еще лучше. Что же касается Алекса… Он поступил на медицинский потому, что поддался уговорам Кристеля. Кристель всегда питал к науке искренний интерес, и Алекс думал, что учеба на одном факультете станет своего рода продолжением их счастливых школьных дней. Кроме того, отец настолько обрадовался тому, что старший сын пойдет по его стопам, что после осторожного упоминания о

возможности такой карьеры обратного пути уже не было. Теперь Алекс бродит по мрачным коридорам, заставленным больничными койками с ранеными, вглядывается в сонные, искаженные болью лица и думает: «Нас с Гансом тоже скоро заберут, тоже отправят на войну, это всего лишь вопрос времени». К счастью, санитаров не сразу бросают на передовую. Сначала их отправляют в тыл, где жизнь все еще имеет остатки смысла. Конечно, это тоже вопрос времени. Однако только ради этого стоило изучать медицину.

«Когда война закончится, — думает Алекс, — я больше никогда не переступлю порог госпиталя. Даже если окажусь смертельно больным. Даже к отцу в ортопедический кабинет не приду». Он клянется себе в этом, стоя в Хольцхаузене между ранеными.

По крайней мере, здесь, в военном госпитале, можно курить сколько душе угодно. Нашлось бы время. Дело не столько в табаке, без которого, если потребуется, Алекс может обойтись, сколько в тишине и покое. От людей у него голова кругом, они повсюду — раненые, медсестры, врачи, все они разговаривают и разговаривают, причем ужасно громко, а по вечерам еще эти слизняки умничают: «Фюрер отказался от мяса, поскольку

это хорошо для кишечника и полезно для здоровья!»

Алекс отыскал в госпитале комнату, которая всегда пустует, что удивительно, учитывая постоянную нехватку мест. Комната небольшая, своего рода проходная, но расположена в углу здания, потому через нее никто никогда не проходит. Внутри — старая мебель, почти вся сломанная. Быть может, зимой ее разбирают на дрова или просто о ней забыли. Здесь, в этой безлюдной комнате, Алекс при любой возможности уединяется со своей трубкой. Завтра прибудет новый груз — медсестры и правда называют раненых «грузом» — так вот, завтра прибудет новый груз из России, и тогда потребуются все силы, будет непросто выбраться на перерыв, поэтому сегодня он наслаждается относительной тишиной.

Алекс сидит на колченогом стуле в своей тайной комнате, курит и смотрит в крошечное окошко: мир за ним такой же грязно-серый, как и стены. Алекс думает обо всем и ни о чем одновременно, погруженный в творческое состояние, которое совершенно невозможно, пока находишься среди других людей. Сейчас ему очень хочется что-нибудь создать — рисунок, скульптуру, что угодно, но как это сделать, оказавшись

в ловушке военного госпиталя? Не говоря уже об отсутствии материалов…

Из транса Алекса выводит какой-то звук. Не тяжелая, решительная поступь врачей и медсестер, не медленное шарканье пациентов, нет, это легкие шаги, которые становятся все громче, как возвещающая о чем-то барабанная дробь, и вот в его тайной курительной комнате появляется маленькая девочка. Действительно маленькая — ей не больше трех. На широкой голове ни волоска, только нежный пушок, нос приплюснутый, словно его вдавили в череп, широко расставленные глаза, изумленно глядящие на мир. Девочка вошла через противоположную дверь, которой Алекс никогда не пользовался, потому что считал запертой. На самом деле она, скорее всего, была просто прикрыта. Алекс смотрит на девочку, а девочка смотрит на него. Он никогда прежде не видел в этом госпитале детей. В первую секунду он думает, что это дочь одного из размещенных здесь солдат. Но девочка босая и к тому же одета в белую ночную рубашку, как обычно одевают детей в приютах, да и ее матери нигде не видно. Алекс делает то, что всегда делает при виде ребенка: корчит рожицу. Девочка начинает смеяться — впечатляюще громко для ее маленького роста,

потом подбегает к Алексу и выжидающе замирает. Тогда он снова корчит рожицу, еще более смешную, и малышка хохочет — так безудержно, что хватается за его халат, чтобы устоять на своих маленьких ножках. В следующую секунду в проеме двери появляется бледное лицо медсестры:

— Вот ты где!

Алекс никогда прежде не видел эту медсестру, однако ему кажется, что она обращается к нему. Смущенно заикаясь, Алекс извиняется, но медсестра, не обращая на него внимания, стремительно входит в комнату и рывком прижимает малышку к груди. Веселый смех сменяется громким плачем, Алекс мельком видит над плечом медсестры детское личико. Отчаянный рев слышен еще долго после того, как дверь захлопывается.

— Ты что, правда не знал? — спрашивает вечером очкарик, удивленный не столько чужим невежеством, сколько тем, что обычно молчаливый Алекс с ним заговорил. — Раньше госпиталь был домом инвалидов, для больных с наследственными заболеваниями. Теперь таких пациентов почти не осталось. Я работал здесь два года назад. Автобусы тогда приезжали почти ежедневно. По ночам. Ну, сам понимаешь.

Тем вечером, а может, и другим, потому что проведенное в Хольцхаузене время кажется сплошным сумраком, Алексу приходит письмо. Ангели пишет, что приняла решение — давно уже приняла, и написать ей легче, чем сказать лично. При нынешних обстоятельствах она хочет вернуться к мужу и прежней жизни. Ангели следует чувству долга и ответственности, она — не он и не может поступить иначе. Пусть Алекс не пытается ее переубедить, а лучше будет ей хорошим другом и старшим братом, потому что именно в этом она сейчас нуждается. «Обнимаю со слезами на глазах, твоя Ангелика».

Алекс читает письмо, потом перечитывает, снова и снова, проводит пальцем по строчкам, чтобы не пропустить ни единой запятой, или точки над і, или какого-нибудь тайного знака, который подскажет выход… но не находит. Ангелика собирается уйти, теперь — по-настоящему, и Алекс знает, что должен сейчас грустить или злиться, но не грустит и не злится — или, быть может, все-таки злится, но потому, что вспоминает маленькую девочку и ночные автобусы. «Быть может, даже хорошо, что Ангелика уходит сейчас, — думает он. — Порой все происходит именно тогда, когда должно произойти».

Весна 1942 года

Алекс с Гансом сидят бок о бок на скамье и смотрят на поезда, которые прибывают не из Ульма.

— Да, — бормочет Ганс через некоторое время, — мама рассказывала о таком. До замужества она была диакониссой и ухаживала за больными детьми. Она до сих пор обменивается письмами с некоторыми бывшими коллегами. Конечно, они не могут открыто писать о происходящем, но некоторые вещи читаются между строк… А ведь казалось, что проповеди мюнстерского епископа положили этому конец. Если уж сам епископ рассказывает о том, что происходит в этой стране с людьми с наследственными заболеваниями, и все верующие его слышат, то должно что-то произойти. Я даже записывал его речи. И что это дало? Убийцы, — немного помолчав, с горечью добавляет он, — это медсестры и врачи. Такие же врачи, как мы.

«Я не врач», — чуть было не отвечает Алекс, но потом вспоминает о том, что ничего не сделал, чтобы освободить девочку из железных объятий медсестры, что он вообще ничего не сделал. О

чем они с Гансом говорили тем торжественным вечером незадолго до Рождества? Что это начало. Начало, которое никак не поможет той девочке. Начало, которое не поможет никому. Почему недостаточно одного начала? «Сопротивление», — говорят они с Гансом, с самого Рождества повторяя друг другу: «Мы переходим к сопротивлению», — и больше ничего, как будто одних слов достаточно. Алекс с яростью давит ногой окурок сигареты, которую дал ему Ганс.

За последние несколько дней Алекс выкурил все свои запасы табака, пытаясь справиться с болезненным одиночеством и чувством вины из-за вновь обретенной свободы. Около недели назад они с Кристелем проводили Ангелику на вокзал. Кристель недавно вернулся из Страсбурга, его перевели в военный госпиталь люфтваффе на севере Мюнхена. Всю дорогу он сетовал:

— Мне наконец-то разрешили побыть с семьей, а моя дорогая сестренка уезжает!

Алекс, в свою очередь, не проронил ни слова. Просто топтался рядом, как случайный прохожий. Теперь он сожалеет об этом — должно быть, Ангелика подумала, что он обиделся или даже оскорбился. Но это все ерунда! Если Ангелика счастлива, то и он однажды будет счастлив. На

прощание Алекс хотел подарить бывшей возлюбленной русские стихи, которые собственноручно перевел на немецкий — специально для нее — и красивым почерком записал в блокноте. Однако в последний момент Алекс забыл о подарке, и блокнот остался лежать у него в кармане пиджака. Жаль, конечно… Возможно, следует послать этот блокнот по почте — в доказательство того, что он, Алекс, совсем не сердится.

Сейчас он сидит на том же вокзале, где недавно провожал сестру Кристеля, и ждет прибытия сестры Ганса. «Неудачный обмен», — думает он. Алекс не испытывает неприязни к Софи, он ее даже не знает, но никто не сможет заменить Ангели.

Ганс ерзает, сидя на самом краю скамейки, нервно затягивается сигаретой.

— Поезд опаздывает уже на двадцать минут, — бормочет он, бросая быстрый взгляд на вокзальные часы, и выглядит так мрачно, словно в опоздании виновата его сестра. Последние несколько дней Ганс находился в приподнятом настроении и радовался тому, что после долгих мытарств Софи наконец-то приедет. Ганс быстро нашел ей жилье — у старика-теолога, обладателя огромной библиотеки, где он некоторое время работал, освободилась комнатка. Не очень боль-

шая, по словам Ганса, но на первое время этого будет достаточно, потом Софи сможет найти себе что-нибудь подходящее. Ганс только и говорил, что о ресторанах и концертах, куда сводит Софи, и о книгах, которые даст ей почитать. Но сейчас он сам не свой — сидит как на иголках и курит как паровоз, будто не сестру ждет, а какие-то неприятности.

«Общество и одиночество, — размышляет Алекс, — как ни парадоксально, но люди всегда жаждут и того и другого».

Наконец прибывает еще один поезд — на этот раз из Ульма.

Софи выходит самой первой. Алекс сразу понимает, что это сестра Ганса, хотя внешне они совсем не похожи. Софи ниже ростом, и взгляд ее совсем не мрачный, пытливый, подчас хитроватый, как у Ганса, хотя глаза у нее такие же темные и большие. Однако движения выдают Софи куда больше, чем внешность: она выходит из вагона с по-солдатски прямой спиной и кивком благодарит господина, который передает ей чемодан. Оказавшись на платформе, Софи с серьезным, почти суровым видом принимается выискивать взглядом брата.

— А вот и мы! — кричит Ганс, и Софи с улыбкой

направляется к ним. Алекс невольно усмехается, потому что походкой она особенно напоминает Ганса: выставленные вперед бедра, широко расставленные ступни, большие, уверенные шаги.

Софи бросается брату на шею:

— Как же я рада, что наконец-то приехала!

Ганс крепко обнимает сестру и кружит вокруг себя:

— Добро пожаловать в Мюнхен, госпожа студентка!

— Я Александр Шморель, однокурсник вашего брата, — представляется Алекс, протягивая девушке руку.

— Это вы — тот самый русский! — со смехом восклицает Софи. Она говорит тише, чем можно было бы ожидать по ее манере держаться, и отвечает на рукопожатие: — А я просто Софи.

Все формальности отброшены — к огромному удовольствию Алекса. Как можно вести себя формально с девушкой, которая так поразительно похожа на Ганса?!

Алекс забирает у Софи чемодан, который оказался гораздо тяжелее, чем он думал, ведь Софи поднимала его с удивительной легкостью. После этого они отправляются в путь.

— Как доехала? — спрашивает Ганс, беря Софи

под руку, и они размашистыми шагами идут нога в ногу.

— Ужасно, — вздыхает Софи.

— Почему? — спрашивает Алекс, становясь рядом с ней, и теперь Софи постоянно приходится поворачивать голову от одного к другому, отчего ее темно-каштановые волосы чуть выше плеч колышутся, как тяжелые занавески на ветру.

— До Аугсбурга все было хорошо. Но потом появились люди в форме, они остановили поезд и начали проверять у всех паспорта. Похоже, им не понравился пассажир из моего купе — он имел «недостаточно арийские» черты. Поэтому проверяющие разобрали его багаж — переворошили все белье, вывернули наизнанку карманы, даже очки сломали и, естественно, не подумали извиняться, а потом просто оставили все вещи валяться на полу. Конечно, они ничего не нашли.

— Так вот почему опоздал поезд, — ворчит Ганс.

Софи кивает.

— Знаешь, что мне следовало сделать? — спрашивает она после минутного раздумья. — Похлопать одного из проверяющих по плечу и сказать: «Уважаемый господин, вы забыли проверить мой багаж. А ведь я тоже не блондинка с голубыми

глазами. Дело, похоже, только в этом».

— К счастью, ты этого не сделала. В твоих вещах наверняка нашли бы не только очки и белье, — усмехается Ганс.

— Может, еще несколько книг.

— Вот именно.

На трамвайной остановке Алекс уверяет, что чемодан совсем не тяжелый и что донесет его сам. Хорошая погода и желание сэкономить побуждают их добраться до нового жилища Софи пешком.

— Я так рада! — восклицает она. — Наконец-то я буду учиться! Я хочу научиться всему, всему, чему только можно!

— На какую специальность собираешься поступать? — спрашивает Алекс.

— Держу пари, что на искусство, — отвечает Ганс.

Алекс заинтересованно приподнимает брови.

— Чушь, — говорит Софи, — искусству нельзя научиться. Я решила изучать биологию и философию.

При слове «философия» брови Алекса опускаются.

— Софи чудесно рисует, — поспешно говорит Ганс и, обращаясь к Софи, добавляет: — Алекс

очень талантливый художник.

— Да нет, — отзывается Алекс. Впрочем, он никогда не страдал от ложной скромности, поэтому улыбается, стараясь не выглядеть слишком гордым.

— О, я люблю рисовать, — вздыхает Софи и мечтательно смотрит вдаль. — Но с этой дурацкой трудовой повинностью ни на что не остается времени.

Алекс согласно кивает и, на мгновение задумавшись, говорит:

— Дома у меня своего рода мастерская. Порой ко мне приходят модели с фактурной внешностью, с интересными лицами. Удовольствие это, конечно, недешевое, и я подумал, что если хочешь, то можно скинуться и вместе…

Софи несколько замедляет шаг и смотрит на Алекса широко раскрытыми глазами, как если бы он только что пообещал ей луну с неба.

— Конечно, — с готовностью кивает она, — конечно! И как можно скорее!

И вот бóльшая часть прогулки проходит в разговорах об искусстве и художественном творчестве, Ганс участвует в беседе по мере сил, и они чуть не забывают свернуть на боковую улочку прямо перед Фельдхерренхалле, залом воинской славы.

— Нам чуть не пришлось отдать честь мемориальной плите, — шепчет Ганс, наклонившись к Софи, — вот как далеко продвинулась духовность немцев.

— А что будет, если это не сделать? — спрашивает Софи.

— Появится замшелый штурмовик и побьет нас, — отвечает Ганс.

Софи насмешливо фыркает, поворачивается к Алексу и с улыбкой расспрашивает его о занятиях скульптурой. Он охотно и весело рассказывает о своих неудачных работах, Софи хохочет, а Ганс, который уже слышал большинство из этих историй, только усмехается.

Покинув центр города, они направляются вдоль длинного проспекта. Софи по-прежнему держит Ганса под руку, однако разговаривает теперь исключительно с Алексом. Темно-каштановые волосы неподвижно свисают вниз. Вдруг Ганс останавливается.

— Точно, пока не забыл, — говорит он, доставая небольшой бумажный сверток. — С днем рождения!

Сверток доверху наполнен липкими карамельными конфетами. Из-за талонов на продукты сладости теперь непросто достать. Софи востор-

женно хлопает в ладоши.

— День рождения… — бормочет Алекс. — Ганс мне не сказал.

— Ах, это совсем не важно, — отвечает Софи нарочито небрежным тоном и, обращаясь к Гансу, сурово говорит: — Это было совсем необязательно. — Но потом с благодарностью принимает подарок и бережно держит его обеими руками, как хрупкое сокровище. — Я приберегу их для особого случая!

Алекс тем временем как можно незаметнее проверяет содержимое своих карманов. Будь там немного денег, можно было бы забежать в какой-нибудь магазин и купить цветы, однако в карманах звякает только мелочь, а потом в руках вдруг оказывается блокнот с переведенными для Ангели стихами.

— Это так, — говорит Алекс, протягивая блокнот Софи, — просто маленький сувенир.

Он отправит Ангелике какой-нибудь другой подарок, который будет еще лучше.

— Это совсем не, не… — Софи запинается и, замолчав, с удивленным и одновременно любопытным выражением лица открывает блокнот примерно на середине. Пристально вглядывается в изящные чернильно-синие буквы и только

потом начинает читать. После первого стихотворения она с восхищением смотрит на Алекса и спрашивает:

— Ты сам написал?

— Только перевел с русского, — поспешно отвечает Алекс, смущенно опустив взгляд на свои руки. — Уверен, есть переводы и получше…

— Это стихотворение прекрасно! — убежденно восклицает Софи не терпящим возражений тоном.

Она похожа на Ганса не только движениями, но и манерой говорить. Они идут дальше, весело общаясь, но теперь Софи больше не держит Ганса за локоть. В руках у нее по подарку на день рождения, как священные регалии в какой-нибудь коронационной процессии. «Чудесные люди эти Шолли», — думает Алекс.

1937 год

— Почему?

Мать стоит прямо, как маленькая птичка, готовая в любую секунду взлететь, и теребит висящий на шее крестик. В ее вопросе нет упрека, только искренний интерес. Почему пришли гестаповцы, почему разбудили на рассвете всю семью и теперь переворачивают весь дом вверх дном, особенно детские комнаты? Она хочет это понять.

Откашлявшись, стоящий перед ней молодой человек поправляет фуражку.

— Не ваше дело! — рявкает он, однако мать все равно слышит в его голосе неуверенные нотки. Она знает этого юношу, а он знает ее. Это сын торговки фруктами, он всего на несколько лет старше ее Ганса. Когда Софи и Вернер были маленькими, он часто передавал им через прилавок яблоко или грушу — «маленький подарок», так он это называл. Теперь этот славный юноша стоит посреди гостиной, широко расставив ноги, словно опасаясь, что в любой момент на него обрушится буря. Правую руку он демонстративно держит на оружии, спрятанном за отворотом пальто, но по-

драгивающие пальцы выдают растерянность. Его поведение кажется почти комичным, ведь они — старые, уставшие люди, которые пережили многое, политическое и личное, отчего личное теперь пронизано политическим и наоборот. Ему, сыну торговки фруктами, офицеру гестапо, не пристало так трястись перед ними. Конечно, есть еще дети — вон выстроились, как органные трубы: сначала Вернер и Инге, которые почти одного роста, потом испуганная Лизерль и, наконец, Софи, она самая младшенькая, но стоит особенно прямо, как будто хочет казаться выше остальных. Не хватает только Ганса, ужасно не хватает, потому что он наверняка бы знал, что сказать, и спросил что-то поумнее, чем простое «почему?». Ганс необычайно красноречив, этим он пошел в отца, который сейчас упрямо молчит, сложив руки на груди, и только мать знает, что под его показной мрачностью скрывается затаенный страх. Она не обижается, потому что понимает, как быстро смелость превращается в отчаяние, а потом — в бесшабашность. Она все равно скучает по Гансу. Он находится в казарме под Штутгартом, готовый несговорчивый солдат немецкого рейха. Интересно, разбирают ли его маленькую коробку с вещами так же тщательно,

как вещи в комнате мальчиков?

Она поворачивается к своим детям, сын торговки фруктами коротко вздрагивает, но ничего не говорит. Какие же они все-таки хорошенькие, ее заспанные, одетые в ночные рубашки дети! Впрочем, униформенные белые блузки и коричневые рубашки уже притаились в шкафах, скоро их снова наденут и выставят напоказ, а вчера пришло письмо от Ганса, он просит денег на офицерские брюки, которые хочет купить. Мать отдавала партии детей одного за другим — пусть и неохотно, но отдавала — и в благодарность партия переворачивает их дом вверх дном. К счастью, на шее у нее крестик, за который можно держаться, и дома не найдется ничего, за что полагается длительный арест. Она об этом позаботилась.

После прихода полицейских мать сказала, что ей нужно в пекарню. Сын торговки фруктами не хотел ее отпускать, однако его командир — типичный гестаповец в длинном кожаном пальто — только рассмеялся.

— Прошу, — сказал он, — мы никогда не запретим немецкой матери накрыть завтрак для своей семьи.

Пока они осматривали шкафы в гостиной, мать взяла свою корзинку для покупок, поднялась в

комнату мальчиков и забрала все, что показалось ей подозрительным: книги, тетрадки, письма. Сейчас они спрятаны у живущих поблизости друзей. Потом мать побежала к пекарю, где купила самую большую буханку, которая теперь лежит в корзинке.

Командир выходит из комнаты мальчиков с самодовольной улыбкой на губах, которая адресована не столько семье Шолль, сколько всему миру, — сейчас славное время для нахрапистых людей. Неужели она что-то упустила? Конечно, времени было мало, в спешке легко проглядеть что-нибудь важное… Командир спускается по лестнице так неторопливо, словно у него есть все время этого мира, и небрежным взмахом отпускает сына торговки фруктами. Тот с нескрываемым облегчением кивает матери, словно говоря: «Не обижайтесь, фрау Шолль».

Командир становится на его место и осматривает детей взглядом профессионального оценщика скота: этого — обратно в хлев, этого — на бойню. По-прежнему улыбаясь, он задерживает взгляд на Инге, еще дольше смотрит на Вернера, потом переходит к Лизерль и, наконец, останавливается на Софи.

— Ты, ты и ты!

Палец повторяет путь его глаз, указывая сначала на Инге, потом на Вернера и на Софи, которая смотрит на палец так, будто вот-вот укусит.

— Оденьтесь и пройдите со мной, — говорит гестаповец, — вы арестованы.

На мгновение воцаряется тишина. Первой отмирает Софи. Инге и Вернер следуют за ней — медленно-медленно, словно пробуждаясь от глубокого сна.

— Давай-давай! — кричит сын торговки фруктами.

Мать ловит ртом воздух, пытаясь вдохнуть, но не может:

— Господи, помоги мне найти слова…

Отец тоже отмирает. Расцепляет сложенные на груди руки и подается вперед, поворачивая свой видный нос в сторону командира. Тихо, но твердо говорит:

— Инге нужна мне в конторе. Она мой секретарь. Вы не можете ее забрать.

— Послушайте… — начинает командир, но тут, не дождавшись от Господа нужных слов, вмешивается мать:

— Вы не можете арестовывать детей, такого просто не может быть!

— Послушайте, — снова повторяет гестаповец

и, кажется, удивляется, что на этот раз никто его не перебивает. Видимо, он даже не продумал фразу до конца, поэтому начинает с самого начала: — До Берлина дошли сведения, что здесь, в Ульме, юноши и девушки себе на уме. Называют себя членами гитлерюгенда и «Союза немецких девушек», но цепляются за старые традиции, которые не имеют ничего общего с идеалами нашего фюрера, а то и противоречат им. Молодежное движение от первого ноября тысяча девятьсот двадцать девятого года, также известное как «МД.1.11». Вам это о чем-нибудь говорит?

Командир устремляет высокомерный взгляд на мать. Она стискивает зубы — конечно, говорит, только теперь каждое слово будет использовано против них. «Мои спутники» — так Ганс называл мальчишек, с которыми они с Вернером общались, с которыми ходили в походы на север и пели скандинавские песни. Мать знала об этом ровно то, что слышала краем уха, подавая на стол чай с пирогом. В Молодежном движении нет места женщинам, тем более — матерям. Однако обрывки разговоров, которые до нее доходили, были безобидными мальчишескими мечтами о далеких народах и силах суровой природы, о кострах и жизненной силе. Разве не тем же са-

мым гитлерюгенд завлекает детей? Обещанием приключений, которое гитлерюгенд никогда не сможет выполнить, потому что все его начинания принадлежат не молодежи, а рабски подчиняются одному-единственному мужчине, которому уже почти пятьдесят?

— Вот почему вы забираете моих детей. Завидуете тем, кто не позволяет себя поглотить?

Неужели она произнесла это вслух? Должно быть. По крайней мере, шепотом — Лизерль испуганно распахивает глаза. Но командир ничего не слышит, а если и слышит, то ему все равно, он считает мать забавной старушкой, на которую не стоит тратить слишком много времени и слов.

Поэтому он поворачивается к отцу:

— Как немец моего поколения, которому пришлось пережить потрясения эпохи, вы должны согласиться со мной — необходимо принимать жесткие меры, чтобы сохранить единство. Если за обвинениями ничего не стоит, мы вернем ваших детей живыми и невредимыми. Даю вам слово.

«А что, если стоит?» — хочет спросить мать, но в следующую секунду почти одновременно возвращаются дети. Они переоделись в шерстяные свитера — сейчас ноябрь, на улице холодно, вчера шел снег.

В прихожей дети молча надевают ботинки и пальто. Сопровождавший их сын торговки фруктами с напыщенным видом стоит рядом и не знает, куда себя деть. Он нетерпеливо покашливает, когда Инге собирается взять шапку с перчатками, и девочка решает этого не делать.

— Мой старший сын был командиром отряда юнгфольк, — рычит отец, — он будущий офицер и сейчас на казарменном положении в Штутгарте. Когда он узнает об этом…

Теперь уже перебивает командир, он издает странный пронзительный звук, который, видимо, должен быть смехом. Губы, растянутые в широкой усмешке, почти не шевелятся:

— Можете не беспокоиться о своем Гансе в Штутгарте. Мы о нем уже позаботились.

Надменно присвистнув, он подгоняет своего подчиненного. Сын торговки фруктами послушно хватает одной рукой Инге, а другой — Вернера, и теперь ему нечем схватить Софи. Беспомощность его одновременно смешна и печальна. Мальчик, почему бы тебе не взять на себя фруктовый магазин родителей и не дать Софи яблоко, как в старые добрые времена?

— Спасибо, я и сама дойду! — фыркает Софи.

Мать предпринимает последнюю попытку

защитить детей. Она понимает, что ничего не добьется, но все равно не может удержать язык за зубами.

— Так не пойдет! — кричит она. — Муж уже объяснил, дети нужны нам здесь, они помогают во всех делах. Их нельзя арестовывать, да и на каком основании? Почему?..

Однако гестаповцы покидают дом, забрав с собой конфискованное добро — троих детей, которые некогда были ревностными сторонниками партии. Теперь это ничего им не дает.

На несколько секунд в помещении воцаряется тишина. Во дворе раздается гудение мотора — его слышно, несмотря на выпавший снег, потом гудение становится тише и затихает вдали. Мать крепко сжимает в пальцах крестик, отец понуро опускает голову, Лизерль беззвучно плачет.

— Это из-за меня, — глухо произносит отец через некоторое время, — они нацелились на меня, и это меня они хотят наказать.

Мать вздыхает. Он никак не хочет понять, что дети имеют свои убеждения и сами принимают решения.

— Что нам теперь делать? — всхлипывая, спрашивает Лизерль.

— Если они что-нибудь сделают с моими

детьми, — бормочет отец, — то я поеду в Берлин и убью его.

Мать смотрит на большую буханку, сиротливо лежащую в корзинке.

— Приготовлю-ка я поесть, — говорит она.

Лето 1942 года

С тех пор как приехала Софи, Алекс переживает своего рода дежавю: снова выступает в роли еще одного брата, прогуливаясь с Шоллями по летним провинциальным пейзажам, как прежде прогуливался с Пробстами. Софи раздобыла палатку на троих, они разбивают ее, как только начинают болеть ноги от долгой ходьбы — где бы ни находились. У них нет ни плана, ни цели. Только бы куда-нибудь уйти! По ночам они спят рядом, Ганс лежит посередине, как некогда Кристель лежал между Алексом и Ангеликой. Сейчас, конечно, все иначе: Алекс не влюблен в Софи. Ему не приходится полночи томиться тоской из-за того, что он близок к желанной девушке и одновременно с тем бесконечно далек от нее, безжалостно отделенный ее спящим братом. Напротив, стоит залезть в уютную палатку, как голова кажется легкой и пустой, перешептывания Ганса и Софи — как успокаивающее журчание ручейка, и Алекс сразу же засыпает.

В некотором смысле сейчас Алексу лучше, чем было с Ангели, пусть даже он никогда себе

в этом не признается. Что такое безмятежный сон по сравнению с великой любовью! Впрочем, преуменьшать заслуги сна тоже не стоит — благодаря ему днем Алекс пребывает в необычайно хорошем настроении.

Возможно, дело еще и в солнце, которое светит так старательно, словно хочет загладить вину за дождливую погоду во время прошлогоднего путешествия на лодке. Солнце больше не кажется лживым, скорее последовательным — беспощадно печет, обжигает кожу, если вдруг проявить неосторожность. Столь же неистово следует гореть и людям, гореть чем угодно, а лучше всего — искусством! Созидание, страдание, страсть — недаром эти три слова созвучны!

Но здесь, среди пышной зелени и веселой болтовни, страданиям нет места: Алекс громко смеется над какой-то шуткой, которую рассказал Ганс, а Софи собирает цветы на обочине. Она вплетает их в волосы — красиво, пусть даже ненадолго, потому что под палящим зноем цветы быстро вянут. Потом они играют в игру: Софи должна назвать латинским именем каждое растение, на которое Ганс и Алекс укажут пальцем, и каждый раз ей это удается.

— Это не волшебство, — отмахивается Софи,

когда Алекс громко выказывает свое восхищение, — не зря же я изучаю биологию, Шурик!

С тех пор как Софи узнала, что дома Алекса называют исключительно Шуриком, она больше не хочет называть его никак иначе. Из ее уст это прозвище звучит несколько странно, потому что она не может выговорить русскую букву «р», однако Алекс не возражает. Он не хочет показаться грубым, а Софи всегда лукаво улыбается, когда произносит это имя. «Ах, Шурик!» Ганс каждый раз удивленно приподнимает брови.

Стоит рядом оказаться какому-нибудь водоему, как приходится останавливаться на привал — Софи обязательно хочет искупаться. Алекс отворачивается, чтобы она могла раздеться, и Ганс забавы ради прикрывает ему глаза рукой:

— Не хочу, чтобы жених Софи вызвал тебя на дуэль.

Вдали раздается голос Софи:

— Ты дурак, Ганс! Какой же ты дурак! — Она смеется, но кажется, будто слова Ганса не просто шутка.

Алекс слышит шаги и громкий всплеск. Ганс наконец убирает свою руку. Над поверхностью воды виднеется лишь темноволосая голова. Алекс восхищен тем, как Софи плавает: даже при силь-

ном течении движения ее плавные и сильные, и по ним никогда нельзя сказать, плывет Софи по течению или против него.

— В этом нет ничего особенного, Шурик. Как-никак, я училась плавать в реке, — говорит Софи после того, как вытерлась и снова оделась. Она отмахивается от комплимента, однако улыбается, когда произносит «Шурик».

Ганс рассказывает, что раньше Софи стриглась очень коротко и вместо женской одежды носила их с Вернером старые рубашки и брюки. По его словам, гестаповцы забрали Софи только потому, что приняли за мальчика, и как только поняли свою ошибку, то сразу же ее отпустили.

Алекс не знает, правда это или нет, ведь раньше Софи была активисткой в «Союзе немецких девушек» и отличалась своенравностью — не меньшей, чем Ганс. Однако история все равно смешная, и Алекс громко смеется и смотрит на Софи, которая сидит на траве, задрав нос к солнцу.

— Сейчас никто не примет ее за мальчика, — говорит Алекс, а Ганс отвечает только:

— Ну-ну.

Летом дни бесконечны, но вечером Алекс и Софи достают карандаши и альбомы для рисования.

— А ты, Ганс, принеси дров для костра! — командует Софи.

Учитывая властный тон Софи, легко представить, какую деятельность она развернула в «Союзе немецких девушек». Ганс только усмехается и, не сказав ни слова, уходит.

Софи издает громкий смешок, а потом замолкает и начинает работать, низко склонившись над лежащим на коленях альбомом.

Алекс не знает, что рисовать. Он начинает с пейзажа, переносит на бумагу верхушки деревьев и возвышающиеся за ними силуэты гор, но результат ему не нравится. Тогда он пробует нарисовать белку, которая отважилась приблизиться к ним в поисках пищи, однако торопливый и потому громкий штрих заставляет зверька насторожиться и убежать.

Алекс не понимает, что происходит и почему у него ничего не получается — быть может, все дело в вечернем зное. «Интересно, как дела у Софи», — думает он и смотрит на нее краем глаза.

Софи сидит прямо, как прилежная ученица, и крепко сжимает в кулаке карандаш. И смотрит на него. Странно смотрит. Алекс не может сказать, что именно его смущает — возможно, загадочный блеск в глазах, который ему незна-

ком, и подергивание уголков губ, которого он никогда раньше не видел. И смотрит она так уже давно, уверен Алекс, поэтому у него ничего и не получается. Теперь она, конечно, отводит взгляд, однако делает это недостаточно быстро, и взор ее бесцельно мечется по сторонам. Софи прикрывает свой рисунок рукой, но уже слишком поздно. В тонких карандашных штрихах Алекс узнает свой профиль.

Софи громко вздыхает, словно собираясь что-то сказать, но не говорит. Теперь Алекс чувствует, что должен что-то сделать, но не знает, что именно: похвалить рисунок или притвориться, что ничего не видел? А потом Софи вдруг начинает смеяться. Алекс не понимает почему, смех звучит слишком пронзительно, однако он благодарен и просто смеется вместе с ней.

— Ах, Шурик! — выдавливает Софи сквозь смех и, немного успокоившись, говорит: — У меня для тебя кое-что есть.

Она исчезает в палатке, и Алекс чувствует себя ужасно неловко. Обычно это он страдает без надежды на ответное чувство — по крайней мере, подобный опыт у него есть. Стоит ли рассказать Софи об Ангелике? Не будь его сердце давно и безнадежно отдано другой, то, быть может, при

определенных обстоятельствах… Но опять же Софи помолвлена или скоро будет, взгляд ее, скорее всего, означал не более чем художественный интерес. Все это — одно большое недоразумение.

Вскоре Софи возвращается и протягивает Алексу книгу. В первую секунду он думает, что это запрещенная книга, даже надеется на это. Однако потом видит название: «Альмаида. Роман о страсти молодой девушки».

Любовный роман. Никакого недоразумения.

— Пока читала, я то и дело вспоминала о тебе, Шурик, — поспешно бормочет Софи, отводя взгляд, и Алекс так же поспешно берет подарок и убирает в рюкзак — будет неловко, если Ганс обнаружит книгу. Алекс как наяву видит его усмешку и приподнятые брови…

— Спасибо, — пробормотал он, — большое спасибо. Это было совсем необязательно…

— Вовсе нет, — возражает Софи.

Тем временем начинает смеркаться. Они с Софи снова берут в руки карандаши и альбомы, но не рисуют, а молча глядят на лесную чащу, из которой вот-вот должен появиться Ганс, который сгладит неловкость. Алекс немного жалеет, что позвал Софи к себе домой. В такой атмосфере невозможно будет рисовать, но и не приглашать

Софи он теперь не может, и потому с некоторой тоской думает о Лило.

Лило — молодая женщина, которую Алекс встретил на художественных курсах. Весной у нее погиб муж, и теперь она живет в слишком большой для нее одной квартире. Лило нуждается не столько в утешении, сколько в помощи: Алекс частенько приезжает к ней на велосипеде, привозит что-нибудь — карандаши и бумагу, черный чай. Алексу нравится ей помогать, это освобождает голову от мыслей. К тому же теперь он впервые после отъезда Ангелики чувствует себя немного нужным. А еще в компании Лило хорошо работается. Рисовать с ней так же естественно, как молчать с Гансом. Порой они отправляются в зоопарк и рисуют животных, они могут рисовать часами, забыв об окружающей их войне. Они всегда вдвоем, однако это никогда не было так неловко, как с Софи.

«Возможно, стоит отдать “Альмаиду” Лило», — думает Алекс, ведь Лило наверняка лучше него знает, что делать с этим любовным романом.

Когда Ганс наконец появляется из леса — с ободранными коленями и жалкой охапкой тоненьких веток под мышкой, Софи и Алекс встречают его с такой бурной радостью, как если

бы он вернулся из дальнего путешествия. С облегчением вздохнув, они убирают принадлежности для рисования и разводят костер из скудной добычи Ганса. Костер горит плохо, и все же Алекс счастлив, что они снова втроем, как два брата и сестра. Софи снова ведет себя непринужденно и много смеется, но уже не так пронзительно, как раньше, а когда костер гаснет, она старательно тушит последние тлеющие угольки. Потом все трое заползают обратно в палатку, и Алекс, зажатый между Гансом и стенкой палатки, мгновенно засыпает. Ему снится Ангели.

Лето 1942 года

До чего мрачным стал город! Днем серо, особенно по сравнению с солнечным сельским пейзажем, а ночью — вообще кромешная тьма. Уличные фонари больше не горят, а из окон домов не должно пробиваться ни лучика света. Кажется, что даже звезды потухли, а луна болезненно побледнела.

Элизабет подходит к светомаскировке очень ответственно. Говорят, что Кёльн уже разрушен — в газетах публикуют страшные фотографии! — а поскольку в Мюнхене воздушная тревога звучит все чаще и чаще, то Элизабет порой задергивает тяжелые красные гардины средь бела дня, превращая особняк Шморелей в мрачную пещеру.

— Она просто не хочет выслушивать упреки соседей, — ворчит Алекс, когда злится на мачеху по какому-либо поводу, а отец всегда отвечает:

— Она беспокоится.

Особенно она беспокоится, когда к Алексу приходят гости, по большей части сокурсники, однако среди них всегда есть какой-нибудь художник, писатель, или артист, или музыкант,

который даст камерный домашний концерт, или профессор, который расскажет о своих научных открытиях. Такое разнообразие гостей объясняется главным образом неподражаемой способностью Ганса к убеждению. Если какой-то человек кажется ему потенциально интересным собеседником, то он пытается добиться его внимания с таким пылом, с каким не ухаживал ни за одной девушкой. Он обещает взамен чай, вино и любознательных слушателей, а где в наше время можно говорить и слушать умные вещи, не опасаясь слежки и доносов? Последний аргумент срабатывает почти всегда, и пока никто не пожалел, что уступил уговорам Ганса.

Одна Элизабет не готова уступать — постоянно врывается в гостиную посреди лекции или чтения и спрашивает, принести ли еще чего-нибудь поесть или выпить. При этом она мало что может предложить: времена фаршированных яиц и медовых коврижек прошли, теперь даже ее высокопоставленные братья не решаются проносить товары в обход продовольственных карточек. Элизабет все равно ничего бы не приняла, и по крайней мере здесь Алекс с ней согласен: от партийных чинуш ему ничего не нужно.

— Иди спать, мама, — говорит ей Алекс больше

десятка раз за вечер. Порой даже отец, проснувшись, спускается и спрашивает, когда она ляжет спать, мол, Шурик и сам может развлечь своих гостей. Но Элизабет не может спать — призраком бродит по дому, пока не уйдет последний гость, которым почти всегда оказывается Ганс, а потом с такой силой захлопывает за ним входную дверь, что грохот на весь дом.

Поэтому Алекс считает, что «вечера чтений», как называет эти нерегулярные собрания Ганс, лучше проводить не у него дома. Не потому, что они представляют какую-либо опасность, нет. Разговоры о политике если и ведутся, то в высшей степени теоретические. Просто Алекс предпочитает чаще бывать вдали от дома, тем самым спасаясь от вечных забот Элизабет.

Ганс согласился и сразу же начал искать новое место для встреч. Однако найти его оказалось не так-то просто: студенческие комнаты слишком маленькие, в кофейнях и ресторанах нельзя говорить открыто, а в салонах светских дам Алекс никогда не чувствовал себя уютно. Все эти дамы ужасно образованные, до глупости образованные — со знанием дела разберут величайшую фугу Баха, пока от нее не останется ничего, кроме бессмысленных кружочков на нотной записи.

Что еще хуже — курить в салонах разрешалось только в перерывах, если вообще разрешалось.

В конце концов выбор остановился на небольшой симпатичной вилле в стиле модерн, которую знакомый Ганса использует как архитектурную мастерскую. Этот светский господин лет сорока — зовут его Манфред Эйкемайер — бóльшую часть времени находится в Польше. В качестве не солдата, а архитектора: генерал-губернаторство требует новых зданий, немецкое жизненное пространство должно быть создано на руинах, оставленных самой Германией во время ее захватнического нашествия. Алекс думает, что работа у этого Эйкемайера относительно приятная — вопреки всему. По крайней мере, посреди этого разрушения ему удается что-то создавать. Сейчас Эйкемайер приехал в отпуск. В самом начале встречи он щедро угощает своих гостей вином, чаем и кофе, причем гораздо менее навязчиво, чем Элизабет, однако ближе к вечеру он словно забывает об обязанностях хозяина. Сейчас он с задумчивым видом сидит в кресле, внимательно слушает и курит трубку, ничем не отличаясь от студентов, ему не нужно изображать из себя хозяина дома, как это делают благородные светские дамы в салонах.

Алекс думает, что здесь было бы уютно, не будь так темно, однако темнота уже повсюду. Электрическая лампа низко висит над большим столом, днем архитектор раскладывает на этом столе планы строительства генерал-губернаторства, а сейчас на нем лежат открытые книги — несколько экземпляров «Атласного башмачка» Поля Клоделя. Это совершенно неподходящая для театра пьеса с безумным количеством действующих лиц и декораций, но Ганс все равно считает ее одним из лучших произведений в истории литературы. «Это потому, что он еще не читал русских писателей», — думает Алекс. Как бы то ни было, это стало ритуалом — под конец встреч, обычно далеко за полночь, читать по ролям несколько сцен из «Атласного башмачка». Алекс обычно играет иностранцев, китайцев и японцев, произносит их реплики с нелепым, карикатурным акцентом, пока Ганс не просит его отнестись ко всему этому немного серьезнее. Алекс считает эту пьесу слишком пафосной, особенно его раздражает чрезмерный акцент на святости брака, который всегда заставляет вспоминать об Ангелике и ее муже. Иногда в спектакле участвуют настоящие актеры, они играют настолько замечательно, что их по крайней мере приятно

слушать. Сегодня большинство гостей уже ушли, и с хозяином дома остались сидеть только те, кто присутствуют на всех собраниях: Софи, Трауте и, конечно же, Ганс с Алексом. А еще Кристель.

Поначалу Ганс не хотел приглашать Кристеля.

— Разве такие собрания для семейных людей? — спросил он.

— А почему нет? — ответил Алекс.

Ганс не нашелся что возразить, и Алекс просто привел Кристеля с собой. Это оказалось подарком судьбы в первую очередь для самого Ганса: темы, которые волнуют его, а у Алекса вызывают только зевоту, волнуют и Кристеля. Они могут говорить друг с другом ночи напролет, особенно о религии. Кристель не крещен: его покойный отец был ученым-религиоведом и не мог определиться с выбором. Но теперь, когда у Кристеля есть своя семья, когда наступили эти времена, эти непонятные смутные времена, он все больше тянется к христианству, и Ганс советует ему книги — множество книг, которые следует прочитать. Кристель стал одним из тех, кто дольше всех задерживается после собраний. Трауте и Софи тоже уходят поздно. Девушки прекрасно ладят, гораздо лучше, чем Трауте и Ганс, по крайней мере так кажется Алексу. У них даже велосипед общий:

одни дни на нем ездит Трауте, а другие — Софи. Удобно, да и выгодно. Девушки делят на двоих не только велосипед, но и уборку: обычно именно они моют стаканы и вытряхивают пепельницы перед тем, как пойти домой.

Итак, они впятером составляют тот костяк, на котором держатся собрания. Однако сегодня с архитектором остался еще один человек, не совсем вписывающийся в общую картину, — невысокий лысеющий господин средних лет с кривым ртом.

Алекс пока не знает, что о нем думать. Ему в принципе не нравится, что этот мужчина — профессор философии. Первая о нем узнала Трауте, посоветовала его лекции Софи, которая потом пришла в восторг:

— Вы должны увидеть этого Хубера! Он вам обязательно понравится! О других философах на факультете лучше забыть, с тем же успехом можно слушать лекции Геббельса, но Хубер — профессор старой школы, настоящий вольнодумец!

Поэтому Ганс посетил лекцию профессора Хубера, куда ему пришлось пролезать: аудитория была настолько переполнена, что не оставалось ни одного свободного места. После лекции он горел энтузиазмом.

— Алекс, знаешь, с чего начал профессор? Он попросил всех впечатлительных слушателей покинуть зал, поскольку научный долг обязывает его процитировать запрещенного мыслителя! Конечно, никто не ушел, наоборот, вся аудитория разразилась хохотом! Они думают, как я, — говорил Ганс почти лихорадочно, — они думают, как мы! Целый зал думающих людей!

Но даже восторг Ганса не убеждает Алекса прийти на лекцию по философии. Сегодня он намеренно опоздал, чтобы пропустить вступительную речь профессора. Не потому, что этот Хубер ему не нравится. Раз Ганс говорит, что Хубер — хороший человек, значит, так оно и есть. Но Алекс с большей пользой потратит время на что-нибудь другое, чем на философию. Например, на рисование в компании Лило. И вообще, Алекс постепенно начинает задаваться вопросом: зачем все это? Вечера чтения, дискуссии об искусстве и «Атласный башмачок»? Неужели тем предрождественским вечером, когда они с Гансом вдохновенно молчали, Ганс представлял все именно так? Немного почитать, немного выпить вина и на рассвете, пошатываясь, отправиться домой? Неужели об этом они говорили, произнося слово «сопротивление»? Неужели это и есть

долгожданное начало — и одновременно конец? В таком случае Алексу действительно лучше быть с Лило, с карандашом в руке или с куском глины, а не здесь, среди пожилых профессоров и архитекторов, которые разговаривают больше о Боге, чем о мире. Побывай они хоть разок на православной службе — и умные слова застряли бы у них в горле от переполняющих чувств. Вот что такое вера на самом деле!

В разыгрываемых сегодня сценах из «Атласного башмачка» нет ни китайцев, ни японцев, поэтому у Алекса появляется время для размышлений, он заметно мрачнеет и почти перестает прислушиваться к происходящему. Софи, которая одолжила свой экземпляр книги профессору, сидит на подлокотнике кресла Алекса и читает через его плечо. Всякий раз, когда наступает черед ее реплики, она немного наклоняется вперед, Алекс чувствует, как ее волосы щекочут шею, и всякий раз вздрагивает. По какой-то причине он все еще здесь, а не с Лило и не в церкви. Тогда Алекс снова пытается сосредоточиться на тексте, надеясь услышать то, что слышит Ганс: однажды что-то произойдет, однажды что-то случится. Что-то большее, чем просто обмен мнениями и фантазиями.

Сейчас Софи читает реплики доньи Пруэз — добродетельной героини пьесы, которая, несмотря на охватившую ее страсть, отказывается изменить мужу, надеясь обрести любовь в загробной жизни.

«Быть может, Ангели тоже читала “Атласный башмачок”, — думает Алекс, — это многое бы объяснило».

> *– Если мы идем к вечной радости, какая разница,*
>
> *что случится на этом свете с нашей телесной видимостью?*
>
> *Если я ухожу к вечной радости, как поверить,*
>
> *что это для твоего страдания?* [3]

Софи читает тихим, но спокойным голосом и ждет, пока архитектор Эйкемайер прочитает свою реплику. Сегодня в благодарность за гостеприимство Ганс поручил ему главную мужскую роль — возлюбленного доньи Пруэз, вице-короля Родриго. Но Эйкемайер ничего не говорит, даже не смотрит на лежащую перед ним книгу. Он держит в руке сигару и глядит куда-то поверх

---

[3] Примечания: 3

Перевод с фр. Е. Богопольской. *(Примеч. перев.)*

головы Софи.

Поначалу Алекс принимает молчание за театральную паузу. Однако через некоторое время тишина становится всепоглощающей, тяжелой, как плотное одеяло, в помещении становится душно, и не только из-за дыма. Криволицый профессор философии тихонько откашливается.

— Извините, — бормочет Эйкемайер, — похоже, я ненадолго выпал из реальности.

Однако вместо того, чтобы прочитать свою реплику, он продолжает смотреть в одну точку над головой Софи, словно там, на обоях, разворачиваются кадры видимого одному ему кинофильма.

— Знаете, — говорит Эйкемайер через некоторое время сухим, хриплым голосом, — сегодня я не могу сосредоточиться на любви и радости. Мыслями я далек от испанских драм, поскольку думать могу лишь о том, что скоро мне предстоит вернуться в Краков. Вам уже доводилось бывать на Востоке, господа?

В следующую секунду Эйкемайер смотрит прямо на них — переводит взгляд с Ганса на Алекса, с Кристеля на профессора Хубера, который стыдливо опускает голову, словно его только что оскорбили. Никто из них прежде не бывал на Востоке, даже Алекс. Не в том смысле, который

вкладывает Эйкемайер.

О войне на Востоке Алекс знает из пропагандистской кинохроники, но по большей части — из писем русских родственников и знакомых, получаемых родителями. Но даже в письмах некоторые вещи читаются лишь между строк. Вся почта просматривается: в почтовом ящике лежат бесцеремонно вскрытые и небрежно запечатанные конверты, а письма из России подозрительны сами по себе. В последнее время они почти не приходят.

Нет, никто из присутствующих не бывал на Востоке, они качают головами.

— Но на фронте вы бывали? — спрашивает Эйкемайер.

Кристель, Ганс и Алекс кивают, и только профессор, кажется, еще больше погружается в кресло и в себя.

— Война, — бормочет Эйкемайер, — все мы представляем себе, что такое война. По крайней мере, так я думал. Однако на Востоке понимаешь, что не имеешь ни малейшего представления об этой войне. Ни малейшего. Знаете ли вы, что после завоевания Польши было убито не менее трехсот тысяч евреев?

Он замолкает и снова оглядывается. Никто не

двигается, сигареты тлеют, ни один не затягивается, пепел падает на пол.

— Евреев зверски убивают, — продолжает Эйкемайер. — Я лично видел это в Кракове. Евреи рыли ямы. Сначала я подумал, что они подневольные рабочие, которые строят погреб или бункер. Но они рыли не бункер. Они рыли себе могилы.

Он рассказывает о еврейских мужчинах, женщинах и детях, которых эсэсовцы в спешке расстреливают между обедом и перерывом на кофе. Безжизненные тела складывают друг на друга и поджигают, однако из пламени все равно доносятся стоны и крики.

Он рассказывает о польских мужчинах и женщинах, представителях дворянства и интеллигенции, которых увозят: мужчин — в концентрационные лагеря, а женщин, если верить слухам, — в норвежские бордели вермахта.

Он рассказывает о трудовых лагерях, которые сегодня повсюду, которые не имеют ничего общего с когда-либо существовавшими исправительными колониями или тюрьмами и создаются исключительно ради жестокой расправы над партизанами, коммунистами и людьми, которые считаются расово неполноценными.

Потом он умолкает и снова смотрит на стену,

однако теперь все присутствующие видят кинофильм, который раньше видел только он, — на обоях кровь евреев, поляков, детей.

Но тишины нет.

Алекс слышит, как на другом конце стола откашливается Ганс.

Слышит, как Трауте перебирает бусины жемчужного ожерелья, словно пытаясь себя успокоить.

Слышит, как под боком Софи скрипит зубами, чувствует, как она все сильнее вжимает локоть ему в плечо.

Именно профессор Хубер тогда первым обретает дар речи и нарушает молчание:

— Мы должны что-то сделать!

Лето 1942 года

Порой у Ганса в душе наступает осень, которая столь же быстро сменяется весной. Это состояние ему хорошо знакомо. Однако он никогда не переживал эйфории подобной той, которая овладевает им после выхода из мастерской Эйкемайера. Весна — слишком слабое слово для этого чувства, возможно летняя гроза? Да, летняя гроза, после которой очистится мир! Хорошая метафора.

Ганс пошатывается, хотя совсем не пьян, он никогда не был настолько трезв, как сейчас. На улицах уже можно увидеть первых рабочих, наверняка они принимают Ганса за бродягу. Восходящее солнце окрашивает окружающий мир в розовый цвет.

Профессор — да, сам профессор! — произнес роковые слова! Прежде Ганс лишь намекал Хуберу на то, что планирует некую политическую деятельность — только намекал, никогда не говорил ни о чем конкретном: «нам следовало бы», «мы могли бы», «это начало»… Ганс надеялся, что Хубер сам все поймет и сделает то, что не

осмеливались сделать они с Алексом, освободив их наконец от парализующего сослагательного наклонения: не «мы могли бы», а «мы должны»!

Однако до сих пор профессор оставался глух к подобного рода разговорам — не понимал намеки или не хотел понимать. Порой отвечал философскими речами, приправленными историческими сравнениями и всевозможными уловками, позволяющими перейти в более абстрактные сферы.

Чаще всего он отмахивался:

— Не теряйте голову, герр Шолль. В буквальном смысле не теряйте.

Из-за детской болезни, оставившей Хубера с кривым ртом и хромой ногой, его не призвали на военную службу в последней мировой войне. Он до сих пор оплакивает упущенную возможность и завидует своим студентам, которые гибнут в чужих болотах ради отечества.

Но если теперь даже Хубер требует что-то предпринять — Хубер, презирающий не саму войну, а преступный режим, — значит, время наконец пришло! Теперь все должны это понять!

По крайней мере, все, кто присутствовал тогда в мастерской, — сразу же началась странная суета, резко контрастирующая с недавней растерянностью.

«Мы должны что-то сделать» — но что?

Алекс настаивал на том, что с огнем нельзя бороться огнем и что они во что бы то ни стало должны обойтись без кровопролития. Ганс горячо согласился.

— Эти сведения надо обнародовать, — заявила Софи и попросила Эйкемайера записать все, что он сейчас сообщил. Пусть как можно больше людей знают о том, что произошло! Трауте даже заговорила о том, как достать бумагу.

Эйкемайер однако упорно молчал, снова устремив взгляд на обои. Вместо него ответил Кристель:

— Во-первых, это опасно, а во-вторых, совершенно бесполезно: среднестатистический немец прекрасно знает, что происходит, и все равно поддерживает Гитлера.

Потом он рассказал о своей мачехе, женщине, на которой отец женился вскоре после развода. Она много помогала жене Кристеля с детьми и хозяйством, когда сам он не мог — из-за учебы или войны. Она еврейка, которая после смерти супруга больше не защищена браком с арийцем, однако до сих пор живет в своей маленькой деревушке, где нашла себе прибежище: стала служанкой в благочестивой семье. Впрочем, никто

не знает, как долго это продлится…

— Немцы прекрасно знают, как поступают с евреями, более того — одобряют происходящее, — с горечью добавил Кристель, — к чему же рисковать своей головой?

Остальные не стали возражать, потому что первым делом подумали о его детях. Однако слова профессора Хубера призрачным эхом разносились по комнате, не давая никому покоя: «Мы должны что-то сделать!»

Ганс тоже подумал о детях Кристеля, подумал о детях, которые, возможно, однажды появятся у него самого и которым через много лет он захочет рассказать о немецкой культуре, но не найдет слов. В этот момент Ганс чувствовал себя настоящим немцем — немцем до мозга костей — и испытывал незнакомое ему до этого отвращение. Что теперь значат Кант, Гёте и Шиллер, когда их достижения тонут в грязи совершаемых немцами преступлений, и, что почти столь же ужасно, замалчиваемых преступлений — такими немцами, как он сам?! Ганс взглянул на Алекса, который по крайней мере мог цепляться за свое русское происхождение, однако щеки Алекса тоже покраснели от гнева. Следом пришла ярость. Ганс вспомнил себя лет в шестнадцать-семна-

дцать, вспомнил, как маршировал впереди всех, размахивая флагом со свастикой. Вот он кричит на мальчика помладше, опоздавшего на собрание гитлерюгенда. Вот кричит на отца, который снимает со стены фотографию Гитлера. На него разом нахлынули стыд, ярость и отвращение. В какой-то момент Ганс больше не смог оставаться на месте, вскочил и, не сказав ни слова, даже не попрощавшись, выбежал на улицу.

Однако стоило оказаться на свежем воздухе, как все мрачные мысли, все мрачные чувства в одночасье испарились, сменившись небывалой, окрыляющей эйфорией. Ганс ускоряет шаг, в ушах у него звучит голос профессора Хубера и ужасные мелодии, которые в любой другой день заставили бы его сбежать подальше, но сейчас застыли у него на губах, как у влюбленного. Сегодня или никогда, сторож уже отворил дверь, сейчас уже очень поздно или очень рано, сколько часов ему пришлось испытывать отвращение, прежде чем он наконец смог взять себя в руки? Перепрыгивая через две ступеньки, Ганс поднимается к себе в квартиру.

«Всё ну слишком прекрасно! Все без ума от доктора Шолля!» — написала на стене в прихожей дочь хозяйки квартиры. Ганс столько раз прохо-

дил мимо этой надписи, что уже даже перестал ее замечать, но сегодня останавливается возле нее. Все действительно прекрасно, просто прекрасно!

Комната Ганса такая же неубранная, какой была вчера вечером, что, впрочем, неудивительно. На столе возвышаются стопки книг: справочники по медицине, а еще Шиллер, Гёте и потрепанная Библия. Рядом с ней лежат дорогая авторучка, которой Ганс пользуется со времен учебы в гимназии, и тетрадь в линейку, купленная для конспектирования лекций. Вот он вырывает чистую страницу, треск рвущейся бумаги — теперь бумага на вес золота! — треск, вот еще одна. Ганс садится за стол и закуривает сигарету. Внизу просыпается хозяйка или, возможно, ее нахальная дочка, Ганс слышит шум воды: кто-то идет в туалет, кто-то умывается. Для обычных людей жизнь протекает по-прежнему, однако вскоре в колесо истории вмешается он, Ганс. Он освободит немцев из их духовной тюрьмы. Покончит с войной. Сейчас Ганс верит, что может все и даже больше. Это как маршировать впереди всех, но теперь — в верном направлении. Зажав сигарету в одной руке, другой Ганс тянется к авторучке.

Он пишет о том, что думал и чувствовал сегодня вечером, пишет о том, о чем говорили и так

часто молчали они с Алексом. Пишет обо всем, что было на уме с проведенных в тюрьме рождественских каникул — тогда смутные ощущения теперь облекаются в слова. Мы должны что-то сделать! Надо оказывать сопротивление, где бы ни находился! Безбожная — иначе не назовешь — безбожная военная машина должна быть остановлена, все ее четыре колеса, еще не истек кровью последний немец, а значит, время есть! Национал-социализм — это не образ мыслей, а ложь и обман, принесенные в мир для установления диктатуры зла, а зло заключено во власти Гитлера, которую необходимо сломить, это не столько право, сколько нравственный долг каждого христианина!

Через некоторое время Ганс откладывает ручку в сторону, разминает сведенную судорогой ладонь и смотрит в окно на соседский сад, где цветут восхитительные белые цветы. Потом делает глубокий вдох, и ему кажется, будто вместо табачного дыма он чувствует аромат роз. Ганс снова берется за ручку, перед ним раскрыта торжественная пьеса Гёте «Пробуждение Эпименида», написанная по случаю низвержения Наполеона.

Надежда:

Вот встречаю мне послушных,
В тишине ночи собравшихся
Для раздумий, не для сна.
Слово чудное «свобода»
Шепчется еще смущенно
До тех пор, пока с восторгом,
С непривычной новизною
Не воскликнем на ступенях
наших храмов:
Свобода! Свобода!

Сегодня дверь открывает круглолицая, всегда приветливая *Njanja*. Почтительно согнутая в поклоне, с косынкой на голове, *Njanja* похожа на бабушку Алекса, однако на самом деле она всего на несколько лет старше Элизабет.

– *Sdrastwujtje*, — говорит Ганс и добавляет: — *Kak djela*? — Алекс научил его нескольким русским фразам.

Njanja кивает:

– *Vsjo narmalno, spasiba.*

У русских редко все бывают хорошо, обычно — нормально. Как говорит Алекс, в этом отношении они немного честнее немцев.

Сегодня *Njanja* не улыбается, она выглядит

испуганной и что-то бормочет себе под нос. Преданность *Njanja* не знает границ — она считает друзей своего дорогого Шурика и своими друзьями тоже. Что бы ни происходило, в ее внутренней иерархии сын Натальи занимает куда более высокое положение, чем дети Элизабет. Поэтому Ганс удивляется прохладному приветствию, испуганному взгляду и нервному бормотанию. Сегодня он еще не смотрелся в зеркало — иначе понял бы, в чем дело.

Ганс писал все утро — ничего не ел, только курил и пил кофезаменитель, и, главное, не спал ни секунды. Правда, он немного полежал на кровати, когда запястье снова разболелось и в голове впервые в жизни стало пусто, совершенно пусто, но заснуть так и не смог. Он ворочался с боку на бок, взмокший, задыхающийся, и плотно исписанные листы на столе казались ему пламенем. В какой-то миг в голове промелькнула мысль: «Я должен их уничтожить, если кто-то войдет, должен потушить пламя». А следующей мыслью было: «Мы зародим бушующее пламя!»

С этой мыслью Ганс вскочил с кровати и направился к Алексу.

Он совсем не чувствует усталости, однако темные круги под покрасневшими глазами говорят

об обратном — видимо, именно этим он и напугал бедную *Njanja*.

Сейчас она семенит впереди, растерянно теребя завязанный на подбородке узел косынки, Ганс следует за ней через знакомую ему гостиную и спускается по узкой лестнице в подвал.

Алекс стоит посреди комнаты, с ног до головы перемазанный глиной, одетый в старый врачебный халат, который раньше принадлежал его отцу. Видимо, ему было лень тащить тяжелую глиняную глыбу к себе в комнату, поэтому он лепит прямо здесь, посреди кладовки с материалами. Сейчас сложно сказать, кого или что должна изображать скульптура — пока это увенчанная шаром продолговатая глыба, в которой лишь при развитой фантазии можно рассмотреть тело с головой.

Трудно сказать, спал ли сегодня Алекс. По крайней мере, выглядит он так же, как обычно. Трауте однажды сказала, что Алекс всегда выглядит живым как сама жизнь.

— А я? — спросил тогда Ганс.

— А ты не выглядишь, — отрезала она.

– *Priwjet*, Ганс, — говорит Алекс, не поднимая взгляда от комка глины, а *Njanja* прощается с легким поклоном и по-прежнему озабоченным

выражением лица.

На полках вдоль стен стоят незаконченные скульптуры и необработанные гипсовые блоки, а также канистры с водой и консервами — неприкосновенный запас на черный день.

— Что это будет? — спрашивает Ганс, указывая на кусок глины.

— Хотел бы я знать, — отвечает Алекс, сбивая что-то с шара, оно могло бы быть носом. Только после этого он поворачивается к своему другу и смотрит в его покрасневшие глаза — не так испуганно, как *Njanja*, но все равно немного встревоженно.

— Вчера была долгая ночь, — говорит Алекс.

— Или короткая. Это как посмотреть, — отвечает Ганс.

Потом лезет в карман брюк и достает оттуда пачку сложенных тетрадных листков. Торопливо вытерев руки о халат, Алекс берет листки, разворачивает и смотрит на множество синих букв, тесно жмущихся друг к другу и втиснутых между линейками в три ряда, — Ганс все-таки думал об экономии места. Прищурившись, Алекс принимается расшифровывать написанное, Ганс тем временем рассматривает ком глины, который пока ничего из себя не представляет, но может

стать чем угодно.

«Алексу не знакомо ощущение осени в душе, — думает Ганс, — он держится на плаву благодаря своей работе, своему воображению. Возможно, он даже не поймет необходимость этих строк — не только для Германии, но и для меня лично».

— Ну, что скажешь? — нетерпеливо спрашивает Ганс, полагая, что Алекс уже дочитал до конца.

Алекс поднимает взгляд:

— Ты кому-нибудь это показывал?

Глаза его выглядят иначе, чем прежде, — в них словно отражается свет, во много раз более яркий, чем тот, что исходит от лампочки на потолке.

— Никому. Только тебе.

— Если эти строки увидят свет…

— Знаю, — говорит Ганс.

Алекс с отсутствующим видом кивает, складывает листы и убирает их в карман своего халата.

— Я могу раздобыть пишущую машинку, — говорит он, — у нашего соседа есть одна, которой он почти не пользуется. Остается только найти множительный аппарат вроде гектографа…

«Остается только найти множительный аппарат» — вдруг все кажется настолько простым, что Ганс невольно улыбается.

Алекс задумчиво проводит пальцами по волосам, оставляя в них комочки глины:

— Этот текст очень… очень… — Он подыскивает подходящее слово. — *Utontschonnyj*… довольно претенциозный.

— Конечно, — отвечает Ганс, — я писал для тех, кто еще может думать самостоятельно. И хочет думать. Для тех, кто давно размышляет о происходящем, но считает себя одиноким в своих мыслях…

«Для тех, кто не нашел друг друга, как это сделали мы», — мысленно заканчивает он.

— Значит, мы напечатаем листовки, — заключает Алекс. — Лучше всего разослать их профессорам, художникам, библиотекарям…

— А еще трактирщикам, — добавляет Ганс, — и предпринимателям! Они общаются с таким количеством разных людей, как никто другой, и зачастую имеют возможность подбросить несколько свежих мыслей…

— Мы каждую неделю будем посылать им листовку, как по подписке! — восклицает Алекс. — Или даже чаще. У меня есть мысль-другая, которой можно поделиться…

Они быстро говорят и еще быстрее думают, перебивают друг друга, пытаясь восполнить пара-

лич последних месяцев и долгие часы молчания.

— Пусть думают, что нас много! Что с нами толпы единомышленников! Что мы — своего рода тайная организация или орден! — восклицает Ганс, вспоминая о Хубере и Софи, о Трауте и Кристеле — обо всех, кто был вчера на собрании, все они одного мнения, все думают так же, как они с Алексом. И это только основной костяк!

«Ордену тоже нужно название», — думает Алекс, но его размышления неожиданно прерывает скрип лестницы.

Элизабет послала сестру Алекса за банкой консервов. Наташа улыбается и приветствует Ганса шутливым реверансом. Если она и слышала обрывки их разговора, то не подает виду. Ганс торопливо спрашивает Алекса о системе лимфатических узлов и выслушивает пространный, не совсем правильный ответ. Наконец Наташа уходит.

Замолчав, Алекс вытирает лоб рукой:

— В будущем лучше заниматься этим наверху, — шепчет он, — моя комната запирается на замок. Не думаю, что сестра нас выдаст, однако будет лучше, если она ничего не узнает. Для ее же безопасности.

Ганс думает о Софи и кивает:

— Для ее же безопасности, — повторяет он.

Лето 1942 года

Ганс не раз бывал в комнате Алекса, но никогда не задерживался подолгу — там повсюду инструменты, бюсты и необтесанные камни, там тесно и пахнет краской. Только теперь, присмотревшись, Ганс замечает отчетливые следы того, что раньше здесь была детская: вдоль стен громоздятся ящики с кубиками, в углу пылится деревянная лошадка, на книжной полке лежат школьные тетрадки. Именно здесь должно начаться будущее, эта странная комната — земля, на которой вырастет «Белая роза».

Ганс не может сказать, почему предложил именно это название. Быть может, из-за поэмы Брентано, которую он сейчас читает. Или, быть может, его вдохновили цветы в соседском саду, вдохновил их запах, который Ганс чувствовал, когда записывал свой манифест, их простая красота, такая недостижимая и близкая. Как бы то ни было, Алекс сразу же согласился с этим предложением.

— Роза — это хорошо, — сказал он. — Роза далека от всякого солдафонства, однако шипы ее

глубоко вопьются в немецкую плоть.

Кроме того, ему всегда нравился белый цвет, который противопоставлялся большевистскому красному.

Родителям Алекс сказал, что Ганс и печатная машинка нужны ему для подготовки к экзамену — он не уточнял, к какому именно, а значит, не то чтобы солгал. Родители настолько обрадовались тому факту, что их Шурик хоть немного думает об учебе, что не стали изводить его расспросами.

Приобретение множительного аппарата сложностей тоже не вызвало. У Алекса были кое-какие сбережения. Кроме того, в мае на именины отец подарил ему кругленькую сумму.

— Используй деньги с умом! — убеждала Элизабет, и на этот раз Алекс решил послушаться ее совета. Продавщица канцелярских товаров недоверчиво поинтересовалась, зачем ему гектограф, но равнодушно приняла невнятный ответ: «В учебных целях». Торговля есть торговля, особенно во время войны, а юноша в форме выглядел надежным и внушал доверие. Алексу потребовалось больших усилий, чтобы притворяться тем, кем он не является, но в конце концов это того стоило. Из магазина он ушел с гектографом.

Сейчас Ганс сидит на кровати Алекса, скрестив

ноги. Перед ним лежат густо исписанные тетрадные листки. Ганс и сам с трудом может разобрать, что на них написано: он столько вычеркнул и вписал, столько перефразировал и исправил, что от первого наброска осталось только общее впечатление. На послание повлияло еще и некое авторское тщеславие, ведь у него будет гораздо больше читателей, чем у прежних очерков и стихов Ганса, распространявшихся среди родных и знакомых. Кроме того, хорошо написанный памфлет с гораздо большей вероятностью разойдется в массы, чем плохой, уверен Ганс, а нацистам во главе с их излюбленным автором давно следует показать, на что способен немецкий язык.

Алекс с некоторым трудом перечитывает окончательный вариант послания, ему часто приходится переспрашивать то или иное слово, которое он не может прочитать:

— Что здесь написано? «Немезида»? А вот здесь? А что это еще за слово?

Ганс все объясняет, и Алекс улыбается:

— Очень хорошо, — говорит он, но уже в следующий миг озадаченно хмурится: — Но почему ты не написал об убитых евреях? О том, что рассказал нам Эйкемайер?

— Потому что Кристель прав, — вздыхает

Ганс. — Если мы хотим достучаться до людей, то следует действовать иначе. Большинству нет дела до евреев. Или, что еще хуже, они считают, что евреи заслуживают такой участи.

— Но это же чушь! — От гнева Алекс даже переходит на баварский, что случается нечасто, щеки его краснеют. — Евреи тоже люди, никто не может этого отрицать! А значит, эти ужасные преступления совершаются против людей, не так ли?

— Конечно, — отвечает Ганс. — К сожалению, пропаганда сделала свое дело. Очень немногие немцы испытают к евреям жалость.

— Не жалость они должны испытывать, — ворчит Алекс, — а вину.

Он молчит, уставившись на записи Ганса, и через некоторое время спрашивает:

— А что насчет поляков? Допустим, немцы закроют глаза на гибель трехсот тысяч евреев, трехсот тысяч человек. Но ведь остается преступление против польской шляхты! Ганс, мы должны отчетливо сказать окружающим о том, как можно бороться! Пассивное сопротивление — это, конечно, хорошо, но что в действительности мы можем предпринять?

Не успевает Ганс открыть рот, как Алекс отве-

чает сам:

— Саботаж, вот что! У каждого гражданина есть возможность его совершить! Саботаж в военной промышленности, саботаж во всех научных и интеллектуальных областях, которые питают военную машину, саботаж всего, что может принести нацистам хотя бы грамм уважения, мы должны дать людям конкретные примеры… Нужно написать…

И вот — новые идеи, как бутоны, прорастают у них в головах. «Это начало, черт возьми! — повторяют они друг другу. — Начало!»

Наконец Алекс вставляет в пишущую машинку первый лист и печатает: «Белая роза». Сидя на кровати, Ганс начинает диктовать строчки из своего черновика. После бесконечно долгого адвента в середине июня наступило Рождество. Ганс и правда чувствует себя немного священником — возможно, из-за монотонного бормотания, однако громче говорить он не решается. Время от времени он прерывается и, повернувшись к двери, выкрикивает несколько медицинских терминов — никогда не знаешь, подслушивает ли кто-нибудь. Пусть даже сейчас очень поздно. Не то чтобы они намеренно дожидались наступления ночи, однако теперь им кажется, что темнота

за окном была необходима для того, чтобы предпринять свои первые осторожные шаги. Пока не прозвучала воздушная тревога, семья Алекса спокойно спит в своих кроватях.

– *Haemophilus influenzae!* [4] — кричит Ганс в сторону двери и тихо произносит: — Не забудьте, что каждый народ заслуживает то правительство, которое он терпит.

Пишущая машинка стучит без устали, Алекс не умеет печатать, однако делает успехи, и заключительные слова стремительно выходят из-под валика: «Мы просим Вас переписать этот листок с возможно большим количеством копий и распространить дальше!»

И в эту минуту они твердо верят, что почти сто листов, почти сто конвертов, почти сто марок, собранные с большим трудом, могут превратиться в тысячи, даже в миллионы.

Алекс накладывает отпечатанный шаблон на гектографическую массу и прокатывает по нему валиком. Ганс тем временем достает из ящика стола телефонный справочник и принимается листать. «Я хочу узнать номер симпатичной сокурсницы», — утверждал Алекс, когда брал у

[4] Примечания: 4
Гемофильная палочка (*лат.*).

родителей телефонную книгу. Ему охотно поверили: незамужняя студентка-медик выглядела довольно перспективной в сравнении с его прежними увлечениями.

История о симпатичной сокурснице не была полной ложью. Ганс открывает телефонную книгу на букве «Л» и отыскивает Лафренц Трауте. Потом садится за пишущую машинку и вставляет в нее первый конверт. Пожалуй, на карьере секретаря можно поставить крест: он печатает еще медленнее, чем Алекс, только двумя указательными пальцами. Ничего. Главное, что без ошибок.

Адрес, который он печатает на следующем конверте, принадлежит профессору Хуберу.

Третье и четвертое имя Ганс находит на одной и той же странице телефонного справочника, но знает их наизусть: «Шморель Александр» и «Шолль Ганс». Так они с Алексом узнают, дошли ли их письма до адресатов. А еще это поможет снять с себя подозрения.

Потом он отыскивает адрес книжного магазина, где является постоянным покупателем, адрес биргартена, где они с Алексом нахально пили вино, адреса профессоров и сотрудников университета, которые произвели на него достойное

впечатление, а также адреса старых друзей. Пишущая машинка стучит, Алекс печатает, тихо насвистывая неизвестную Гансу песню — наверное, русскую. Сегодня никакая воздушная тревога не нарушает их ночную музыку. Ганс считает это добрым предзнаменованием — впрочем, начнись воздушная тревога, он бы и ее воспринял как доброе предзнаменование. Это начало, начало конца войны, и Ганс напевает любимую песню своего отца:

— Наши мысли вольны, кто ж их угадает…

После того как Алекс заканчивает копировать послание и на каждом листе в стопке красуется надпись «Листовки “Белой розы”», он снова садится за печатную машинку, и Ганс диктует адреса.

— Запомни их хорошенько, — говорит Алекс. — Эти люди обязательно должны получить наши следующие листовки, а писать список слишком опасно.

Потом он предлагает несколько имен, которые принадлежат старым знакомым, художникам из круга отцовских друзей, бывшим одноклассникам:

— Пробст, Кри… — но запинается и качает головой.

Ганс листает и читает, листает и читает, а

когда бросает взгляд на наручные часы, то они показывают четыре утра. Семинар начнется через пять часов, и ему обязательно нужно пойти. Будет слишком подозрительно пропустить семинар именно сейчас. Однако одна мысль о двухстах шести костях человеческого тела вкупе с их латинскими названиями вызывает зевоту. Волнение, не отпускавшее Ганса несколько дней, вдруг исчезает, его клонит в сон. Он торопливо потирает глаза, вкладывая в конверт очередную листовку. «Будь нас больше, — думает он, — будь мы настоящим орденом, дело пошло бы быстрее».

— Надо сунуть листовки в разные почтовые ящики, — бормочет Алекс, и, несмотря на то что Трауте права: Алекс действительно выглядит живым как сама жизнь, сейчас в голосе у него слышится изнеможение. — Захвати несколько штук и брось в какой-нибудь ящик по дороге домой, а я возьму оставшиеся и прогуляюсь в противоположном направлении. Если кто спросит, отвечай, что рассылаешь друзьям приглашения на день рождения.

Ганс кивает и усмехается:

— Похоже, у нас очень много друзей.

— Почти вся Германия, — отвечает Алекс. — Те-

перь ей просто нужно очнуться от глубокого сна.

Лето 1942 года

— Прошу прощения!

Гансу на плечо ложится чья-то рука.

— Прошу прощения!

Чья-то чужая рука, Ганс разоблачен, арестован, обвинен в подрыве боевой мощи и в государственной измене, он думает об Алексе — где Алекс, удалось ли хотя бы ему сбежать, где Алекс?! В следующую секунду он открывает глаза и видит перед собой знакомое лицо. Ганс Альберс. Ганс Шолль медленно приходит в себя, чувствует под собой твердую деревянную скамью, которая стоит в анатомическом лекционном зале, ощущает резкий запах дезинфицирующего средства, чья-то чужая рука мягко держит его за плечо. Он не арестован. И перед ним не известный актер Ганс Альберс, а обычный студент-медик с такими же светлыми волосами и голубыми глазами, но он гораздо моложе и добродушно улыбается.

— Прошу прощения, — повторяет незнакомец, — но лекция закончилась. Вы, должно быть, заснули.

Ганс вытягивает позвоночник, шея затекла, и

он все еще чувствует отголоски холодного страха из своего кошмара. Он внимательно смотрит на белобрысого незнакомца и понимает, что знает его! Не из кино, но откуда-то знает!

— Спасибо, — бормочет Ганс, на столе перед ним лежит конспект, который заканчивается на полуслове — толстая карандашная черта проходит через всю страницу: рука соскользнула, когда он задремал. Он снова провел у Алекса всю ночь — провел в беседе и письме, теперь все пойдет быстрее: вторая листовка почти готова.

— Если вы не успели дослушать лекцию до конца — не беда, — говорит белобрысый, — я с удовольствием одолжу вам конспект.

«Он не баварец, — думает Ганс, укладывая тетрадь в сумку, — но и не северный немец. Может, саарец?»

Карандаш, карандаш, он должен быть где-то здесь… Под столом нет. Неужели укатился? Не важно, в любую секунду может прийти сторож, он запрет зал, и тогда они с саарцем окажутся в ловушке…

Они вместе идут к выходу, Ганс никак не придет в себя — от усталости голова кругом… Откуда он его знает? Только у дверей Ганс понимает, что они не представились друг другу.

— Спасибо, что разбудили, герр…

— Граф, — говорит белобрысый. — Вилли Граф.

— Ганс Шолль, — представляется Ганс и хочет протянуть для рукопожатия руку, но под мышкой у него зажата кожаная сумка, и ничего не получается. Вилли Граф смеется:

— Я вас знаю, — говорит он. — И герра Шмореля тоже. Вы мне хорошо запомнились.

— Вы нас знаете? Меня и Шмореля? — переспрашивает Ганс, стараясь не выдать себя.

К этому временем они уже покинули лекционный зал. Если пройти еще немного, то окажешься в атриуме, откуда можно быстро выйти на улицу и затеряться в лабиринте мюнхенских улочек.

Ганс крепко прижимает к себе сумку, хотя внутри нет ничего компрометирующего — только учебное барахло. Да и вообще, почему его спутник должен что-то подозревать?

— Мы служим в одной роте с апреля, — объясняет Вилли Граф, — и я сразу заприметил вас обоих во время учений. Вы… — Он внезапно останавливается, и Ганс снова чувствует руку у себя на плече, однако на этот раз прикосновение не пугает. — Вы часто сбегали, — шепчет Вилли на ухо Гансу, — я видел, как вы перешагивали через забор и возвращались только к перекличке.

Быть может, следует сбросить с плеча чужую руку, начать все отрицать, воскликнуть: «Что вы себе позволяете?!» Или нет, лучше сохранять спокойствие, придать лицу невозмутимый вид, Ганс даже не знает, чего на самом деле хочет от него этот человек.

— Вот как, — говорит Ганс, слегка улыбаясь, — и вы не донесли на нас?

Вилли Граф изумленно округляет глаза:

— Что? Зачем мне было это делать?

Ганс пожимает плечами. Он не знает. Он задал себе этот же вопрос, когда увидел сбегающего Алекса, и тоже не смог придумать ни одной разумной причины донести на него. В эту секунду Ганс понимает, что Вилли Граф — разумный человек. Надо узнать его адрес. Этот Вилли должен услышать о «Белой розе».

Ганс расслабляется и сразу же чувствует, как от усталости конечности снова наливаются свинцовой тяжестью.

— В таком случае я бы хотел выразить вам признательность и за это, — говорит он, — от имени Алекса Шмореля и от себя лично.

— И я вам признателен, — улыбается Вилли.

Не успевает Ганс спросить, о чем речь, как они выходят в атриум, и Вилли Граф растворяется в

толпе студентов. Возможно, однажды Ганс еще встретит своего нового знакомого на лекции по философии — он не удивится, если Вилли окажется одним из многочисленных слушателей профессора Хубера. На мгновение Ганс задумывается о том, чтобы пойти на лекцию… Но сейчас он едва стоит на ногах, а вечером еще должен вернуться к Алексу, чтобы продолжить писать антигитлеровские листовки. Ему нужно хотя бы несколько часов поспать.

На улице дождь, холодные капли падают на лицо, не давая заснуть, и, несмотря на головокружение, Гансу кажется, что пошатывается он не слишком заметно. У него еще оставалось немного мелочи. Как же хочется в кои-то веки сесть на трамвай! Но в следующую секунду Ганс замечает на противоположной стороне улицы магазин с канцелярскими товарами. Им с Алексом нужны конверты и бумага. Ганс со вздохом прячет деньги обратно в карман. Усталость может стать серьезной проблемой: он может снова задремать где-нибудь на людях, в худшем случае — даже скажет что-нибудь во сне, и не всегда рядом окажется такой порядочный человек, как Вилли Граф. «Не зря же ты изучаешь медицину», — говорит себе Ганс. Нужно достать какое-нибудь

стимулирующее средство, что-то, что попадет прямиком в кровь и будет сильно отличаться от этого бесконечного кофезаменителя. Он улыбается при мысли о том, что вскоре будет бодр и полон сил, как это обычно бывает только весной. Затем переходит улицу и заходит в магазин.

Лето 1942 года

Ганс звонит в дверь Софи, прислушивается и звонит снова. Из квартиры не доносится ни звука. Он смотрит на часы. Неужели он пришел слишком рано? Нет, это Софи сегодня непунктуальна. Будем надеяться, что она не забыла о совместном обеде. Мама прислала ей посылку, полную деликатесов, — отыскала в Ульме многое из того, что трудно найти в Мюнхене. Свежие овощи, сыр, быть может даже мясо — при одной мысли слюнки текут. Будем надеяться, Софи скоро вернется.

По крайней мере снова светит солнце, и сигарета, возможно, немного притупит чувство голода. К тому же Ганс вынужден признать, что Софи очень повезло с ее первой настоящей студенческой комнатой. Находится она в прекрасном месте: неподалеку от Английского сада, где течет ручей Швабингербах и щебечут птицы. Ганс со своим жалким соседским садом — пусть даже с белыми розами! — просто отдыхает.

Он курит, прислонившись к стене дома. Мимо то и дело проходят люди — спешат в университет студенты, неторопливо гуляют мамы с коляска-

ми, некоторые прохожие приветствуют Ганса улыбкой. Он улыбается в ответ и мысленно смеется: «Если бы они только знали, если бы только знали!»

Не прошло и двух недель, как он продиктовал Алексу первые строки своей предательской с точки зрения правительства листовки, а всего несколько часов назад он бросил в почтовый ящик последние экземпляры уже четвертой листовки. Во второй и третьей Алекс вписывал куски от себя, однако эта четвертая целиком и полностью принадлежит перу Ганса. «Надо обращаться к верующим, — рассуждал он, — к истинным христианам, их так много, они не могут соглашаться с этим преступным государством. Надо обращаться к верующим!»

Алекс согласился, но добавил, что мало что в этом понимает. Да, он верит в Бога, но остальное не может выразить словами, ему и не надо. Поэтому Алекс снова взялся за техническую сторону работы, а Ганс полностью посвятил себя написанию листовки. Как бы ему хотелось обсудить с кем-нибудь свой текст! Желательно с человеком, разбирающимся в религии, например со стариком-теологом, у которого останавливалась Софи после приезда в Мюнхен. Они с сестрой

частенько захаживают к нему. Ганс послал старику все четыре листовки, однако тот, похоже, не намерен об этом распространяться: в прошлое воскресенье во время чаепития он, как обычно, говорил с Гансом и Софи только об основах католического экзистенциализма. Но он наверняка читал листовки, Ганс в этом совершенно уверен, быть может, одна или две формулировки даже показались ему странно знакомыми, и однажды он снова встретит ее в какой-нибудь книге из своей разнообразной коллекции. Ганс не может выразить словами, сколькими знаниям он обязан этому человеку и его библиотеке.

Сигарета докурена, Ганс растирает окурок носком ботинка. Странно, что Софи до сих пор не пришла, обычно она довольно обязательна. Вдруг Ганс чувствует, как внутри поднимается смутный страх. С Софи ничего не могло случиться, он ведь никогда не посылал ей листовки. Ганс предполагал, что кто-нибудь расскажет ей о них, и, вероятно, так оно и произошло. После того судьбоносного вечера у Эйкемайера больших собраний не было, однако теперь Софи в разговоре неоднократно ссылается на различные отрывки из листовок, разумеется, не называя их.

Ганс втайне надеялся, что профессор Хубер

упомянет «Белую розу» во время одной из своих лекций или в личной беседе — хотя бы вскользь, хотя бы в виде аллюзии. «Мы должны что-то сделать!» Однако во время лекции Хубер ведет себя как всегда и даже после не говорит ничего особенного, как бы ни старался спровоцировать его Ганс. А еще последние несколько дней ему на пути постоянно попадается Вилли Граф — и в университете, и в городе, они с улыбкой кивают друг другу, иногда обмениваются парочкой слов. Гансу кажется, что с каждой встречей Вилли Граф выглядит чуть серьезнее, чуть задумчивее, но трудно сказать, связано ли это с листовками.

Трауте оказалась единственным человеком, отреагировавшим открыто. В перерыве между двумя лекциями она затащила Ганса в кладовую и показала ему листовку — первую, самую первую листовку, которую Ганс вложил в конверт. Трауте настойчиво спросила, известно ли что-нибудь Гансу, имеет ли он отношение к этой организации. Ганс только пожал плечами и мрачно прошептал, что есть вещи, о которых не следует спрашивать. Потом прошел мимо нее, направляясь к дверям, и чувствовал себя не пойманным, но гордым: Трауте сказала «эта организация».

Вечером того же дня она неожиданно появи-

лась у него на пороге:

— Дай знать, если я могу сделать что-нибудь для… — Трауте немного помолчала и резко выдохнула: — …для «Белой розы».

В эту секунду Гансу захотелось ее расцеловать, захотелось влюбиться в нее заново, однако вместо этого он лишь заговорщически прошептал:

— Почтовые марки.

И захлопнул дверь перед ее носом. Следует поздравить себя за такую сдержанность. В остальном поздравлять себя особо не с чем — Ганс вынужден признать, что в Мюнхене пока ничего не изменилось. Смотрители квартала, эти дворники в униформе, продолжают с важным видом патрулировать улицы, студенты продолжают сидеть на занятиях, бездумно записывая всякий вздор, а из радио продолжают звучать голоса Гитлера, Геббельса и Цары Леандер. «Надо набраться терпения», — говорит себе Ганс, не прошло и двух недель с тех пор, как он продиктовал Алексу первые строки манифеста «Белой розы», надо и дальше сеять семена ясных слов, тогда и пожнешь сопротивление. Ганс поднимает голову к солнцу и снова уверенно улыбается, заслышав знакомые шаги — стук старых ботинок Софи по булыжной мостовой. «Наверное, она задержалась

на лекции», — думает Ганс, но потом понимает, что Софи идет со стороны, противоположной университету. Он машет сестре рукой, однако та его даже не видит. Софи идет вперед, не разбирая дороги, небрежно засунув под мышку папку, из которой торчат несколько листов, которые, кажется, вот-вот улетят. Волосы у нее всклокочены. Она сама не своя.

— Ты откуда? — спрашивает Ганс, когда она подходит к входной двери и вместо приветствия сует ему папку, а сама принимается искать в сумочке ключ.

— Я? — спрашивает Софи так, словно речь может идти о тысяче других людей, и, не поднимая глаз, продолжает копаться в сумочке: — Я была у Шурика.

На этот раз она произносит это имя без улыбки.

— У Шурика? Аж с утра? — весело отзывается Ганс. — Можно ли напомнить тебе о женихе, который сейчас на фронте?

Он считает справедливым подтрунивать над Софи из-за ее очевидной влюбленности. В конце концов, Софи всегда упрекала его в ветрености, не давая возможности объясниться. Правда, обычно он разбивал сердца ее подругам, которые потом

плакались ей в жилетку, поэтому в некоторой степени ее гнев всегда был понятен.

— Мы просто рисовали, — раздраженно шипит Софи и вставляет в замок наконец-то найденный ключ.

Они молча входят в дом и поднимаются по лестнице, Ганс, который по-прежнему держит в руках папку, идет у Софи за спиной — не смеет догонять, а она даже не оборачивается, чтобы взглянуть на него. Должно быть, утром у Алекса произошло что-то неприятное. Что бы это ни было, Ганс не может себе представить, чтобы Алекс умышленно обидел Софи, но случайно — да, пожалуй. Алекс порой бывает безжалостным в своей честности.

Комната Софи меньше комнаты Ганса, обставлена скудно, но уютно. Ганс сразу же падает на диван, а Софи достает из своего единственного шкафа картонную коробку, а из нее — кочан капусты, большой кусок сыра, немного масла и отбивные, на которые Ганс так надеялся.

— Мог бы и помочь, — ворчит Софи, но Ганс прекрасно понимает, что сегодня не сможет ей угодить, что бы ни сделал, поэтому остается на месте. Через некоторое время Софи с грохотом ставит на стол две тарелки с бутербродами и

миску салата — отбивные она, видимо, убрала обратно в коробку назло Гансу. Потом Софи молча садится напротив, скрещивает руки на груди и не шевелится, даже когда Ганс начинает есть — только буравит его взглядом. Софи не приступит к еде, пока он не спросит, в чем дело. Вздохнув, Ганс откладывает надкушенный бутерброд в сторону.

— Что тебе сделал наш Шурик? — спрашивает он примирительным тоном. Вместо ответа Софи лезет в сумочку и достает исписанный от руки листок бумаги: «Нет ничего более недостойного для культурной нации, чем безо всякого сопротивления позволить “править” собой безответственной и предающейся сомнительным влечениям клике властителей…»

— Откуда у тебя… — Ганс тянется к записке, но Софи отдергивает руку.

— Вот что сделал Шурик, — тихо говорит она, уже не сердито, но серьезно. — Сегодня эта записка выпала у него из халата, а он даже не заметил. Я узнала твой почерк, Ганс. Издалека узнала.

Замолчав, Софи наклоняется через весь стол, пока не касается губами его уха.

— «Белая роза» — это вы, — шепчет она. — Ты и Шурик.

И в отличие от Трауте она не столько спрашивает, сколько утверждает, и Ганс не может отмахнуться, не может просто уйти, бросив напоследок дерзкую фразу. Софи знает правду. Нет никакой организации, никакого ордена. «Белая роза» — это они с Шуриком. Ганс кивает. Софи откидывается на спинку стула и, как ни странно, кажется менее напряженной, чем раньше.

— Дай сигарету? — просит она уже обычным голосом. — И спички.

Она поджигает сигарету и делает глубокую затяжку, а потом подносит горящую спичку к записке. Первые слова «Белой розы» сгорают в огне. Тлеющая бумага падает в пепельницу.

— Она могла вас погубить, — говорит Софи.

Ганс не отвечает: зачем оправдываться, они оба знают, что сопротивление — это единственно верное решение, Софи сама сказала об этом тем вечером, когда Ганс написал свою первую листовку.

Софи пристально смотрит на него.

— Она могла вас погубить, — повторяет она, — и, что еще хуже, могла погубить все дело. Дело, в которое мы верим, ради которого трудимся, ради которого живем. Неосторожность Шурика могла все разрушить. Что, если бы записку подобрала

не я, а кто-то другой?

— Да кто бы… — отвечает Ганс, но Софи перебивает его:

— В комнате находился еще один человек, старик, который подрабатывает натурщиком. Думаешь, он бы отказался получить от гестапо щедрую награду за разоблачение двух государственных изменников? Не важно, в чьи руки могли попасть ваши записи. Никогда, слышите, никогда не храните рукописные заметки и уж тем более не забывайте их в карманах! Все нужно немедленно уничтожать!

Ганс больше не пытается ничего сказать и виновато смотрит на стол, опустив голову. Он терпеть не может, когда Софи читает ему нотации, и еще больше ненавидит, если она права. Бумага в пепельнице догорела, улики превратились в пепел.

Через некоторое время Ганс поднимает голову и видит, что Софи улыбается. На столе перед ней лежит пачка банкнот.

— Фриц прислал. Я хотела купить копировальный станок, но, думаю, он мне больше не понадобится.

Она со смехом тушит сигарету, берет бутерброд и с удовольствием откусывает кусок.

— Итак, — жуя, говорит она, — как будем действовать дальше? У меня есть немного бумаги, конвертов и марок. И деньги Фрица, конечно. Но со временем нам понадобится больше денег…

Ганс широко улыбается, ощущая прилив чувств, — совсем как в ту ночь, когда он написал первую листовку. Как он защитит свою младшую сестру иначе, чем положив конец войне, и как можно сделать это лучше, чем с ее помощью?

— И соратники, — продолжает Софи, — нам нужны соратники, втроем мы не сможем свергнуть режим. Но многие, многие думают так же, как мы…

Ганс мечтает о том, что «Белая роза» будет и дальше цвести, будет становиться все больше и больше, пока не станет больше, чем война.

Но потом случается иначе.

Потом Ганс и Алекс получают повестки о призыве.

Лето 1942 года

Алекс отпирает дверь сам — Лило давно дала ему запасные ключи.

— В конце концов, Отто ключи больше не пригодятся, — вздохнула она, — а ты приходишь сюда так часто, что тебя можно считать соседом.

Алекс взял ключи, не задумываясь о скрытых значениях этого жеста. С тех пор ключи часто пригождались, например когда он хотел завезти Лило продукты, а ее не было дома. А когда и была, ей не приходилось бежать вниз, чтобы отпереть входную дверь.

Сегодня Лило дома — Алекс с порога слышит веселую музыку граммофона. На лестнице ему попадается уборщица.

— Доброе утро, герр Шморель! Что за махину вы опять принесли фрау Берндль? Вам помочь?

Алекс вздрагивает, еще сильнее прижимая к груди коробку.

— Спасибо, все в порядке, — бормочет он. — Я забежал попрощаться. Завтра я отправляюсь в Россию на военную службу.

Он смотрит на уборщицу так, как будто видит

сквозь нее нечто совершенно удивительное. Уборщица лишь недоуменно пожимает плечами и продолжает наводить глянец.

Алекс поднимается мимо нее в квартиру, откуда раздается музыка, не совсем джаз, но что-то близкое, если верить Геббельсу.

Лило стоит возле окна в гостиной, наклоняясь к закинутой на подоконник ноге и напоминая сложенный перочинный ножик. Трудно сказать, слышала ли Лило, как Алекс вошел: она всегда доделывает свои упражнения, ее не останавливает даже воздушная тревога. Алекс ставит коробку на пол и ждет, разглядывая затылок Лило, ее прямые светлые волосы, изящный стан. Она не только художница, но и профессиональная танцовщица, сейчас подрабатывает учителем гимнастики, и Алекс думает, что, наверное, считал бы ее очень красивой, если бы не встретил красавицу Ангелику.

Лило медленно выпрямляется, убирает ногу с подоконника, на мгновение задержав ее в воздухе. Потом поворачивается к нему и улыбается.

— Как тебе музыка? — спрашивает она.

Алекс пожимает плечами.

— Я так и думала. Это не Бах, Бетховен или еще что-нибудь возвышенное, а значит, не может

тебе понравиться. Хочешь кофе?

Лило с вызовом смотрит на Алекса, сверкая голубыми глазами. Конечно, Лило знает, что он откажется. Они с Алексом играют в своего рода игру: Алекс утверждает, что немецкие домохозяйки не умеют варить кофе, а все из-за своей чистоплотности — они так тщательно моют кофейники, что не сохраняется ни намека на аромат. Тогда Лило шутливо возмущается его антинемецкими предрассудками: «Ах, милый мой, если бы только тебя слышал фюрер!» Все заканчивается тем, что они пьют чай или вино, потому что Лило и сама не может проглотить пойло, которое называет кофе.

Однако сегодня Алекс не вступает в обычную перепалку, он смотрит на Лило остекленевшими глазами и задумчиво улыбается.

— У меня мало времени. Я просто хотел попрощаться, — говорит он.

Лило кивает. Бодрый духовой оркестр перестает ее радовать, и она выключает граммофон. Затем садится на диван, элегантно скрестив ноги в своей неповторимой манере, которой никогда не изменяла. Даже когда узнала о смерти Отто.

В тот день Алекс случайно оказался рядом, они сидели на этом самом диване и сравнивали

карандашные наброски, когда раздался звонок в дверь. Лило спустилась вниз и вернулась с письмом.

— Мой муж погиб, — сказала она. По ее щеке скатилась одна-единственная слезинка, которую она вытерла тыльной стороной ладони. Потом снова села и указала на один из рисунков: — Тебе особенно хорошо удалась эта штриховка, Алекс…

Он не обнял Лило тогда, хотя порой думает, что следовало бы. А возможно, и нет — возможно, он расстроил бы ее этим жестом, а ведь именно ее непоколебимое самообладание придает Алексу уверенность. Как будто там, где Лило, есть только искусство и красота.

Алекс садится рядом с ней, но на самый краешек дивана, словно готовый в любую секунду вскочить.

— Когда ты уезжаешь? — спрашивает Лило.

— Завтра утром, — отвечает Алекс.

Лило снова кивает. Продолжая улыбаться, Алекс кладет запасные ключи между ними:

— Не знаю, вернусь ли я.

— Не говори так, — сурово отвечает Лило, хватает ключи и поспешно засовывает их в карман спортивных штанов, словно вместе с ключами исчезнет сама возможность того, что Алекс может

не вернуться. — Ты обязательно вернешься! — добавляет она, и это звучит как приказ.

— Не знаю, — пробормотал Алекс, и улыбка его становится еще шире, — в конце концов, такая война нужна для того, чтобы убивать или быть убитым, и если я смогу выбирать, то предпочту последнее.

— Теперь ты болтаешь ерунду! — кричит Лило и бьет его в плечо. — Вас, студентов-медиков, оставляют в военных госпиталях, вы спасаете жизни!

— Да, возможно…

Они долгое время ничего не говорят, Лило смотрит на свои сложенные на коленях руки, Алекс смотрит на ее профиль. Лило немного старше его, в следующем году ей исполнится тридцать. Она всегда произносит эту цифру как нечто зловещее, но в то же время любит выставлять свой возраст напоказ. «Послушай меня, опытную женщину», — говорит она, или: «Когда я была такой же молодой, как ты…» Можно подумать, их разделяет разница в сто лет.

В свете полуденного солнца, проникающего через большие окна, Лило выглядит женщиной вне возраста, ее бледная кожа отливает золотом, придавая ей сходство со святой. А завтра Алекс

отправится в страну святых, в страну икон, народных песен и казачьих плясок. В страну своей матери, в свою страну. Сколько раз Алекс мечтал о ней, мечтал о России, и вот он отправляется туда, отправляется как враг — впору плакать, а он только улыбается. Улыбается с тех пор, как получил повестку о призыве.

Он думает, что погибнуть в России и быть похороненным на одной земле с матерью было бы для него закономерным концом, но Лило этого не поймет. Даже Ганс не понимает:

— Ты нужен Германии, — резко ответил он, когда Алекс заговорил об этом, и тут же поправил себя: — Будешь нужен Германии, когда это безумие закончится.

Алекс все понимает, он вовсе не хочет умирать, однако… Однако эти метания, разрывающие грудь, эта чуждая униформа у него в шкафу, Россию насилуют, и он — один из ее насильников, и это приводит его в отчаяние, но сейчас он сидит на диване у Лило и не может перестать улыбаться.

Алекс усилием воли заставляет себя не погружаться в свои мысли полностью, не предаваться полностью мечтам о России, у него остались дела здесь. Дела, которые необходимо уладить. Он

моргает несколько раз, потом жмурится что есть мочи — и исходящий от Лило свет становится тусклее. Нельзя забыть, зачем он на самом деле сюда пришел. Не только для того, чтобы попрощаться и оставить ключи. Печатную машинку он с благодарностью вернул соседу: «учебные цели» временно достигнуты. Остается избавиться от гектографа. Если оставить его дома, то рано или поздно кто-нибудь на него наткнется: *Njanja* во время уборки или Элизабет, которая вечно сует повсюду нос. В худшем случае — гестапо.

Алекс откашливается и разглаживает брюки:

— Лило, есть одно дело…

Лило обеспокоенно приподнимает брови, как будто уже знает, что он собирается сказать.

— В коробке, которую я принес, находится копировальный станок, который мы с Гансом…

— И знать не хочу.

Голос Лило звучит тихо, но решительно.

— Но…

— Нет, Алекс, нет. Не говори больше ни слова. Если хочешь, можешь оставить коробку в кладовке. Там лежат старые вещи Отто, и никто, даже уборщица, никогда туда не заходит. Оставь свою коробку там, но больше ничего не говори. Я не знаю, что внутри, и не знаю, что вы с Гансом

задумали. Я ничего не знаю, потому что ты мне ничего не говорил.

На губах Лило мелькает улыбка, но уже через мгновение лицо ее снова принимает озабоченное выражение. Алекс относит коробку с гектографом в отведенную ему кладовку. После этого они оба немного расслабляются, Лило снова включает музыку и заводит речь о немецком кофе, и они, как обычно, шутят.

Через некоторое время Алекс говорит:

— Ну все, Лило. Мне пора.

На прощание они коротко обнимаются, почти не касаясь друг друга, и Алекс уходит, ни разу не оглянувшись.

Лето 1942 года

Вчера снова засиделись допоздна. Шумит голова. Не от алкоголя — он выпил совсем немного, — а от разговоров, которые до сих пор эхом отдаются в ушах, перекликаясь с вокзальным шумом. Перед мысленным взором встает русская родина, безмолвная и заснеженная, — на дворе разгар июля, однако в воспоминаниях Алекса она всегда бела, как роза, всегда покрыта белым дымящимся снегом.

Вчера снова засиделись допоздна — отмечали прощание с Германией: они с Гансом собрали разношерстную компанию друзей и знакомых, сокурсников и товарищей, некоторые приехали аж из Ульма. Архитектор Эйкемайер, еще не вернувшийся в Краков, снова предоставил для встречи свою мастерскую, за что Алекс был безмерно ему благодарен. Родители не запретили бы проводить прощальную вечеринку в своем доме, однако беспокойство их ощутимо даже тогда, когда Ганс приходит в гости один.

— Он фанатик, — однажды шепнула Элизабет отцу, когда думала, что Алекс не услышит. — Ты

только посмотри на него. Один взгляд чего стоит. Это глаза фанатика. Помяни мое слово: однажды этот Ганс погубит нашего Шурика.

Отец ничего не сказал в защиту Ганса, просто задумчиво покачал головой и промолчал. Порой родители вгоняют Алекса в пучину отчаяния.

Эйкемайер тоже был в некотором отчаянии от вчерашнего, он, вероятно, ожидал очередной вечер чтения — с классической музыкой и «Атласным башмачком». И без такого количества людей. Всего остального было мало: вина, чая, особенно сидячих мест, из-за чего большинство гостей устроились на полу и с полупустыми стаканами произносили тосты за что угодно, но только не за победу. Профессор Хубер тоже пришел, он выглядел таким взволнованным, как будто это ему предстояло идти на фронт.

— Какая честь, — бормотал он, — наш доблестный вермахт!

Вчера его хромота и странное из-за полупарализованных губ произношение особенно бросались в глаза. Спорить с профессором никто не хотел, поэтому он говорил что ему вздумается. Только Вилли Граф, которого привел на встречу Ганс, вздрагивал каждый раз, когда слышал о «доблестном вермахте».

Вилли долгое время прослужил в России, поэтому повторный призыв стал для него потрясением. О проведенном там времени он рассказывал мало, но Алекс и не спрашивал — скоро он и сам все узнает, скоро он познает Россию, впервые за двадцать с лишним лет!

Алекс взволнованно идет по перрону, оглядываясь по сторонам в поисках знакомых лиц. Одинаковая форма, одинаковые прически — все выглядят одинаково, и Алекс тоже. Он нервно поправляет рукава, чувствует себя самозванцем, чужаком — не только здесь, среди солдат, но и в Германии вообще, и сейчас, когда Россия так близко, это ощущается особенно остро.

Внезапно он с кем-то сталкивается.

— Эй, мечтатель! Смотри, куда прешь!

Алексу нечего возразить, он и правда мечтал, мечтал о родине, как и всегда, он неразборчиво извиняется и снова высматривает Ганса и Кристеля. Кристель хотел прийти попрощаться — благо служит он в другой роте. Его младшенького только-только покрестили, и жена уже снова беременна. Кристель сказал об этом Алексу по секрету, и на этот раз Алекс отреагировал так, как полагается: без колебаний и притворства обнял Кристеля и от всей души поздравил. Ребенок

должен родиться в январе, а январь — время, когда заканчивается старый год и начинается новый, возможно первый за долгое время, который принесет мир. В разговоре Алекс лишь намеком обмолвился об их с Гансом политических устремлениях. Он думает, что ему вполне удается быть честным, при этом не раскрывая лишнего. Как бы то ни было, Кристель лишь кивал и не задавал никаких вопросов.

Алекс идет вдоль ограды, отделяющей станцию от внешнего мира, отделяющей военных от гражданских, ему то и дело приходится обходить солдат, которые прощаются со своими женами или подругами, жмущимися к решетке с наружной стороны. На мгновение в душе вспыхивает надежда: «А вдруг Ангелика тоже пришла?» Но надежда эта сразу угасает: конечно, Ангелика не проделает многочасовую дорогу только ради того, чтобы помахать Алексу на прощание. Алекс бы приехал ради Ангелики куда угодно, но Ангелика прагматична. Ее письма, сестринские письма, из раза в раз становятся все короче и короче.

Ангелики нет, есть только девушки других солдат, предусмотрительно захватившие с собой платки, чтобы махать и вытирать ими слезы. Однако сейчас девушки не выглядят особенно

расстроенными — болтают, хихикают, а мужчины веселы, как будто отправляются на экскурсию. Все вокруг дурачатся, смеются, фотографируются. Алекс твердит себе, что едет на войну, на войну, на эту чертову войну, однако все равно поддается общему настроению, его охватывает жажда приключений. В конце концов, путь лежит в Россию, домой! И вот он снова улыбается, как улыбался вчера Лило, губы, вопреки воле, сами растягиваются в улыбке.

— Шурик!

Знакомый голос выкрикивает его имя. Софи, как и Кристель, не могла упустить возможности попрощаться. Она умоляла Трауте уступить ей велосипед на сегодняшнее утро. Поначалу Трауте была не в восторге, ей тоже хотелось приехать на станцию, но через некоторое время она согласилась.

— В конце концов, Ганс — твой брат, а для меня он просто… — Она не закончила фразу, и на этом вопрос был закрыт.

Алекс ускоряет шаг и замечает Софи: она забралась на нижнюю перекладину и выглядывает над оградой, чтобы ее было лучше видно, портфель небрежно свисает с одного из железных прутьев. По другую сторону стоят Ганс, Вилли и

два студента из их роты — Хуберт Фуртвенглер и Раймунд Самиллер, которые тоже вчера были в мастерской. Они хорошо выглядят в форме — стройные и подтянутые, хоть для пропаганды фотографируй, думает Алекс и снова одергивает куртку, убеждаясь, что она не сидит как следует, нет, эта форма ему никогда не подойдет.

— Вот ты где! Мы уже собирались объявить тебя дезертиром! — смеется Ганс и так сильно хлопает Алекса по плечу, что становится больно.

Потирая ушибленное плечо, Алекс оглядывается в поисках Кристеля и не сразу его замечает, хотя тот стоит рядом с Софи. Из-за того, что Софи забралась на ограду, Кристель на ее фоне выглядит гораздо меньше обычного, да и вообще осунувшимся.

Алекс обменивается с ними рукопожатиями через ограду и, отпуская руку Софи, слышит едва уловимый вздох и думает: «В этом вздохе скрыто больше сожаления, чем в словах остальных девушек, которые сюда пришли». Конечно, остальные девушки верят, что их мужчины вернутся героями, а Софи знает, что все бессмысленно, — это расставание, эта война. В своих письмах Фриц много рассказывал ей о жизни в Советском Союзе: о разрушенных деревнях, о смертельных

эпидемиях, о бедняках в лохмотьях… Ох, если бы только Алекс мог совладать со своей улыбкой.

— Ну вот, теперь вы оставляете меня совсем одного, — грустно говорит Кристель, переводя взгляд между Гансом и Алексом. — Оставайтесь живыми и здоровыми и возвращайтесь поскорее.

У Софи в петлице жилетки ромашка, она вытаскивает ее, нервно крутит в пальцах, вставляет ее в волосы и тут же возвращает в петлицу.

— Ты не один, — со смехом отвечает Ганс. Сегодня он выглядит перевозбужденным — возможно, из-за усталости или средств, которые принимает для борьбы с усталостью. — Ты никогда не будешь один, Кристель, у тебя есть жена, дети!

— Конечно, — бормочет Кристель, — но есть мысли… с которыми я теперь останусь один на один.

Софи кивает, снова нервно вертит цветок в пальцах.

Из поезда выходит обер-лейтенант, который объявляет о том, что отправление откладывается. По перрону разносится общий стон — то ли облегчения, то ли нетерпения, трудно сказать.

Ганс и Софи говорят о своем младшем брате Вернере, которого перебросили из Франции ку-

да-то в Советский Союз. Он должен быть где-то неподалеку от фронта, его точное местонахождение наверняка можно будет узнать позже.

— Я навещу его! — восклицает Ганс, как будто вся Россия — это маленькая деревня.

Оставшееся время они разговаривают на банальные темы — о кинофильмах и погоде. О чем еще можно говорить, находясь посреди толпы? Обер-лейтенант еще несколько раз сообщает о том, что отправление продолжает откладываться, и каждый раз за его словами следует неясный стон.

— Затор на рельсах, — бормочет Вилли, — железнодорожные пути не справляются с нагрузкой. Новые солдаты отправляются в Россию, раненые возвращаются в Германию, продовольственные поставки… и советские партизаны взрывают рельсы где только могут.

Софи протягивает через ограду конфеты — те самые леденцы, которые Ганс подарил ей на день рождения.

— Когда же будет особый случай, если не сейчас? — спрашивает она и снова вздыхает, и Алекс думает: «Интересно, сохранила ли она его блокнот со стихами?»

Мелькают вспышки, кто-то фотографирует,

Софи смеется и поднимает руки, однако в следующее же мгновение становится серьезной, позади свистит поезд, наконец-то кричат командиры. Пора.

— Передавай от меня привет Ангели, — говорит Алекс, внезапно вспомнив о бывшей возлюбленной. Кристель обещает, что передаст, но мысли его явно где-то в другом месте, возможно там, где отныне ему придется оставаться одному.

— До свидания, прощайте, возвращайтесь целыми и невредимыми! Хайль Гитлер! — звучит со всех сторон, девушки наконец достают платки, солдаты потоком устремляются к поезду.

— Шурик?

На этот раз Софи не кричит, а почти шепчет, но достаточно громко, чтобы Алекс услышал. Он неохотно оборачивается. Софи остается позади, а впереди его ждет Россия. Ганс и остальные уже потерялись в толпе.

— Да? — спрашивает Алекс.

Софи протягивает ему ромашку, которую вытащила из петлицы:

— К сожалению, по дороге я не смогла найти розу. Просто знай: я продолжу наше дело, пока вас с Гансом не будет. Продолжу наше дело, если вы… Что бы ни случилось… Наше дело будет жить.

Софи смотрит на Алекса с решимостью, которая хорошо знакома ему по взгляду Ганса. Поначалу он удивляется тому, как мало обеспокоен тем, что Ганс во всем признался сестре. Иметь в лице Софи доверенное лицо, нет, сообщника, кажется логичнее всего на свете. «Эти сведения надо обнародовать, — заявила тогда Софи. — Надо осудить несправедливость! Пусть как можно больше людей знают о том, что произошло!»

«Белая роза» — это не только они с Гансом, но и все люди, которые не хотят закрывать глаза на преступления. Их много, этих людей. Очень много. Теперь Алекс снова осознает это, и, если бы не металлическая ограда и не свистящий за спиной поезд, он бы с удовольствием обнял Софи. Но единственное, что он может, — это принять цветок, и, в отличие от прошлого раза, когда Софи вручила ему любовный роман, сегодня Алекс благодарен искренне. Он обещает, что засушит ромашку в одной из своих русских книг — они достаточно тяжелые.

Софи улыбается и на этот раз не вздыхает.

Алекс разворачивается и следом за Гансом садится в поезд, который держит путь в Россию, *w Rossiju*. Домой.

Варшава, 1942 год

После двух с половиной дней пути поезд останавливается в Варшаве. В купе густым туманом висит дым. Ганс и Алекс оказались в компании здравомыслящих людей — Хуберта, Раймунда и Вилли, среди них нет ни одного некурящего. Кроме того, они хорошие собеседники — с ними можно не просто трепаться, а говорить обо всем на свете. Несколько раз то Ганс, то Алекс чуть не выдают себя, чуть не сбалтывают что-нибудь важное о таинственных листовках, содержание и происхождение которых сейчас горячо обсуждают их товарищи.

— Это, должно быть, очень большая организация, — говорит Хуберт. — Наверняка они распространили более тысячи листовок, и это только в Мюнхене.

Раймунд добавляет:

— Быть может, из-за границы?

Ганс чуть не прокалывается, но, к счастью, Алекс быстро и незаметно тычет его локтем под ребра:

— Нет, мы тоже не знаем, что это за «Белая

роза», интересно, что они там пишут. О, глядите, олени!

Хуберт и Раймунд легко отвлекаются на безобидную болтовню, однако Вилли плотно сжимает губами сигару и переводит взгляд между Гансом и Алексом, словно наблюдая за теннисным матчем.

После затянувшегося молчания он резко произносит:

— «Белая роза» — это вы двое!

Хуберт и Раймунд широко раскрывают глаза, Алекс и Ганс испуганно переглядываются, а Вилли начинает смеяться. Его звонкий смех заражает и остальных, его звонкий смех успокаивает: тайна одновременно раскрыта и нет. Пусть каждый поймет под этим смехом то, что захочет.

Была ли остановка в Варшаве запланирована или явилась следствием хаоса на железнодорожных путях, определить невозможно — да и что можно планировать в военное время? Как бы то ни было, в полдень Гансу и остальным приходится покинуть свое уютное пятиместное купе — поезд практически выплевывает их в разрушенную польскую столицу.

Впятером они кучкуются на перроне, где в вагоны для перевозки скота загоняют тощих мужчин,

подневольных рабочих для Запада.

— Давайте уйдем, — просит Хуберт, и они идут дальше, но по-прежнему держатся рядом, идут по городу построением наподобие римской «черепахи». Перед ними печально лежат руины старых дворцов, еще печальнее возвышаются бессмысленные новые дворцы — наспех возведенные увеселительные заведения. Именно сюда стекается большинство солдат, первые из прибывших уже пьяны, звучат джазовые мотивы, «черепаха» неуклонно продвигается вперед. Под ноги бросаются дети: «Добрый господин, добрый господин!» — это все, что они могут сказать по-немецки, большего и не требуется, музыка вызывает головную боль, молоденькие девушки бросают из окон похотливые взгляды, они давно надеются не на хлеб, а на парочку сигарет или рюмку водки. На обочине стоит маленькая церковь.

— Туда! — командует Ганс.

Впятером они протискиваются в двери и садятся на заднюю скамью, царящая внутри тишина кажется глотком свежего воздуха, они делают глубокий вдох и перекрещиваются, Алекс — справа налево, даже архикатолической Польше не вытравить из него православие. Впереди на коленях стоят верующие, прижимаясь лбами к холодному

каменному полу. От алтаря почти ничего не осталось — золото украдено, вместо свечей — одни огарки, на страдающем Спасителе облупилась краска, но поляки молятся так горячо, словно их убогое распятие — это сам Иисус Христос. Вилли первым складывает руки, остальные следуют его примеру. Они сидят тихо и незаметно, но через некоторое время поляки замечают чужаков: один из мужчин подталкивает локтем своего товарища, и верующие один за другим оборачиваются на немецких солдат, они не произносят ни слова, но во взглядах их сквозит презрение.

— Давайте уйдем, — снова просит Хуберт.

Они выходят из церкви, пробираются мимо груды обломков, где играют дети, всегда одинаковые дети, на каждом углу одинаковая нищета, и они быстро перестают понимать, где находятся. Ганс спрашивает у проходящего мимо поляка дорогу к станции, однако тот надменно смотрит в сторону, Алекс спрашивает по-русски — поляк снова не отвечает. Они еще несколько раз пробуют обратиться к прохожим, поляки понимают как Ганса, говорящего по-немецки, так и Алекса, говорящего по-русски, но отвечать не хотят. Одна женщина даже плюет им под ноги, чем впечатляет Ганса безмерно: плевать на сапоги вражеского

оккупанта — вот как нужно поступать.

Они находят столовую для солдат вермахта, где едят капустный суп. Внутри шумно, но горячая еда согревает, да и водка тоже.

— Нельзя слишком расслабляться, — говорит Ганс.

Вскоре «черепаха» снова блуждает по переплетению улочек, где остались только руины. «Даже уцелевшие и новые дома кажутся разрушенными, — думает Ганс. — Это город-призрак, населенный живыми духами. Но пока поляки плюют захватчикам под ноги, они еще не потеряны».

Ближе к вечеру они встречают колонну бледных женщин и мужчин, на рукавах у них белеют повязки со звездой Давида. Ганс глядит им вслед, видит кирпичные стены, которые их поглотят, — невысокие, не величественные, но могучие стены Варшавского гетто. Жандармы у ворот проверяют, чтобы эти еврейские узники, возвращающиеся с близлежащих заводов, не пронесли ни на кусочек хлеба больше положенного. Солдаты размахивают хлыстами — в качестве предупреждения и наказания, а также забавы ради, а те, у кого нет под рукой хлыста, подстегивают евреев пинками.

«О, профессор Хубер, — думает Ганс, — если бы вы только видели этот ваш доблестный вермахт, эту героическую войну. А мы просто стоим и смотрим, стоим и смотрим и ничего не можем поделать».

— Давайте уйдем, — настаивает Хуберт, однако на этот раз они не уходят, а подходят ближе. Все наслышаны о насилии над евреями, но видеть это своими глазами — совсем другое. С широко раскрытыми глазами они пробираются вдоль стен гетто, пока один из эсэсовцев не прогоняет их прочь, и они покорно позволяют себя прогнать.

«Оказывайте пассивное сопротивление — сопротивление — где бы вы ни находились», — в листовке это звучало очень убедительно, но теперь пассивность кажется почти невыносимой, и Ганс смотрит на Алекса, щеки которого покраснели от гнева. Что еще надо написать, напечатать, отправить, чтобы положить конец этой жестокости, и Ганс впервые думает, что слов может быть недостаточно, и что тогда, что тогда?

Горе смотрит на них. Они отворачиваются.

Во время отъезда из Варшавы кажется, что самое страшное уже позади. Студентов грузят в переполненный другими подразделениями санитарный поезд, который только что доставил

раненых на родину. В душных вагонах стоит запах скотобойни. В толчее римскую «черепаху», слаженную компанию из пятерых человек, разлучают, однако Ганс и Алекс находят места на одной полке, рядом с незнакомым солдатом, который пьян и сразу засыпает. Поезд с грохотом трогается, и Ганс испытывает такое облегчение от отъезда, что, несмотря на шум, глаза его закрываются сами собой.

Когда Ганс открывает глаза в следующий раз, на востоке уже занимается рассвет. Голова его покоится на плече Алекса, который словно не чувствует ее тяжести — сидит, выпрямив спину и подтянув ноги к груди, жует мундштук трубки и смотрит в окно на проносящуюся мимо березовую рощу. Ганс выпрямляется и потирает глаза, избавляясь от сонливости. Все вокруг, кажется, еще спят — по крайней мере, молчат, и тишину нарушает только оглушительный храп их соседа.

— Скажи, Ганс, — неожиданно шепчет Алекс, — что нам делать?

— О чем ты?

— Я не буду стрелять в русских. Не буду стрелять ни в русских, ни в немцев.

— Ты и не обязан, — пытается успокоить его

Ганс и сам понимает, как глупо звучат его слова во время войны. — Мы просто врачи.

— А если придется? — спрашивает Алекс.

— Тогда… — Ганс делает глубокий вдох и говорит: — Тогда тебе придется исполнить свой долг, как и всем нам.

Алекс поворачивается и смотрит Гансу в глаза. Даже при плохом освещении видно промелькнувшую в его взгляде враждебность.

— Исполнить свой долг? — повторяет он.

Кто-то кашляет, кто-то переворачивается на другой бок — быть может, голос Алекса прозвучал слишком громко, Ганс ждет, пока все успокоятся, прежде чем ответить.

— Ты понимаешь, о чем я, — шепчет он. — Мы не можем допустить, чтобы нас сейчас арестовали. Мы нужны Германии и не можем оставить ее нацистам, мы столько раз говорили об этом. Прошу, Алекс, не наделай глупостей.

Ганс не знает, слушает ли Алекс вообще — взгляд его снова устремлен в окно.

— Я не буду стрелять в русских, — тихо произносит Алекс через некоторое время и бесцветно добавляет: — Я ни в кого не буду стрелять.

Ганс снова пытается задремать, но каждый раз, когда его голова опускается Алексу на плечо,

тот легонько подталкивает его в бок, заставляя проснуться.

Ганс знает, что голова его тяжела, и сегодня он понимает, насколько ему важно, чтобы кто-то помогал ему нести бремя ее тяжести. «Прошу, Алекс, не наделай глупостей! Ты нужен Германии. Ты нужен мне».

Россия, 1942 год

Россия! Истерзанная, любимая, но не побежденная, нет, далеко не побежденная Россия. В небе гремят советские самолеты, откуда-то раздаются выстрелы, однако в немецких бункерах царит тишина — вокруг, подобно толстому шерстяному одеялу, тянется густой лес. Сюда, на главный перевязочный пункт в Гжатске, направляют двадцать девять человек из студенческой роты оказывать первую помощь раненым, чтобы те могли пережить тернистый путь до настоящих госпиталей. Порой все поезда и грузовики переполнены, и тогда в ход идут повозки, запряженные тощими кобылами, — совсем как та, которая повезла на погост маму. Его прекрасная покойная мать, что бы она сказала, если бы сейчас увидела своего сына, который вернулся домой — но не совсем, который сидит в немецком бункере, пусть даже в России. Алекс садится на койке, глубоко вдыхая и выдыхая настоящий русский воздух. Слева лежит Ганс, читая «Братьев Карамазовых». Прежде эта книга ему не нравилась, теперь же его взгляд с интересом скользит по строкам.

— Вот теперь, оказавшись в России, я понимаю Достоевского, — говорит он.

Справа Вилли лихорадочно строчит письмо за письмом. Говорят, Саарбрюккен разбомбили, и теперь Вилли пытается узнать о судьбе своей семьи. Он уже отправил домой телеграмму, но любые сведения, которые сюда дойдут, все равно дойдут слишком поздно. Остальные пытаются успокоить его:

— Твои родные наверняка живы и невредимы!

Непонятно, откуда такая уверенность, однако Алекс вторит им, хотя сейчас для него Саарбрюккен так же далеко, как неизвестная звезда.

На следующей койке дремлет полный новых впечатлений Хуберт, который еще не до конца переварил пережитое в Варшаве, он беспокойно вздрагивает во сне, но здесь кошмары никого не будят.

Таким образом, варшавская «черепаха» осталась почти в полном составе, только беднягу Раймунда Самиллера направили в другое место, они держатся вместе, как четыре сросшихся лепестка, как приносящий удачу четырехлистный клевер. Очень важно, чтобы рядом находились здравомыслящие люди — пожалуй, это самое главное и единственное, на что можно надеяться:

на людей, с которыми можно по-настоящему поговорить. Впрочем, Алексу с каждым днем все меньше и меньше хочется говорить на своем родном языке, порой он кажется немногословным, но только потому, что немецкие звуки с трудом слетают с уст.

Многие врачи и все медсестры на главном перевязочном пункте — подневольные работники, русские, вынужденные спасать врагов. Вынужденные потому, что давали клятву Гиппократа, потому, что христиане, потому, что русские, которые пережили времена империи, революцию и приход большевиков и которым еще много всего предстоит пережить. Если кто и знает, как быстро можно захлебнуться в потоке великих идей, так это русские.

Алекс снова ассистирует во время операций, как делал когда-то в Хольцхаузене, только здесь он не молчит, здесь он говорит почти без умолку, говорит по-русски, расспрашивает о жизни в Советском Союзе, о войне, о Сталине.

— Ах, Сталин! — вздыхают врачи, не решаясь сказать большего, однако лица их выражают разочарование не только тогда, когда речь заходит о Сталине. Их история — это история разочарований.

— Многие поначалу видели в Гитлере спасителя, который освободит нас от гнета собственных тиранов, — шепнул Алексу один из врачей. — Тем сильнее был ужас, когда нацисты показали свое истинное лицо.

— А что сопротивление? — шепотом спрашивает Алекс, но русский врач только лукаво усмехается.

И тогда Алекс понимает, что со Сталиным покончено — как и с Гитлером; понимает, что коммунизм и национал-социализм давно побеждены если не в мире, то хотя бы в сознании людей. Каким бы ни был исход войны, Гитлер со Сталиным уже проиграли. Победит народ, прежде всего — русский народ!

Алекс любит разговаривать с врачами, но еще больше — с медсестрами, простыми круглолицыми девушками с густыми косами. Если бы не строгая форма, то ходили бы они, наверное, в широких юбках и пестрых косынках, похожие на юную *Njanja*. Поначалу медсестры вели себя недружелюбно, Алекс — не первый немецкий врач, который пытался с ними сблизиться. Однако осознав, что он интересуется ими не как женщинами, а как русскими, интересуется их жизнями, их мыслями, медсестры оттаяли и ста-

ли говорить так открыто, как не осмеливались врачи.

Они ненавидят войну, еще и как! И коммунизм ненавидят! Порой они тайком уходят на богослужение, ставят свечку своему святому и молятся о том, чтобы все поскорее закончилось.

— Наш народ умеет терпеть, — с улыбкой говорит одна из медсестер, — в этом наша великая сила.

Большинство девушек не знают, что стало с их родными деревнями, а если и знают, то не хотят об этом рассказывать. Сам Гжатск полностью разрушен. Эти девушки ненавидят Гитлера, ненавидят Сталина, но любят-любят-любят Россию, и, несмотря на все невзгоды, лица их полны жизни. Особенно когда они поют.

— Идите, я не в настроении!

Вилли сидит на кровати, сжимая в руках книгу, которую не читает. Он до сих пор не получил вестей от своей семьи, не знает, как обстоят дела в Саарбрюккене, все его телеграммы остаются без ответа. Алекс опускается перед Вилли на корточки:

— Пойдем. Если хочешь по-настоящему узнать русскую душу, ты должен услышать, как она поет.

— Кто поет? Русская душа? — с некоторой иронией спрашивает Вилли, и Алекс совершенно серьезно кивает. Русская душа для него — святое, и само собой разумеется, что все его друзья должны понимать русскую душу. Только тот, кто ее понимает, может быть его другом.

В этом отношении Ганс — настоящий друг. Он сразу закрыл Достоевского и сейчас с нетерпением стоит у двери. Его не пришлось долго уговаривать, он рад любому отвлечению от повседневной рутины. По какой-то причине Ганса определили в инфекционное отделение, как, впрочем, и Вилли, но больных там пока нет, а если бы и были, то для них все равно нет коек. Только несколько стульев и один стол, сделанные из подручных средств. Этим больных не вылечишь, поэтому одну половину дня Ганс просто плюет в потолок, а другую половину — ставит уколы как заведенный: одно движение, снова и снова. Руки у него в синяках от постоянной сдачи крови. Кровь нужна всегда, много крови. Фронт находится примерно в десяти километрах отсюда, и русские стреляют день и ночь, да еще и авиация летает. И при этом тут все поют, пьют и веселятся. В Варшаве это было отвратительно, но в Гжатске кажется естественным: вместо

развлекательных заведений здесь — настоящие народные гуляния, да и как не веселиться, когда вокруг неописуемое буйство красок, незнакомые запахи русской глубинки! По крайней мере, так считает Алекс, ему хочется быть частью русского народа, который даже в страданиях находит счастье жизни, а не немцем, который только и умеет, что превращать жизнь в страдания!

Снаружи доносится звук балалайки и, заглушая вечный грохот войны, звучит девичий голос, высокий и ясный. Мелодия очень печальна, но вместе с тем полна жизни, как и лица русских. Достаточно первых нот, чтобы Вилли передумал, он откладывает книгу и следом за товарищами выходит из бункера — по его словам, ненадолго, послушать одну-две песни…

Все собрались на опушке леса. Не только врачи, медсестры и другие подневольные работники, но и жители Гжатска, те, которые еще остались — женщины, старики, многочисленные дети. «Несмотря на грязную, рваную одежду и на проеденные молью дыры в женских платках, русские выглядят красивее немцев, да и держатся с бóльшим достоинством», — думает Алекс. Бутылка водки ходит по кругу, русский старик без колебаний передает ее чужакам, демонстрируя

трогательную беззубую улыбку. Алекс пьет первым, хотя он и без алкоголя уже опьянел, в такую ночь водка кажется шампанским, Ганс и Вилли тоже выпивают и сияющими глазами смотрят на девушку, которая затягивает грустную песню в серебристом свете луны. То, что другим кажется экзотикой, для Алекса — детство. Потом звучат веселые песни, все пляшут и хлопают в такт, все поют, даже Ганс и Вилли, пусть и не знают слов, в хоре все голоса сливаются в единое могучее звучание — и немецкие, и русские.

Этим вечером Алекс счастлив.

Этим вечером война — не более чем барабанный бой, звучащий где-то вдалеке.

Этим вечером Алекс встречает Нелли.

Россия, 1942 год

Он выбрал ее потому, что из всех присутствующих женщин она выглядела самой русской: лицо широкое и безупречное, как бескрайняя степь, загадочные темные глаза, исхудавшая, как и остальные, однако все равно крепкая. Слабая и сильная одновременно.

Но Алекс заметил все это не сразу.

В тот миг, когда зазвучали первые звуки плясовой песни, он ни о чем не думал и просто схватил ее за руку. Она удивилась, даже немного испугалась, и Алекс, в свою очередь, испугался, что сейчас она влепит ему пощечину. Но девушка решила иначе и пустилась в пляс, рука об руку они с Алексом кружились по кругу, все быстрее и все больше выбиваясь из ритма, подбадриваемые смеющимся Гансом.

Алекс сразу заметил, что девушка трезва — не просто не пьяна, а трезва как стеклышко, что во время танца неотрывно смотрит на него, что выражение ее лица остается отстраненным, хотя движения твердят об обратном. Она моложе, чем кажется на первый взгляд, не старше Софи.

Мелкие морщинки вокруг глаз и губ говорят о том, что за свою короткую жизнь она много смеялась, а глубокие морщины на лбу — о том, что волновалась она куда чаще.

Песня подходит к концу, заставляя остановиться, все вокруг бурно хлопают и кричат, но Алекс продолжает держать девушку в объятиях — боится, что упадет, как только ее отпустит, и, возможно, так оно и есть: водка делает свое дело. Девушка не пытается вырваться и смотрит Алексу в глаза, изучает их, как будто надеясь что-то найти. Следующая песня звучит тихо и невыразимо печально, балалайка нежно плачет в ночи, Алекс и русская девушка стоят, крепко прижавшись друг к другу.

— Как тебя зовут? — спрашивает Алекс по-русски.

Девушка одобрительно приподнимает брови.

— У тебя хорошее произношение, — отвечает она.

— Я русский.

— Ты не русский.

— Наполовину русский, — бормочет он, — моя мама была русской, и я родился в России.

— У тебя немецкий акцент, — утверждает девушка.

— Неправда! — возмущается Алекс.

Девушка смеется:

— Правда-правда. Но очень легкий.

Алекс вздыхает. Эту девушку не переспоришь, понимает он и спрашивает снова:

— Как тебя зовут?

Девушка перестает смеяться. Она несколько секунд молчит, словно раздумывая, стоит ли отвечать, потом снова смотрит Алексу в глаза и тихо отвечает:

— Нинель.

— Нина? — переспрашивает Алекс.

Она качает головой:

— Нинель.

— Что это за имя такое?

— Ленин задом наперед, — отвечает девушка и вдруг заливается хохотом, сильно краснея лицом. — Мне не нравится мое имя, — поспешно добавляет она.

— Мне тоже не нравится. Я буду звать тебя Ниночкой.

— Зови меня Нелли. Так меня зовут друзья.

И вот за две русские народные песни они с Нелли стали друзьями.

Нелли работала учительницей здесь, в Гжатске, и работает до сих пор, хотя здание школы

разбомбили, а многие из ее бывших учеников заболели, умерли или пропали неизвестно куда. Нелли говорит, что раньше она свято верила в свою профессию и до сих пор немного верит, но уже не по-настоящему. Они перелезают через развалины на месте главной площади Гжатска.

— Вон там была школа, — она показывает туда, где ничего не осталось, — там я и жила.

Сейчас Нелли делит с шестью женщинами крошечную квартирку в разваливающемся доме. Какая-никакая, но крыша над головой. По ее словам, большинство местных жителей — крестьяне или рыбаки. Поэтому ей нравилось здесь жить, поэтому нравилось работать учительницей. Нелли считала, что коммунизм — это свет, который надо нести в провинциальную тьму, ей хотелось вывести людей из нищеты своими речами, образованием и культурой. Она грустно смеется и разводит руками:

— Оглянись вокруг. Не очень-то получилось, да?

Нелли верила в свою профессию, верила в революцию и презирала деревенских бабушек с их распятиями и иконами. Народные обычаи казались ей смешными, и даже песни, прекрасные старинные песни, раньше вызывали у нее только

смех. Нелли рассказывает, что прошло много времени, прежде чем она поняла, что большевики сделали с ее родиной. Нищета, преследования, несправедливость… все, против чего коммунизм якобы выступал, все, во что она когда-то верила, оказалось ложью. У нее давно были сомнения, и война только их усилила. Теперь она больше ни во что не верит.

— Даже в Бога? — спрашивает Алекс.

Нелли качает головой.

— Так нельзя, — испуганно отвечает Алекс, — надо во что-то верить! В конце концов, именно равнодушие все разрушает!

Однако Нелли только смеется и берет его под руку:

— Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю.

Она знакомит Алекса со своей соседкой Валей, у которой дырявые шерстяные чулки, и с беззубым рыбаком Дмитрием, а еще с молоденькой Верой, исполняющей народные песни и играющей на балалайке, и, конечно же, со своими маленькими учениками. Куда ни глянь, повсюду играющие дети, между каменными обломками распускаются разноцветные цветы, матери кормят своих малышей прямо на улицах.

— Познакомь меня со своей семьей, — просит

Алекс, но Нелли опускает глаза и грустно качает головой.

Вместо этого они идут к военнопленным, заключенным на своей же родине. Немцы заставляют их работать. Андрей, например, ухаживает за лошадьми. Андрей рад познакомиться с настоящим знатоком лошадей, сам он в них почти не разбирается, в прошлой жизни он работал машинистом.

Алекс, в свою очередь, знакомит Нелли с Гансом, у которого много свободного времени, чтобы сопровождать их на прогулках. Алекс находит эти прогулки чуточку утомительными — ему постоянно приходится выступать в роли переводчика. Ганс все хочет знать, но не может поговорить с русскими в своем инфекционном отделении, поэтому Нелли рассказывает ему о жизни в Советском Союзе, а Алекс переводит. Впрочем, Алекса это не раздражает, он очень рад, что Ганс искренне интересуется жизнью в России. Он с удовольствием слушает Нелли во второй раз и переводит историю ее жизни, отречение от политических заблуждений. В этом месте Ганс приходит в сильное волнение.

— Мне это знакомо, — бормочет он, — скажи ей, пожалуйста, что я хорошо знаю, каково это.

Алекс переводит, но Нелли не отвечает. Некоторое время она задумчиво изучает профиль Ганса, а потом дружелюбно кивает.

Еще Ганс несказанно удивлен странным именем Нелли. Назвать русскую девочку «Нинель» — это все равно что назвать немецкую Гитлерина.

— Можешь узнать у нее, — спрашивает он Алекса, — как бы звали по-русски меня?

— Я сам тебе отвечу, — усмехается Алекс. — Йоханнес по-русски — это Иван. Ганс — сокращение от Йоханнеса, а сокращение от Ивана — Ваня. Значит, тебя звали бы Ваней.

— Ваня! — повторяет Нелли. Она могла понять только малую часть разговора, однако этого оказывается достаточно, чтобы она разразилась хохотом: — Немец до мозга костей, а называет себя Ваней!

Алекс не переводит ее слова Гансу: вряд ли их можно считать комплиментом.

Нелли дала новое имя и Алексу.

— Если ты Александр, — говорит она, — тогда друзья должны звать тебя Сашей, это общепринятая уменьшительная форма.

Он качает головой:

— Друзья зовут меня Алекс или Шурик…

— А я буду звать Сашей, — твердо отвечает Нелли.

Почему-то Алексу нравится, что Нелли придумала для него свое прозвище, как некогда Ангели — единственная, кто называл его *Aljosha*. Теперь он думает, что их с Ангеликой отношения были обречены с самого начала. Ангелика — все, чего Алекс искал в женщине, но она не русская. А это самое главное.

Россия, 1942 год

Ганс чувствует себя самым бесполезным человеком на свете. Он пытается удержать карандаш на указательном пальце, подбрасывает его в воздух и ловит, а потом подбрасывает и роняет, и карандаш с шумом катится по столу. Ганс начинает игру заново, а потом еще раз и еще, пока Вилли не бросает на него укоризненный взгляд поверх книги. С тех пор как Вилли получил известие о том, что его родные живы, он наконец обрел спокойствие и решил посвятить себя учебе, подготовиться к экзаменам — до них далеко как по времени, так и по расстоянию, но здесь все равно нечем заняться.

«Как странно», — думает Ганс, а ведь некогда такие дни казались ему идеальными, он с головой погружался в учебники по медицине или философии. Читать, учиться, все знать — теперь время у Ганса есть, но его мучает внутреннее беспокойство и ощущение, что одних знаний недостаточно. Хочется сделать хоть что-то — например, прогуляться, впитать в себя красоту и прелесть деревни, насладиться простым укладом

русской жизни, однако за окном стеной льет дождь, который напрочь отбивает все желание. Однако до чего же стыдно сидеть здесь, в тепле и сухости, когда вокруг столько невыразимых страданий! Ганс почти завидует русским — страдания у них в крови. Уж лучше так, чем просто отмахнуться от несчастья, ведь феникс восстает из пепла, а не из знания о существовании пепла. В великих страданиях рождаются великие дела. Достоевский познал страдания. Гёте — нет. В этом вся беда немецкой культуры. Ганс плохо понимает по-русски, но понял, что тогда сказала Нелли: он — немец до мозга костей.

Эх, вот бы поголодать, хотя бы немного поголодать! Однако система снабжения работает хорошо, Ганс пробыл здесь совсем недолго и уже прибавил в весе — несильно, но он все равно чувствует себя сытым, толстым. Разве не должно быть иначе? Разве это правильно — быть на войне и толстеть, быть на войне и играть с карандашом, знать о великих страданиях и в конце концов ничего не чувствовать? Ему нужно отвлечься.

— Скажи, Вилли, что ты сейчас изучаешь?

Вилли отрывается от книги и отвечает:

— Как вскармливать младенцев.

— Не самая важная тема для военного врача на

передовой, — замечает Ганс.

— Надеюсь, однажды мы станем обычными врачами, — шепчет Вилли, и Ганс кивает.

Стать врачом… Когда-то это казалось ему крайне важным. «Спасать жизни» звучало героически, пока во Франции он не увидел, как раненые мрут на операционном столе как мухи. Конечно, то была не вина Ганса — ни один врач не смог бы их спасти. То была вина Гитлера, и в реальности существует только один способ «спасать жизни». Они с Алексом поклялись не допустить кровопролития, однако убийство тирана — это совсем иное.

Ганс снова подбрасывает карандаш, карандаш снова катится по столу, Вилли тихо вздыхает и откладывает книгу в сторону.

Дождь за окном стучит так громко, что выстрелов почти не слышно — или, возможно, уши слишком привыкли к этому звуку. Как бы то ни было, советских солдат нельзя обвинить в том, что они облегчают жизнь врагам. Партизаны продолжают взрывать поезда со снабжением — быть может, даже хорошо, что Ганс запасся жирком. Скоро Хуберту и Алексу прибавится работенки, однако ни работа, ни дождь не мешают Алексу проводить каждую свободную минуту на

улице, с Нелли и Валей, с Дмитрием и Андреем. С его людьми. Как несправедливо! Даже если Ганс научится скакать на лошади как казак, пить водку и без остановки горланить русские песни, ему никогда не стать одним из них, он навсегда останется европейцем, «немцем до мозга костей». Возможно, Алекс чувствовал себя так же, когда был в Германии. Странная, даже пугающая мысль.

— Ты всегда хотел стать врачом? — внезапно спрашивает Ганс, обращаясь к Вилли.

Он хочет говорить, не важно с кем, не важно о чем. Никто не может ему помешать, никто его не осудит: главный врач инфекционного отделения срочно уехал, взяв с собой других ассистентов. То, что Ганс с Вилли остались дежурить на станции, — это чистая формальность. Время от времени проводятся проверки, кто-нибудь приходит и орет: мол, у одного не причесаны волосы, а у другого форма не вычищена. Это нелепо, смешно, и все же на днях Ганс расплакался — в довершение унижения. Начальник кричал, Ганс лил слезы, а Вилли, к счастью, делал вид, что ничего не видит. В последнее время Ганс крайне эмоционален, раним, как юная девушка. Например, когда старшие врачи собирают своих

подчиненных и читают лекции по медицине, словно находясь в уютной аудитории почтенного университета, настроение Ганса может мгновенно измениться от добродушия до ярости. Теория звучит хорошо и ужасно важно, приправленная множеством латинских терминов, однако на практике врачам не хватает самого необходимого. Хочется кричать, плакать или смеяться в зависимости от обстоятельств. По крайней мере, больничные койки уже прибыли — стоят аккуратными рядами, как сейчас стоят солдаты, которые скоро на них окажутся. Сегодня в палате дежурит одна-единственная русская медсестра. Растянувшись поперек четырех коек, она вяло листает старый журнал с картинками.

— Вообще-то я никогда особо не интересовался медициной, — отвечает Вилли. — Я хотел изучать языки или теологию, но потом медицина показалась мне полезной, учитывая… ситуацию.

— Войну?

Вилли кивает:

— Лучше лечить, чем убивать, верно?

— Ты тоже не сторонник бессмысленных убийств? — спрашивает Ганс, сразу понижая голос. Медсестра не понимает ни слова по-немецки, однако они привыкли к тому, что для особых

разговоров существует особый шепот.

— Не сторонник войны и не сторонник политики Гитлера, — шепчет Вилли.

— А когда-нибудь был? — спрашивает Ганс.

— Никогда.

Оглянувшись по сторонам, Вилли лезет в карман своего врачебного халата. Достает сигареты и спички — курить в палатах строго запрещено, однако пустым койкам это не сильно повредит. Ганс следует примеру Вилли, они сидят друг напротив друга и курят, до чего хорошо, до чего успокаивающе занять руки чем-нибудь помимо несчастного карандаша. В отдалении раздается громкий взрыв, медсестра резко садится и замирает, как настороженный зверек, однако уже через мгновение снова впадает в летаргию.

— Русские развивают бурную деятельность, — бормочет Ганс, — нужно быть настороже.

Вилли пожимает плечами:

— К сожалению, они никогда не смогут воспользоваться своими преимуществами в полной мере.

— К сожалению? — Ганс снова хватает карандаш и шутливо грозит им Вилли: — Скажите, товарищ, вы случаем не большевик?

— Хуже того, — отвечает Вилли, — я ревност-

ный католик.

Ганс со смехом откладывает карандаш в сторону.

— И кстати, всегда им был, — добавляет Вилли.

— Если бы мы встретились десять лет назад, я бы тебе навалял, — шутит Ганс.

— Ты мог бы попробовать.

Ганс снова смеется, Вилли тоже, но быстро замолкает и, резко посерьезнев, оглядывается по сторонам. Медсестра по-прежнему поглощена своим журналом.

Вилли подается немного вперед, заговорщически берет Ганса за плечи и шепчет:

— Я до сих пор общаюсь со своими тогдашними приятелями. Ну, знаешь, с католиками, людьми, которые невысокого мнения о нашем правительстве. Противников режима много, они по всей Германии, нужно только их найти, объединить…

В следующую секунду дверь распахивается, и в помещение вваливаются три десятка солдат. Они только что прибыли с родины, и первым делом их отправили на прививку. Ганс и Вилли дружно достают шприцы. Ганс никак не может сосредоточиться, он несколько раз ставит укол слишком больно и слышит недовольные бор-

мотания.

Ганс думает о том, что если бы они нашли соратников по всей Германии, если бы Вилли смог наладить с ними связь, то их начинание перестало бы быть жалким, а он, Ганс, оказался бы не самым бесполезным человеком на свете, а предводителем сопротивления. Не обязательно быть врачом, чтобы спасать жизни, не обязательно убивать тирана, достаточно стать политиком! Ганс с силой вонзает иглу в очередное плечо, снова чувствуя, как его охватывает пленяющая эйфория — совсем как в ту ночь, когда он написал первую листовку, или как во время обеда с Софи. Можно почувствовать дуновение величия, которое готовит ему будущее. Вилли бросает на Ганса быстрый взгляд, он тоже занят, но лицо его не утратило заговорщического выражения.

Однако на этот раз эйфория длится недолго. Вечером Ганс получает письмо от матери.

Россия, 1942 год

“*Mnje nuschna loschschad, mnje nuschna loschschad…*” — повторяет про себя Ганс снова и снова, он боится забыть эту фразу. Андрей ухаживает за лошадьми, такой же военной добычей, как и он сам, животные изголодали, однако несколько километров осилят.

“*Mnje nuschna loschschad*” — ради этой забавной фразы Ганс искал Алекса по всей округе, пока наконец не нашел в одной из крестьянских изб с соломенной крышей, Алекс сидел на доильной табуретке, бренча на балалайке не без ошибок, но с задором. Нелли благоговейно сидела рядом, положив голову ему на плечо. Вот такой должна быть голова, не тяжелой, а легкой, чтобы не мешала играть. Вокруг сидели деревенские жители, все русские, и слушали. Ганс вторгся в эту убогую идиллию только ради того, чтобы узнать, как будет по-русски «лошадь». Он, конечно, и сам знал, он понемногу учит русский, просто сейчас это слово вылетело из головы. С таким же успехом Ганс мог спросить переводчика в лагере, одного из военнопленных, которых освободили от

тяжелых работ благодаря знанию иностранных языков. На самом деле даже необязательно знать, как называют лошадь русские: если бы Ганс настойчиво ткнул пальцем в желаемую лошадь, конюх Андрей бы все понял.

Однако Ганс хотел во что бы то ни стало отыскать Алекса, поговорить с ним. Он мог обойтись без перевода, но не без Алекса. Не без дружеского, ободряющего слова. Он хотел услышать подтверждение тому, что принял единственно правильное решение. Что при других обстоятельствах оно могло бы показаться бессердечным, однако делается в духе пассивного сопротивления. И что его брат Вернер посчитает так же.

Но, обнаружив Алекса, блаженно играющего на балалайке в окружении русских и России, Ганс почувствовал себя лишним. В памяти вдруг всплыло забытое слово: «*loschschad*» — и он вышел из избы так же тихо и незаметно, как вошел. Сейчас не время думать об одиночестве, есть вещи куда важнее. Только бы успеть добраться до Вернера!

Андрей узнает Ганса издалека, машет ему рукой и радостно кричит:

– *Wanja*!

Саша и Ваня теперь известны во всей округе

как «*russkije njemtsy*», пусть даже по-русски из них говорит только один. Зато другой может пить водку, смеяться и после большого количество выпитого даже плакать, как настоящий русский. Местные жители принимают его, впрочем что им еще остается?

По решительным широким шагам Андрей понимает, что Ваня пришел не праздновать.

– *Mnje nuschna loschschad*!

Андрей сразу же готовит кобылу, самую крепкую и выносливую, что есть в конюшне, он слышит спешность, заключающуюся в этих трех неправильно произнесенных словах.

«Мне нужна лошадь!» Как будто это вопрос жизни и смерти. Андрей подводит Гансу кобылу:

– *Wsjewo charoschewo, Wanja*!

– *Spasiba*, — отвечает Ганс, запрыгивает на кобылу и пускает ее галопом через поле, он скачет так, будто за ним гонятся. Грязь летит из-под копыт, дождь хлещет по лицу, но теперь ему все равно.

Чудесное, невероятное совпадение, но часть Вернера и правда находится неподалеку от Гжатска. Братья уже несколько раз встречались, вместе катались верхом или выпивали, вместе искали отвлечение от войны и находили под-

держку друг в друге. Ганс не знает, что бы сейчас делал, если бы рядом не оказалось частички его семьи. Только бы не заблудиться! Он знает дорогу, но Россия широкая, одна береза похожа на другую. Кобыла упрямо мчится вперед, однако нельзя быть уверенным в том, направляется она к цели или скачет кругами, придет ли к месту назначения или в конце концов вернется к Алексу и его русским приятелям, так далеко от дома, как только возможно.

«Когда-нибудь, — думает Ганс, — когда-нибудь, когда закончится война, я вернусь сюда по своей воле, без плана и цели, без ответственности, оседлаю здоровую, откормленную лошадь, направлюсь все дальше и дальше на восток, в страну монголов». Езда верхом, дождь, брызги грязи — во всем этом кроется некая радость, которая пытается заглушить страдания, только не сдавайся, только не сдавайся, ты все еще нужен Германии, Ганс, и потом, когда все закончится, ты вернешься и поедешь по этой земле без принуждения. И без страха.

Там, где войска Красной армии были отброшены назад, прячутся в лесах и деревнях партизаны. Это общеизвестный факт. В некоторых деревнях все мужчины ушли в партизаны, их сопротив-

ление оккупантам подпитывается желанием выжить и потому особенно безжалостно. В одиночку ехать по глухой местности опасно, однако вовсе не партизаны вызывают у Ганса страх. Внутренняя угроза часто оказывается опаснее внешней: одно недоброе слово брата кажется страшнее всех вражеских винтовок.

За плотной завесой облаков солнце уже садится. В первую очередь это ощущается по меланхолии, охватившей все вокруг, и только потом — по сгущающимся сумеркам. В это время суток всегда так, и сейчас песни, которые Алекс играет на балалайке, станут грустными. Что ж, по крайней мере дождь прекратился.

Кобыла замедляет шаг, силы ее на исходе, Ганс спрыгивает на землю, решив проделать остаток пути пешком, и усталое животное благодарно плетется за ним. Идти недалеко, на горизонте уже виднеются силуэты, слышны резкие немецкие крики и речь, это должен быть перевязочный пункт части, где Вернер находится при канцелярии какого-то военного. Рядом, под Ржевом, русские в нескольких местах прорвали оборону, вермахт сообщает о значительных потерях. Учитывая, что никто не говорит о том, что под Гжатском ежедневно гибнет около десятка чело-

век, можно представить, что здесь происходит. По крайней мере, Вернера это почти не касается, с ранеными и погибшими он имеет дело только в том смысле, что заносит их имена в бесконечно длинные списки, этакие бумажные надгробия — даже для тех, кому удалось выжить. Пока удалось.

Подойдя ближе, Ганс замечает, что солдаты здесь такие же пьяные, как в Гжатске, но пребывают в гораздо худшем расположении духа. Ганс спрашивает первого попавшегося из них, знает ли тот его брата Вернера. Нет, не знает. Следующий тоже не знает, никто не знает, никто не хочет разговаривать с Гансом, только седьмой или восьмой, к которому он обращается, наконец отвечает:

— Да, конечно. Он с минуты на минуту выйдет из канцелярии. Кстати, вон там есть вода для лошади.

Ганс дает уставшей кобыле напиться, а сам, внезапно обессилев, прислоняется к ее теплому туловищу и смотрит, как темнота полностью покрывает землю. Он совсем не думал о том, как ему придется возвращаться.

Вернер при виде Ганса выглядит напуганным — должно быть, уже догадывается, что в столь

поздний час брат мог прийти только с дурными вестями.

— Ты получил письмо? — без предисловий спрашивает Ганс.

Вернер оглядывается:

— Не здесь!

Они привязывают лошадь к столбу и молча отходят в сторону, туда, где не видно солдат, Ганс всю дорогу прикусывает язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Уже совсем стемнело, он с трудом может разглядеть идущего рядом Вернера, и только чавканье сырой земли под сапогами убеждает его, что брат все еще здесь.

— Мы отошли достаточно далеко, — говорит Вернер через некоторое время и останавливается: — О каком письме речь?

— Суд…

Погрузившись в свои дела, Ганс почти забыл о судебном процессе. Как оказалось, февральский донос секретарши все же имел последствия: отца приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. Четыре месяца жизни — такова цена за то, чтобы назвать вещи своими именами. И четыре месяца без работы, потому что никто не знает, как будет существовать бюро налогового аудита и на что будет жить семья. Софи снова

придется просить денег у своего Фрица, Трауте уже отправилась в Ульм, чтобы помочь Инге с делами. Трастовым фондом отца временно управляет старый друг семьи Ойген Гриммингер, который готов помочь и материально, однако в общем и целом перспективы кажутся довольно мрачными.

— Мама и тебя попросит написать прошение о помиловании, — объясняет Ганс брату. — Она надеется, что послание от сыновей с фронта будет весомее того, что могли бы написать они с сестрами. Но это неправда. А даже будь правдой, нам тем более нельзя уступать, понимаешь? Нельзя идти ни на какие уступки этому правительству, ни на какие, даже самые незначительные. Да и что мы напишем? Что отец имел в виду что-то другое? Что секретарша неправильно его поняла? Или даже: отец помутился рассудком, потому нес чепуху? Милосердие преступного режима унизительнее любого наказания, и нашему отцу такое унижение понравилось бы меньше всего!

К концу своей речи Ганс начинает говорить громче, чем собирался. Вернер, напротив, хранит полное молчание, и в темноте Ганс не может разобрать выражение его лица. Быть может, это и к лучшему. Вдруг Вернер сочтет такое поведение

безответственным? В конце концов, принципы не спасут человека и не прокормят семью, в отличие от нескольких лживых слов с фронта…

Впрочем, ни один из Шоллей никогда так не думал, особенно Вернер. Когда Ганс был восторженным гитлерюгендцем и в свободное время дрался с католиками, Вернер уже обладал критическим складом ума, который многое усложнял — и многое облегчал: Вернер порвал с Гитлером с меньшими сомнениями и горечью, чем Ганс.

— Ну, что скажешь?

Вернер по-прежнему не отвечает, однако в темноте Ганс чувствует, как брат берет его за руку — молчаливое согласие, безмолвное «да».

На ум невольно приходят слова, которые любит повторять Софи: «Надо иметь жесткий ум и мягкое сердце». Ганс бы не удивился, если бы Вернер в эту секунду думал о том же.

Россия, 1942 год

Великий дождь прошел, и наступила золотая осень, хотя на календаре еще только август. Уже можно представить, насколько рано здесь наступает зима. Алекс знает, что такое русская зима и как плохо к ней подготовлен вермахт. Милые славные девочки снова пойдут собирать пожертвования для фонда «Зимняя помощь», собирать деньги и вещи на благое дело, для наших солдат на фронте! Как будто заработанные кровью и потом деньги, вязаные шапочки и носки когда-нибудь попадут тем, кто в них действительно нуждается. Если бы Гитлер по-настоящему заботился о народе, то с легкостью бы выделил деньги на зимнее обмундирование, однако он предпочитает держать немцев в напряжении, требуя выступать за войну и убеждая, что тем самым они помогают своим отцам, братьям и сыновьям. После наступления зимы вермахт как пить дать будет раздавлен русскими холодами, Алекс не знает, пугает это его или радует, однако в любом случае он изнемогает от нетерпения: скоро все закончится. Ветер уже неприятно похолодал.

— …отец — человек твердый, он выдержит все испытания, которые выпадут на его долю. Я, как никто другой, знаю, что будет нелегко. Быть может, отец придет к Богу да наконец обретет веру…

Ганс идет в нескольких шагах позади Алекса и говорит без умолку, но неразборчиво, вполголоса. Алекс пытается слушать. Правда пытается. Судьба герра Шолля не оставляет его равнодушным. Алекс всегда считал Роберта Шолля замечательным человеком, семья Шоллей вообще замечательная и очень отличается от остальных семей, очень отличается от его собственной, с боязливыми родителями и влиятельными дядями. В любом случае нельзя, чтобы людей арестовывали за несколько необдуманных… нет, правдивых слов. Именно с этим борется «Белая роза». Однако у Алекса не получается сосредоточиться на переживаниях за отца Ганса дольше, чем на несколько минут, — мысли то и дело уносятся вверх, вдаль и прямо на восток, пока Ганс своим бесконечным бормотанием не возвращает их обратно за решетку, в Германию, которая уже давно заключена в тюрьму. Германия, Германия, будущее Германии превыше всего, они рискуют своими головами ради будущего Германии,

однако на самом деле будущее человечества находится совсем в другом месте. Алекс смотрит на гордые березы, в их кронах живет дух порабощенного, но не сломленного народа, молодой, свежий русский дух! Весь мир должен погибнуть или стать русским!

Алекс хотел написать об этом Ангели, но написал Лило. Быть может, Лило прочтет между строк то, что нельзя выразить открыто. По крайней мере, Лило попытается, в то время как Ангелика назвала бы его мечтателем. Раньше Алекса бы не задели ее слова, однако сегодня он знает, что это неправда, что его вечная мечта стала реальностью именно здесь, в этом месте! Он вдыхает по-осеннему прохладный воздух и слушает пение птиц.

— Когда именно ты понял, что против? — неожиданно и громко спрашивает Ганс, прерывая свое монотонное бормотание.

— Против чего?

— Ну, всего. Против Гитлера, против национал-социализма, против преступлений государства… Наверняка был момент, когда ты по-настоящему это осознал…

Задумавшись, Алекс вспоминает разговор с отцом, вспоминает объятый пламенем черно-

вик письма и ненавистную клятву Гитлеру. Но это было лишь следствием… следствием чего, собственно? «Русской крови, текущей в моих венах», — сказал бы он прежде. Однако эта русская кровь никогда не мешала ему состоять во всевозможных организациях и группировках этой злодейской партии, и в свое оправдание он может сказать только то, что нигде не был по-настоящему счастлив.

— Вилли всегда был против, — тем временем рассказывает Ганс, — представь, в детстве он вычеркивал из адресной книги всех, кто вступал в гитлерюгенд!

— Нас бы он вычеркнул в первую очередь, — отвечает Алекс.

— Я так ему и сказал, — смеется Ганс, но в следующий миг снова серьезнеет: — Вилли верно истолковал наш разговор в поезде. Он знает многих людей по всей Германии, которые разделяют наши взгляды. «Белая роза» может стать чем-то великим…

— Хорошо, — бормочет Алекс. «Вся Германия» кажется ему такой маленькой, такой незначительной по сравнению с окружающим простором, по сравнению с его бескрайней родиной. Такой далекой. Внезапно Алекс вспоминает ромашку,

которую подарила Софи и которую он потерял где-то между Варшавой и Россией.

— Отец всегда был против Гитлера, — продолжает Ганс, — раньше я думал, что из упрямства, но, повзрослев, стал лучше его понимать.

— А ты? — спрашивает Алекс. — С каких пор ты выступаешь против режима?

Некоторое время Ганс задумчиво молчит, а потом отвечает:

— Я думал, что все началось тогда, когда меня арестовали. Или позже, когда я сидел в камере. А может, и раньше. На партийном съезде в Нюрнберге, когда гордо нес флаг со свастикой. Все происходящее вдруг показалось ужасным спектаклем, мерзкой комедией, где мне отведена роль обычного статиста. А может, все было совсем не так. Может, дело в примере, который подавал мне отец. Политические взгляды отца и вера матери — пожалуй, причина в них. От воспитания никуда не денешься, правда?

Алекс думает, что благодаря материнской крови он стал русским наполовину, а благодаря воспитанию няни — полностью, но не говорит этого вслух: Ганс не поймет. «Ты нужен Германии» — всегда одно и то же, но какое отношение имеет к нему Германия?

— Теперь вспомнил, — говорит Алекс. — Ночь длинных ножей! По крайней мере, тогда у меня зародились сомнения.

— Убийство Эрнста Рёма? — изумленно спрашивает Ганс.

Алекс кивает:

— Во всяком случае, я помню, что именно тогда впервые назвал Гитлера тем, кем он есть, а именно — убийцей. Когда человек поступает подобным образом со своими ближайшими друзьями, то все с ним понятно.

— Да, — отвечает Ганс, — но ведь Рём был… — Он запинается, пытаясь подобрать слова: — Рём был… ну… сто семьдесят пятым… предпочитал мужчин…

— Ну и что? — с вызовом спрашивает Алекс.

Они замолкают и молча бредут по глуши, они могли бы брести недели, даже месяцы и все равно бы не пересекли границу страны. Какую-нибудь линию фронта — да, может быть, но какое это теперь имеет значение?

Через некоторое время Ганс нарушает молчание словами:

— Алекс, я хотел…

Но Алекс резко останавливается, и Ганс, идущий немного позади, врезается ему в спину.

— Что случилось? — спрашивает он, но потом и сам видит, что случилось.

Перед Алексом лежит покойник. Всеми покинутый, он давно уже здесь лежит — мягкие ткани полностью разложились, из полуистлевшей одежды выползают жирные черви. Голова находится немного в стороне, и теперь невозможно сказать, отделилась она из-за разложения или ее ударом снесли с плеч. Одной руки тоже нет. От этого человека мало что осталось, разве что теперь уже бесполезная каска с яркой красной звездой.

Алекс тяжело дышит. Грудь ему сжимает не отвращение, вызванное зловонием или видом гниющей плоти, — к ним он как медик уже привык, а неописуемая обида. Вот лежит человек, русский человек, человек с семьей, верой и надеждами, и он будет лежать здесь до тех пор, пока погода или дикие звери не сотрут его с лица земли. Ганс стоит к Алексу вплотную и через его плечо смотрит на мертвого русского, неприкрытый ужас у него на лице сменяется недоумением: что теперь делать?

— Не возражаешь, если мы его… похороним? — сдавленным от напряжения голосом спрашивает Алекс, и Ганс с облегчением качает головой.

В минуты наибольшего бессилия физическая работа всегда идет на пользу. Ганс с Алексом встают на четвереньки и голыми руками принимаются вскапывать рыхлую землю.

Когда яма кажется достаточно большой и глубокой, они приподнимают мертвого русского — медленно, осторожно, боясь, что он вот-вот рассыплется, однако покойник послушно ложится в свое последнее пристанище, словно искренне желая этого. Алекс сооружает из веток православный крест и втыкает в могилу.

— Не возражаешь, если я скажу несколько слов? — спрашивает он.

Ганс кивает и молитвенно складывает руки.

– *Swjatij Bohsche, Swjatij Krepkij, Swjatij Bessmertnij, pomiluj nas*.

Ганс тоже крестится по-православному, пусть и несколько неуклюже, потом они в последний раз смотрят на покойника, душа которого наконец обретет покой под сенью христианского креста.

Они уже почти засыпали могилу землей, когда Ганс находит в кустах недостающую руку. Приходится снова раскапывать, но в конце концов покойник целиком лежит в русской земле. Алекс срывает несколько цветов, чтобы положить на могилу, и они с Гансом пускаются в обратный

путь, не говоря ни слова и погрузившись каждый в свои собственные, совершенно разные мысли.

Россия, 1942 год

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные,
Как люблю я вас, как боюсь я вас,
Знать, увидел вас я в недобрый час.

Вера поет, сегодня темнота тяготит сильнее обычного: в ходе немецкой атаки погибли двое местных жителей.

— Сегодня неподходящий день, чтобы распевать песни, — сказала Вера, на что солдаты ответили:

— Пожалуйста, Вера, спой! Спой сегодня в честь усопших!

Поэтому Вера снова взяла в руки балалайку и теперь поет старые песни. Алекс тем временем смотрит в черные страстные очи. «Добрый час», «недобрый час» — что означают эти слова сейчас, когда прекрасное и ужасное переплетаются друг с другом: и гниющий русский, и глаза Нелли — все это его любимая Россия! Алекс делает еще один глоток шнапса, в шнапсе тут нет недостатка, здесь никогда не бывает недостатка в спиртном.

Нелли, напротив, совсем не пьет. На столе перед ней лежат несколько ломтиков хлеба из рациона солдат вермахта — из-за немецкой оккупационной политики в России хлеба сейчас не достать. Хлеб — самое меньшее, что они с Гансом могут дать Нелли взамен. Она торопливо берет со стола ломтик хлеба и разламывает на две части. Одну запихивает в рот, другую прячет в карман передника.

— Что с ним? — жуя, спрашивает она и кивает в сторону Ганса, который сидит на другом конце убогой крестьянской кухни, пьяный, повиснув на Вилли и Хуберте. Он бы давно уже сполз на пол, если бы эти двое не поддерживали его с обеих сторон.

— Его отца арестовали, — шепотом отвечает Алекс.

— Почему? — интересуется Нелли, она не кажется особенно удивленной.

Алекс пожимает плечами:

— В Германии тебя могут арестовать за что угодно. Особенно за правду.

— Как и в России, — отвечает Нелли, а затем поправляет себя: — Как в Советском Союзе.

Полюшко-поле,

Полюшко, широко поле.
Едут по полю герои,
Эх, да Красной армии герои!

— Знаешь, что я думаю? — спрашивает Алекс. — Я думаю, что когда моя служба закончится и я вернусь в Германию, то перед домом меня уже будут ждать. «Пройдемте с нами, герр Шморель, — скажут они, — вы арестованы».

Это не кажется Алексу ни капельки смешным, однако он смеется настолько громко, что на мгновение смех его заглушает пение Веры. Все присутствующие оборачиваются и смотрят на Алекса удивленно и укоризненно — все, кроме Ганса, который остекленевшими глазами глядит прямо перед собой, сквозь Веру, и, быть может, видит сейчас родной Ульм.

— Почему ты так говоришь? — спрашивает Нелли, когда остальные снова поворачиваются к певице, теперь Вера поет о грустных девушках: ах, любимый ушел, ах, любимый в армии.

Не ответив, Алекс роняет голову на руки. Отчаяние захлестывает его волной, наполняет глаза слезами, туманит взор. Нет, не мысль об аресте тому виной. С тех пор как они с Гансом начали распространять листовки, он все время

представлял сцену ареста, каждый раз в разных декорациях, неизменным остается только понимание: теперь все кончено.

Однако сейчас это понимание не пугает, Алекс привык к нему как к воздушной тревоге или шуму фронта. Но в тот миг, когда Вера запевает о грустных девушках, Алекс внезапно осознает, что история его детства вот-вот повторится. Он снова покинет свою родину. Его мучают воспоминания об опустевшем доме в Оренбурге, еще больше — мысли о роскошном особняке в Мюнхене, о глазах Нелли, песнях Веры, мертвеце в лесу, русском народе, его народе, Алекс должен будет оставить все позади, как некогда оставил свою мать на кладбище.

— Если бы только был способ, — бормочет Алекс. — Если бы только был способ остаться здесь…

Он думает, что Нелли не слышит: музыка слишком громкая.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий, на берег крутой.

Выходила, песню заводила,

Про степного сизого орла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Нелли прячет в карман фартука еще один ломтик хлеба и хватает Алекса за руку. Глаза ее настороженно блестят.

— Пойдем со мной!

Пока Вера поет о Катюше, которая посылает песню своему возлюбленному в дальние края, Нелли и Алекс выбегают в бескрайнюю ночь. Холодный свежий воздух мгновенно приводит Алекса в чувство, отрезвляет.

— Куда мы? — спрашивает он, тяжело дыша, однако Нелли зна́ком просит его не разговаривать, и он молча бежит следом. Голос Веры становится все слабее и слабее, а неутихающий гул войны — все громче, делается настолько оглушительным, что его почти не слышно. На опушке леса Нелли наконец останавливается и говорит:

— Однажды ты спросил меня о семье.

— Да. Я понял, что они…

— Не все из них мертвы, — перебивает Нелли, пряча руки в карманы передника. — У меня есть брат. Он живет там.

Нелли кивком указывает на лес у себя за спи-

ной. Несмотря на почти полную луну и ярко мерцающие звезды, сегодняшняя ночь необычайно темна — или, быть может, только кажется таковой, потому что Алекс уже догадывается о том, что услышит дальше.

— Мой брат партизан, — говорит Нелли, — его отряд сейчас прячется здесь. Я приношу им еду, которую удается раздобыть.

Некоторое время она молчит, засунув руки в карманы передника, и смотрит на Алекса таким же взглядом, каким смотрела тогда, когда они танцевали — всего несколько недель и целую вечность назад. Потом говорит:

— Если ты говорил серьезно и правда хочешь остаться здесь…

— Я говорил совершенно серьезно! — кричит Алекс, но Нелли делает ему знак замолчать.

— Тогда тебе придется избавиться от своей униформы. От униформы, солдатской книжки, документов — от всего. Я принесу тебе одежду, но тебе нельзя никому говорить о том, кто ты и откуда на самом деле. Ты просто Саша, родом из этих мест. Мой брат — не проблема, он бы, наверное, понял. Но остальные не такие понятливые. Многие ненавидят, люто ненавидят немцев. У них есть на то причины.

Нелли умолкает и снова смотрит на Алекса. В уме всплывает разговор с Гансом. «Я не буду стрелять, — сказал Алекс тогда. — Не буду стрелять ни в русских, ни в немцев». «Я не буду стрелять» — не те слова, которые может сказать партизан.

— Но… как же мой немецкий акцент? — нерешительно спрашивает Алекс.

— У тебя его нет, — отвечает Нелли и тут же добавляет: — Больше нет.

Алекс не может не усмехнуться.

— Не слишком-то радуйся, — почти вызывающе говорит Нелли, — партизанская жизнь опасна. Опаснее всего, с чем ты сталкивался прежде.

«Если бы ты знала, Нелли, если бы ты только знала», — думает Алекс, но не говорит этого вслух, прошлое больше ничего не значит. Потом в голову приходит другая мысль:

— А как же Ваня? Он может пойти со мной?

Нелли издает странный звук — смешок, который она безуспешно пытается сдержать:

— Ваня… Он же немец до мозга костей.

Честно говоря, Алекс тоже не может вообразить Ганса среди русских солдат. И дело не только в языке. Сложно представить Ганса вдали от книг, музыки и всего того, что принято понимать под культурой, вдали от родителей, брата и сестер,

вдали от интеллектуальных бесед и философии, вдали от своей родины. Ганс нужен Германии, потому что Германия нужна Гансу. Алекс будет скучать по многим вещам: по рисованию с Лило, по игре на фортепиано, по некоторым удобствам, к которым привык дома, будет скучать по отцу, по отцу — особенно! Однако он сможет смириться. Сможет жить в России, жить той жизнью, для которой был рожден, русской жизнью. Разве занятия по лепке, рисование, теплая еда, семья и «Белая роза» могут с ней сравниться? Быть может, Ганс все-таки прав, быть может, порой приходится исполнять свой долг.

— Когда? — спрашивает Алекс.

— Приходи завтра утром, сразу после утренней поверки. Я буду ждать тебя здесь. Но ты никому не должен об этом рассказывать. Даже Ване.

Алекс обещает.

Той ночью всей студенческой роте не удается выспаться. Ближе к утру их будит пронзительный кашель, по комнате то и дело разносятся стоны и бормотание, однако стоит им утихнуть, как кашель начинается вновь.

— Дай же наконец поспать! — начинает вскоре раздаваться со всех сторон. Ганс переворачивается на другой бок, опьянение еще не покинуло его,

до утреннего подъема остается всего два или три часа. Через некоторое время Вилли, сжалившись, первым вылезает из кровати.

— Алекс, — шепотом зовет он, — ты в порядке?

Алекс хочет ответить, что все в порядке, небольшая простуда, но не может вымолвить ни слова, голос подводит, горло болит и распухло. Он чувствует, как Вилли кладет руку ему на лоб, и снова слышит:

— Ганс?

Алекс разлипает глаза и смутно, как в тумане, различает перед собой лицо Вилли, оно ходит кругом. «Нелли, — думает он, — мне нужно к Нелли», но конечности настолько тяжелы, что он не в силах пошевелиться. От головокружения тошнит. Вилли не понимает, что Алекс пытается прохрипеть — он снова закрывает глаза.

Ганс недовольно бурчит, но потом все же подходит, Алекс снова чувствует руки у себя на лбу, на щеках, на шее, потом Ганс осторожно утирает покрывалом пот с его лица.

— Ангина? — спрашивает Ганс.

Вилли отвечает:

— Нет. Боюсь, он попадет к нам, в инфекционное отделение.

Утром главный врач подтверждает диагноз:

у Алекса дифтерия, болезнь, получившая прозвище «ангел-душитель детей», но молодого и крепкого парня она не задушит, две-три недели постельного режима — и санитар-фельдфебель Шморель снова будет пригоден к службе, а это самое главное.

Алекса укладывают на только что застеленную кровать, он пытается сопротивляться: «Это всего лишь простуда!», однако он настолько слаб, что никто даже не замечает его сопротивления. В конце концов Алекс сдается и полностью погружается в лихорадку.

А Нелли стоит на опушке леса с полным хлеба передником и ждет его — тщетно.

Россия, 1942 год

Ганс не черепаха и не четырехлистный клевер, а одинокий гниющий лист, внутри него и вокруг снова наступила осень. Вилли и Хуберта перевели ближе к линии фронта, где врачи нужнее. Ганс им немного завидует. О, невыносимое бездействие! Однако инфекционное отделение переполнено: дифтерия дает о себе знать, и теперь Алекс далеко не единственный пациент, еще есть больные малярией, сыпным тифом, пароксизмальной лихорадкой, дизентерией и так далее и тому подобное. Целый учебник болезней, который если чему и научит, то только тому, что на войне всегда есть третья сила, в равной степени свирепствующая против всех. Время от времени Гансу кажется, что он и сам заболевает, он чувствует, как лихорадка поднимается до корней волос, как руки и ноги становятся тяжелыми, как горло пересыхает и першит, но самое позднее через несколько часов предполагаемая болезнь оказывается просто усталостью от бездействия, от невозможности как-либо действовать. Да и что здесь делать, кроме как давать лекарства, изме-

рять температуру и ждать, снова и снова? Время от времени кто-то из пациентов не справляется с болезнью, тогда приходится поспешно делать все необходимые приготовления, и несчастная мать получит письмо, которого все время страшилась. Больничная койка не будет долго пустовать: как только закончится одна эпидемия, начнется следующая. Место павшего солдата займет другой, жизнь продолжится, и вся беда — в скучном однообразии.

К счастью, Алекс пережил самое худшее. Лицо его такое белое, какими уже давно не были простыни, но по крайней мере дышит он немного свободнее, а периодически даже произносит несколько слов слабым, хриплым голосом.

— Скажи Нелли, чтобы ждала меня, — выдавливает он, а еще: — Скажи, где я.

Больше Алекс ничего не может выговорить, обессилев, он вновь погружается в беспамятство, из которого иногда выныривает, чтобы, как одержимый, спросить о Нелли.

Возможно, это всего лишь лихорадочный бред — в конце концов, почему Нелли должна его ждать? — но как можно отказать несчастному на больничной койке? Поэтому Ганс обещает:

— Я все расскажу Нелли.

После этих слов ему кажется, что Алекс слегка улыбается во сне, и сейчас это единственное, что он может сделать для больного.

Ганс держит слово: он пытается отыскать Нелли, но не находит, а если бы и нашел, то не смог бы с ней поговорить — ему не хватает русских слов.

– *Gdje Nelly*? — только и может сказать Ганс. — *Gdje Nelly*? — спрашивает он всех, кто встречается ему на пути: и певицу Веру, и Андрея, и медсестер в отделении, но те лишь пожимают плечами или смущенно улыбаются.

И только Валя, подруга Нелли, не пожимает плечами, а с обеспокоенным видом хрустит костяшками пальцев.

– *Gdje Sasha*? — в свою очередь спрашивает она, и Ганс пантомимой изображает жар и боль в горле.

Валя с обрадованным видом кивает — интересно, чему она радуется? Если бы они могли поговорить друг с другом как раньше, когда Алекс выступал в роль переводчика, то все было бы гораздо проще. Ганс вообще скучает по разговорам с русскими и еще больше — по разговорам с друзьями. По вечерам он садится на край кровати Алекса и пишет Шморелям, что Шурик, к сожалению, слег с ангиной, но не волнуйтесь, ему уже

гораздо лучше. Родители Алекса, в свою очередь, пишут о воздушном налете на Мюнхен в начале сентября: сто пятьдесят погибших и пятьсот раненых, но пусть он не волнуется, все родственники и знакомые здоровы. Софи пишет Гансу, что дом старика-теолога полностью разрушен взрывом, но пусть он не волнуется — слава богу, никого там не было и пострадали только книги.

О работе сопротивления Софи ничего не пишет — конечно же, нет, ведь почту просматривают, — и Ганс гадает, сдержала ли она свое обещание позаботиться о «Белой розе», и если да, то изменило ли это что-нибудь? Можно ли вообще хоть что-нибудь изменить?

Изменило бы что-нибудь прошение о помиловании? Больше мать об этом не упоминала, писала только, что отец поживает неплохо, и адвокат твердо верит в досрочное освобождение за хорошее поведение. Ей по-прежнему нездоровится, однако она настроена оптимистично. Когда люди горячо заверяют вас в том, что причин для беспокойства нет, это заставляет по-настоящему забеспокоиться.

Ганс читает все письма Алексу вслух и завидует ему, который, вопреки всему, мирно дремлет, словно даже не собираясь просыпаться, а потом

резко открывает глаза:

— Скажи Нелли…

— Не волнуйся, Алекс, скажу.

Когда одиночество становится невыносимым, Ганс отправляется к небольшому пруду, где стоит лодка рыбака Дмитрия. Этому русскому старику Ганс пришелся по сердцу, но трудно сказать почему. Быть может, Ганс напоминает ему сына, который у него когда-то был, или он просто чувствует, когда человеку нужна компания. Как бы то ни было, Ганс благодарен старику за беззубую улыбку, которой тот его встречает, и за радостный возглас:

– *Wanja, Wanja, idi sjuda*!

Потом они вместе заплывают на середину пруда, Ганс гребет, Дмитрий закидывает удочку. Реши кто-нибудь нарисовать русского рыбака, то рыбак был бы похож на Дмитрия, с его загорелым лицом и всеобъемлющим спокойствием. Алекс смог бы слепить по его подобию прекрасную статую, Гансу же остается пытаться описать свои чувства словами, однако он не может найти нужных слов. Со времен Варшавы он снова и снова спрашивает себя: «Что, если слов окажется недостаточно?» Не успевает он погрязнуть в размышлениях, как Дмитрий выуживает из воды

жирную рыбину, и они оба радуются, каждый на своем языке.

Однажды Ганс пришел на пруд с книгой Достоевского. Он случайно захватил ее с собой: посреди чтения потерял концентрацию и отправился прямиком к рыбаку. Однако на этот раз Дмитрий не воскликнул «*Wanja, Wanja*!», не заулыбался, а, прищурившись, попытался прочитать латинские буквы на обложке.

— Достоевский, — пробормотал он, и глаза его загорелись, как у мальчишки на Рождество. Он начал что-то рассказывать. Ганс, конечно, ничего не понял. Ничего, кроме «*Dostojewskij, Dostojewskij, Fjodor Michailowitsch Dostojewskij*». Дмитрий говорил настолько быстро и страстно, что Ганс, наверное, все равно ничего не понял бы, даже если бы знал русский немного лучше.

Как странно: в Германии есть Гёте и Шиллер, однако спроси о них немца — и услышишь в ответ:

— Я окончил школу много лет назад, хватит с меня!

Здесь же самый простой рыбак может рассказать о русской литературе, потому что это его литература, он понимает Достоевского как себя самого, и наоборот.

Когда-то Достоевский стоял на месте казни, в ожидании расстрела. С накинутым смертным саваном, с завязанными глазами, в твердой уверенности, что вот-вот сделает свой последний вздох в этом жестоком мире, он был издевательски возвращен к жизни царским помилованием. Достоевский на собственной шкуре ощутил дыхание смерти — быть может, потому ему так хорошо удавалось писать для этого народа, быть может, потому он всегда мог найти нужные слова.

Вечером Дмитрий уходит с уловом: если он поймал одну-две рыбины, то съест их сам, если больше — продаст на рынке, а часть засолит, делая запас на зиму. Ганс представляет, как долгими зимними вечерами Дмитрий сидит в своей бедной избе, в одной руке у него кусок соленой рыбы, а в другой — «Братья Карамазовы». Восхитительная, волшебная картина.

Ганс по вечерам избегает одиночества — обычно он присоединяется к русским, однажды даже собирает хор из деревенских девушек и дирижирует песнями, которые впервые услышал в доме Шморелей, а теперь знает лучше маминых колыбельных. Но еще чаще он встречается с Вернером. Вместе они гуляют или берут у Андрея лошадей и скачут наперегонки. Ганс предпочи-

тает брать лошадей: во время езды можно ни о чем не думать, а во время прогулок они с братом все время погружены в мысли, мысли об отце, сидящем сейчас в тюрьме, каждый убеждает другого: «Не волнуйся, отец выдержит», пока сами в это не поверят. Вернер говорит об Алексе, мол, он тоже выдержит. После этого они заговаривают о том, кому не повезло, — их общем друге детства, Эрнсте Редене, недавно из Ульма дошла весть о его смерти.

«Эрнст пал» — какой странный эвфемизм, можно подумать, он в любую секунду может подняться. Конечно, в наше время смерть никогда не бывает неожиданностью, но впервые она настигла близкого друга, отныне безликий ряд «павших» пополнился знакомым лицом. Только заговорив об Эрнсте, братья понимают, сколько воспоминаний связано у них с ним. Неужели нужно умереть, чтобы вспомнить былое? Ганс рассказывает о походах, в которые они с Эрнстом ходили в детстве, — Эрнст, как самый старший, оказал на остальных большое влияние. Например, если бы не он, то Ганс, возможно, никогда бы не познакомился со стихами Стефана Георге, которые до сих пор помнит наизусть. Постоянные споры с гитлерюгендом, частью которого

они формально являлись, но никогда ею не считались, — их дружба была чем-то совершенно иным, нежели простое наставничество или следование идеям фюрера.

— А ведь Инге всегда была влюблена в Эрнста, — вздыхает Ганс, — одно время я был уверен, что они поженятся. Но она не совсем соответствовала его вкусам.

— Да, — кивает Вернер, — пожалуй, не соответствовала. Однако он все равно ее любил.

Бедная Инге. Представлять, как сейчас она сидит дома наедине со своим несчастьем, еще хуже, чем представлять смерть.

Конечно, на самом деле невозможно представить смерть, самое большее — умирание, да и то не совсем. Вот человек стонет на больничной койке, операционном столе или в окопе, а в следующую секунду его уже нет, он, так сказать, пал. Теперь частичка беззаботной молодости Ганса — и в ретроспективе она действительно кажется таковой — «пала», ее просто больше нет.

Ганс говорит, что, если бы Иисус Христос не воскрес, впору было бы биться головой о стену, но так остается надежда. Вернер соглашается. Потом братья прощаются друг с другом, уже поздно, и снова день прошел бессмысленно.

Грядет тяжелая ночь. Свет слишком тусклый, чтобы читать, тело слишком бодрое, чтобы погрузиться в сон, ум слишком устал, чтобы философствовать.

Стоит Гансу наконец заснуть, как приходят сны. Ему снится заключение, снится расстрел, снится сидящий в камере отец, а потом и собственная камера. Ему снится Лиза. Почему именно Лиза, ведь они так давно не разговаривали?..

Ганс открывает глаза, но продолжает видеть перед собой лицо Лизы, лицо четырнадцатилетней Лизы, столь юной и, главное, еще не помолвленной с другим. После того как Ганс ее бросил, она хотела умереть, но осталась жить. И жила хорошо. Ганс решает завтра первым делом написать Лизе. Во что бы то ни стало. Когда-то он очень ее любил. Любил в самые мрачные часы своей жизни, и теперь они снова настали. Здесь, в темноте, поджидает смертельная тоска, сжимающая горло сильнее любой болезни. С трудом дышать, желать подняться и не иметь на это сил… Стремящаяся к самоубийству девушка давно преодолела свою тоску, она способна действовать, пусть даже действия ее разрушительны. Если бы Иисус Христос не воскрес, тогда… Смысл не столько в том, чтобы терпеть тоску, сколько в том, чтобы вос-

принимать ее как великую ценность — ты ведь не хочешь быть одним из тех, кто не ощущает ничего помимо приятностей, одним из тех, кто до беспамятства упивается собственной слепотой? Ты ведь не хочешь быть одним из них, Ганс? Тоска — драгоценный товар, прими его и забудь на сегодня об оправданиях. Забудь об уколах и таблетках.

Ганс переворачивается на живот и утыкается носом в матрас, пахнущий его собственным потом. Храп раздражает. На кровати Алекса спит кто-то другой, и никакие взрывы не раздражают так, как храп чужого тебе человека. Ганс затыкает уши и закрывает глаза. Думай о Лизе, мысли о ней помогали в тюрьме, возможно помогут и теперь. Думай только о Лизе, о поцелуях и прикосновениях в темноте, о поцелуях и прикосновениях под одеялом, о поцелуях и прикосновениях к голой коже. Он снова видит Лизу. Нет, не Лизу. Кое-кого другого. И вдруг весь сон как рукой снимает. Если бы только смерть Эрнста не пробудила к жизни прошлое — прошлое, о котором он не говорил с Вернером, и прошлое, о котором не может говорить даже с ним. Если бы только Алекс был здесь!.. А впрочем… Ганс все равно не стал бы ему ничего рассказывать. Даже после того, что Алекс

говорил о Рёме.

Ганс переворачивается на спину и вытирает со лба пот. Лиза, думай о Лизе. Он напишет ей завтра.

1937–1938 годы

Подрывная деятельность, контрабанда валюты и… подобные вещи. Его обвиняют в грехах молодости, порочность которых существует только в глазах бюрократии, любой здравомыслящий человек посмеялся бы над ними. Здравомыслие, однако, далеко не заведет — ни в партии, ни в армии. Гансу пришлось узнать об этом уже в девятнадцать лет. Но там, где кончается здравомыслие, начинается харизма — в этом вся магия Гитлера. Гансу и самому харизмы хватает, чтобы сделать блестящую карьеру. Потому на допрос он отправляется в приподнятом настроении, на двери его камеры большими буквами написано «Юноши», словно он еще ребенок. Обращаются с Гансом не так, как пристало обращаться с солдатом, — его перевели в гражданскую юрисдикцию. Раздражает: зря он, что ли, торчит в казарме и хочет поскорее стать офицером? Только бы вся эта история не помешала его планам! Впрочем, настроен он оптимистично. Ганс подготовил хорошую линию защиты, он умеет говорить — если он что-то и умеет, так это гово-

рить. Дорога в комнату для допросов длинная, и он снова прокручивает в голове аргументы: его намерения заключались исключительно в том, чтобы привить юношам, находящимся под его руководством, национал-социалистические ценности, и если для этого он пошел своими, возможно нестандартными, путями, следует помнить, что цель оправдывает средства. В душе они всегда остаются верными Гитлеру, даже если предпочитают называть себя спутниками, а не гитлерюгендцами.

Вот что Ганс скажет, и слова его не будут полной ложью. Спутники ставили палатки, разводили костры, проводили спортивные соревнования — и поначалу даже верили в Гитлера. Потом, правда, больше в Стефана Георге и Фридриха Ницше и, прости господи, время от времени даже цитировали стихи Генриха Гейне. Ну и что с того? В конце концов, Гейне — один из величайших немецких поэтов, пусть и еврей! Впрочем, не стоит упоминать об этом в защитной речи. Запрещенные книги, которые нашли в их с Вернером комнате, он читал якобы из чистого любопытства: врага надо знать в лицо. А самодельные флаги и эмблемы, которыми украшали себя спутники, чтобы их не путали с гитлерюгендом, — это всего

лишь юношеское рвение, которое не должно разрушить блестящую карьеру на государственной службе. Вот что Ганс скажет, и глаза его загораются при мысли о том, как он будет выступать со своей речью перед гестаповцами — твердым голосом и размеренными жестами, уверенно, но не высокомерно, учтиво, но не унижаясь, как и полагается немецкому офицеру. В следующий раз они дважды подумают, прежде чем написать на двери камеры «Юноши»!

Ганс пытается сдержать улыбку, когда входит в комнату для допросов. Надо показать, что он прекрасно осознает всю серьезность ситуации, но это не вызывает у него страха. Небольшая комната, голые стены, украшенные только фотографией Гитлера, с которой фюрер сурово смотрит куда-то вправо, в неизведанные дали. За письменным столом сидит маленький худой человечек в очках, такого ожидаешь увидеть в страховой конторе, а не в тайной государственной полиции Гиммлера. «Тем лучше», — думает Ганс, широким шагом подходит к следователю и вскидывает руку в гитлеровском приветствии, после чего громко и отчетливо называет свое имя и воинское звание. Однако следователь даже не поднимает взгляд от бумаг, просто небрежно

указывает рукой на стул, делая знак садиться, что Ганс и делает, сразу же чувствуя себя гораздо меньше. Он выпрямляет спину и только теперь замечает в темном углу второй стол с пишущей машинкой, за ним сидит немолодая секретарша и мягко улыбается, положив пальцы на клавиши. Офицер гестапо заставляет их ждать, заставляет Ганса ждать, неторопливо просматривая документы, как газету за завтраком. «Многовато страниц», — думает Ганс и говорит себе не волноваться. Это просто игра. Следователь хочет поиграть на его нервах, проверить выдержку: что ж, пусть проверяет, в конце концов, он никуда не торопится, думает Ганс и демонстративно откидывается на спинку стула.

— Рольф Футтеркнехт, — неожиданно говорит следователь, говорит небрежно, не отрывая взгляд от документов, и Ганс немедленно выпрямляется, почувствовав, как напрягся позвоночник.

— Вам знакомо это имя?

— Конечно, — отвечает Ганс ему в тон, стараясь говорить как можно небрежнее. — Футтеркнехт был моим непосредственным подчиненным в гитлерюгенде.

Стоит открыть рот, как секретарша начинает печатать, клавиши машинки стучат раздражаю-

ще громко, и Ганс чуть было не запинается.

— Интересно, — бормочет следователь, переворачивает страницу, и взгляд его останавливается на каком-то одном абзаце, губы беззвучно шевелятся — почему он читает так медленно? Потом он снова переворачивает страницу.

— Если это из-за иностранной валюты…

Почему Ганс не может сдержаться?! Слова срываются с языка слишком поспешно, слишком нервно, и следователь спокойным жестом просит его замолчать. Некоторое время Ганс молчит. Рольф, подумать только…

— Вы не возражаете, если я… — наконец спрашивает он, потому что сигарета сейчас сотворила бы чудеса. Впервые с начала разговора гестаповец поднимает взгляд. Глаза у него маленькие, как у крота. Или как острия иголок. Такими и проткнуть можно.

— В тысяча девятьсот тридцать пятом и тысяча девятьсот тридцать шестом годах вы неоднократно совершали развратные действия в отношении вышеупомянутого господина Футтеркнехта. Вы нарушили параграф сто семьдесят пять, предусматривающий наказание за противоестественный блуд, а также параграф сто семьдесят пять «А» — противоестественный блуд, соверша-

емый с использованием зависимого положения потерпевшего.

Это не вопрос, а утверждение. Следователь говорит сухим юридическим тоном, и только огонек в маленьких глазках выдает его удовольствие от мучений Ганса.

— Мне было всего шестнадцать, — бормочет Ганс, — Рольфу Футтеркнехту — почти пятнадцать, вряд ли можно говорить о зависимом положении…

Гестаповец самодовольно улыбается:

— Фройляйн Шмитц?

И фройляйн Шмитц, слегка покраснев, усердно повторяет написанное:

— Футтеркнехт был моим непосредственным подчиненным в гитлерюгенде.

Ганс чувствует, что попался в ловушку, что его ударили по самому больному месту. «Почему?» — вот-вот спросит офицер, Ганс не раз задавал себе этот вопрос и в конце концов приходил к одному и тому же выводу.

Считал ли он Рольфа красивым? Он больше не знает. Быть может, его волновало восхищение на лице юноши, собственное отражение в этих широко раскрытых глазах.

— Ганс, ты мой идеал. Я хочу быть похожим

на тебя!

Конечно, Ганс чувствовал себя польщенным, однако польщенность не обдает жаром и холодом, как озноб. Польщенность не занимает все мысли и не сводит с ума.

— Прости меня, Рольф. Сейчас я сам не свой. Я не хотел тебя обидеть, мне просто нравится, когда ты рядом. Ужасно нравится.

Как ни крути, а это уже нельзя было считать простой польщенностью.

Теперь следователю предстоит по кирпичику воссоздать случившееся, что он и делает, причем с удовольствием. В его записях черным по белому написана история, которая осталась в жизни Ганса клубком воспоминаний и чувств. Целый год от Пасхи до Пасхи, от весны до весны, одна долгая весна, а затем — конец. Никто никого не бросал, просто в один прекрасный день Ганс понимает, что Рольф скорее терпит его дружбу, чем отвечает взаимностью. Другие чувства уходят, и остается только стыд. Они общались с остальными юношами из отряда, но друг к другу относились холодно и равнодушно — так было легче пережить разрыв.

Сейчас офицер зачитывает признание — или обвинение? — Рольфа. Ганс должен подтвердить

его или опровергнуть, но не опровергает: зачем называть Рольфа лжецом, если каждое слово — правда? Следователь изучает под микроскопом каждый поцелуй, которым они обменялись в темноте палатки или дома после ухода родителей, каждое нежное слово, каждое прикосновение под резинкой тренировочных брюк… Было ли достигнуто сексуальное удовлетворение, была ли эякуляция? Вот что интересует его больше всего. Каждый отдельный раз он уточняет, получал ли Ганс удовлетворение, потому что это и есть настоящее преступление. Всегда есть совратитель и совращенный, так должно быть в национал-социалистическом государстве.

— Да, я каждый раз выступал инициатором сексуального контакта.

— Да, я испытывал вожделение.

— Да, я делал это из любви.

Снова и снова «да».

Когда следователь хочет проявить особую жестокость, он коротко поднимает руку и просит фройляйн Шмитц зачитать последний фрагмент стенограммы — из уст пожилой дамы он звучит еще постыднее. Однако Ганс не ломается, напротив, монотонность собственных ответов успокаивает, в какой-то момент он снова откидывается

на спинку стула и спокойно вдыхает и выдыхает в перерыве между показаниями. Худшее позади, и от повторения хуже не станет. В голове всплывает отрывок из Священного Писания, где говорится о любви, которая долготерпелива и милосердна, не завидует и не превозносится, не гордится и не ведет себя непристойно — никогда не ведет себя непристойно.

Эрнст Реден, один из основателей Молодежного движения от первого ноября тысяча девятьсот двадцать девятого года, не скрывает, что ему нравятся мальчики. Эрнст охотно общается с влюбленной в него Инге: ему нравится ее искреннее восхищение. А вот Стефан Георге, например, окружал себя исключительно юношами, вдохновляясь их красотой при написании величайших стихов. Эрнст тоже пишет стихи, порой они с Гансом дают почитать друг другу свои произведения и допоздна обсуждают их за бесчисленными кружками черного чая и множеством сигарет.

— Должно быть, Стефан Георге поступал так же, — говорит Эрнст, — но, конечно, его юноши были прекраснее тебя.

Поэтому Ганс не слишком удивился, когда однажды Вернер шепотом рассказал о том, что Эрнст пытался с ним сделать. Тем не менее он резко

отчитал брата:

— Ничего не желаю об этом знать!

Такова реальность: пока никто ничего не знает, возможно все. Пока Рольф не рассказывает о случившемся гестапо. Но, быть может, следователи вытащили из него признание в ходе кропотливой работы — половину жителей Ульма рассматривали под микроскопом, искали доказательства участия в «подрывной деятельности». Рольфа наверняка арестовали, совсем как и Инге, Софи и Вернера. Вдруг и Вернер настучал на Эрнста? Эрнст — тоже кандидат на офицерскую должность. Что значит «тоже»? Будущее Ганса теряется в шелесте бумаги, стуке пишущей машинки и его собственном вечном «да». Интересно, разрешат ли ему вообще вернуться в вермахт? Впрочем, ничего не поделаешь.

В конце больше всего мучений испытывает бедная фройляйн Шмитц — она становится пунцовой, оскорбленная в лучших чувствах, но мужественно держится, печатает и покорно повторяет каждую услышанную непристойность. Не будь ситуация столь страшной, Ганс бы рассмеялся. Следователь пролистывает документы до конца, поправляет очки и снова смотрит на обвиняемого, который почти расслабленно сидит

на стуле. Лицо его ничего не выражает, и только нервно подрагивающие пальцы выдают боль.

— Это серьезные обвинения, — говорит следователь. — Очень серьезные. До десяти лет лишения свободы.

— Знаю, — отвечает Ганс.

— Оно того стоило?

Ганс пожимает плечами.

Его отводят обратно в камеру. Посреди коридора он чувствует слабость в коленях и спотыкается, но быстро овладевает собой. На двери камеры по-прежнему написано «Юноши». Остается надеяться, что это ему как-нибудь поможет.

Сейчас ранний полдень, однако на столе уже стоит ужин и кувшин с водой. Только теперь Ганс понимает, как сильно хочет пить, он бросается к столу и пьет прямиком из кувшина, не обращая внимания на то, что половина течет мимо. Он чувствует, как его тело поглощает жидкость, как влага поднимается к глазам. Из всех последствий, которые повлечет за собой грядущее судебное разбирательство, самым страшным вдруг кажется то, что мама обо всем узнает. Его дорогая верующая мама. Смотри на Иисуса Христа, молись Богу. Он столько молился, но это не помешало ему влюбиться в юношу, а произнесенные после сло-

ва покаяния казались неискренними. Неужели его вера была недостаточно сильна? Эта мысль лишает последних сил. Ганс падает на койку и сразу же засыпает.

Тогда Лиза впервые является ему во сне. Подобно Деве Марии, олицетворяющей абсолютную чистоту, парит перед ним, безмолвно закрывая собой болезненные воспоминания. Лиза — подруга Софи, она очень хорошенькая, симпатичная и по уши влюблена в Ганса, однако Ганс никогда не обращал на Лизу внимания, ведь она намного младше. Однако теперь Лиза становится его заступницей. Почему именно Лиза? Ганс не знает, но, проснувшись посреди ночи, он полон решимости снова увидеть ее. Она пресечет влечение на корню одной лишь своей невинной юностью, по крайней мере так думает Ганс. Мать не должна в нем разочароваться, только не снова. Ганс встает с койки и, раскрошив хлеб — все равно он не сможет его съесть, — крошками выкладывает на столе имя Лизы, как тайное благословение. Господи, убереги меня от всякой любви, если она не будет такой же чистой, как любовь к Лизе.

Примерно две недели спустя Ганса освобождают: в дело вмешиваются родители, а также его командир. На судебном процессе, который

проходит в июне, собираются почти все парни из отряда. Ганс смотрит Рольфу в лицо и чувствует, как в груди у него что-то вспыхивает, не столько чувства, сколько воспоминание о чувствах, и заставляет себя думать о Лизе. Рольф тем временем уставился в пол и невозможно сказать, о чем он думает, возможно, его мучает совесть, по крайней мере Ганс на это надеется. Как он и предполагал, Эрнст — один из обвиняемых, а Вернер — один из свидетелей. Во время процесса говорят только судьи и адвокаты, подсудимые и свидетели отвечают односложно, в основном «да» или «нет», гораздо чаще «да». Родители тоже пришли, мать сидит впереди. Ганс просил ее сохранить все в тайне, по крайней мере от Лизерль и Софи. Однажды Инге придется узнать о случившемся, по крайней мере из-за Эрнста. Они собирались пожениться. Интересно, что теперь станет с их планами? Для Инге будет лучше забыть его. Наверное, и для Лизы будет лучше забыть Ганса, однако сейчас он нуждается в ней, нуждается в мыслях о ней, нуждается в ее лице рафаэлевской мадонны.

В конце слушания прокурор один за другим перечисляет все прегрешения Ганса. Было бы и вполовину не так плохо, если бы в зале не сидела

мама, мама со своим крестиком на шее. Прокурор заканчивает, и вместо десяти лет Гансу грозит четырнадцать месяцев тюрьмы, милостиво округленных до года. Потом судьи удаляются на совещание. Они совещаются сорок пять минут, в течение которых в зале суда стоит почти полная тишина. Ганс торопливо проходит мимо родителей в коридор, чтобы никто не видел, как он вытирает глаза. Думай о Лизе, и все будет хорошо. Наконец судьи возвращаются и объявляют свой окончательный вердикт: из-за юности Ганса и доказанного факта дружбы между ним и Рольфом обвинение в использовании зависимого положения снимается. Обвинение в противоестественных сексуальных действиях остается, однако ввиду давности преступления и чистосердечного раскаяния подсудимого суд счел, что наказание, превышающее один месяц тюремного заключения, не представляется необходимым. В соответствии с законом об амнистии от тридцатого апреля тысяча девятьсот тридцать восьмого года граждане, осужденные на срок не более одного месяца, освобождаются от наказания. Тем самым судебный процесс над обвиняемым Гансом Шоллем можно считать закрытым.

Потом слушается дело Эрнста, ему дают три

месяца, «Хайль Гитлер!» — и судебное разбирательство завершается.

Ганс воспринимает все происходящее отстраненно, словно во сне. Его спасла аннексия Австрии, подтолкнувшая Гитлера к этому акту доброй воли — закону об амнистии. Теперь Ганс свободный человек. Он встает, подходит к родителям, обнимает сначала мать, потом отца, все вокруг расплывается и кружится, как будто он сильно пьян. Ганс свободный человек, но он вовсе не чувствует себя свободным, он никогда больше не почувствует себя свободным, по крайней мере в этом государстве.

Осень 1942 года

Дождь стучит по брезенту, которым неплотно накрыт вагон для перевозки скота. Солдаты сбиваются поплотнее, освобождая место для стекающих на пол струек воды, еще несколько дней такой сырости — и все покроется плесенью. Впрочем, солдат это не волнует, как не волнуют блохи, вши и чесотка. Они больше не чувствуют ни зуда, ни проникающего снаружи холода, ни царящей внутри духоты — они не чувствуют ничего, потому что в головах у них крутится только одна мысль: «Домой! Мы едем домой!» По крайней мере, у большинства из них.

Алекс пытается встать, ему приходится хвататься за стену, чтобы не упасть — ноги затекли от долгого сидения на полу, поезд трясется. В брезенте над головой есть дыра, Алекс тянется к ней, пытаясь что-нибудь разглядеть, но не видит ничего, кроме полоски свинцового неба.

«Как бы то ни было, это полоска моего неба, — думает Алекс, — моего русского неба!»

Вокруг звучат веселые солдатские песни о цветах, которые цветут только на родине, и

о девушках, которые там ждут. Алекс втягивает носом русский воздух, и на него ударом под дых обрушивается ощущение утраты. Он опускается на колени и, свернувшись калачиком, садится между остальными, поезд едет медленно и вместе с тем — слишком быстро, удаляясь от места, которое Алекс называет родиной.

«Навсегда, — думает он, — на этот раз я уезжаю навсегда!»

Эта бесповоротность давит на сердце и вместе с тем удивляет. Недавно ему исполнилось двадцать пять — всего двадцать пять, четверть века! Зачем говорить о бесповоротности, когда впереди вся жизнь? Ни одна война не будет длиться вечно. В один прекрасный день Алекс сможет вернуться… однако он твердо уверен в том, что потерял свою Россию навсегда. Он больше никогда не увидит ее, свою Россию. Сквозь дырки в брезенте капает дождь, словно небо над головой печалится вместе с ним.

Далек обратный путь на Родину,
Как же он далек, как далек!
Каждый храбрый рядовой
Втайне тоскует по тебе.
Далек обратный путь на Родину,

Как же он далек, как далек!

Нелли он тоже больше не видел. Как только болезнь немного отступила, Алекса, как и всех остальных врачей, перебросили к линии фронта. Там на операционных столах лежали солдаты, пострадавшие от разрыва мин или подстреленные в засадах, там далекие раскаты Гжатска казались нескончаемым громом. Именно тогда они, запертые в бункере, как животные в стойлах, в полной мере вкусили солдатскую жизнь. Алекс радовался слабости, оставшейся после болезни. Он быстро засыпал и видел сны — не о преследованиях и арестах, а о матери. Он снова слышал, как она играет на фортепиано «Калинку», слышал ее ясный, умолкший более двадцати лет назад голос. Порой эти сны безжалостно прерывались чудовищным грохотом бомб или снарядов, которые падали неподалеку от бункера, вырывая Алекса из материнских объятий. Другие солдаты только вздыхали и переворачивались на другой бок, но Алекс долго потом лежал без сна, думая, что бы случилось, приди он тем утром на опушку леса, как и обещал. Что бы случилось, если бы из мюнхенского студента-медика Алекса превратился в русского партизана Сашу.

Поезд медленно-медленно продвигается вперед

по покореженным рельсам, сокрушительная боль утраты медленно-медленно переходит в легкую тошноту, неприятную, но терпимую. Алекс выпрямляется и лезет в карман брюк, проверяя маленький клочок бумаги, на котором записал адрес Нелли. Там ли она сейчас? Ганс говорит, что нигде не смог ее отыскать, Алекс же не успел отправиться на поиски самостоятельно. По крайней мере, Валя по-прежнему живет по этому адресу, она перешлет письма Нелли или сохранит их до ее возвращения. Непременно нужно ей написать, да поскорее. Алекс должен объяснить, что произошло, что он подвел ее не из трусости. Но в первую очередь он должен объяснить это себе. Каждый студент-медик знает, что дифтерия — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией, а бактерии не поддаются никакому душевному состоянию, их нельзя призвать или побороть силой воли, они незаметно проникают в организм и вызывают заболевание тогда, когда сами захотят.

Саша, ты ни в чем не виноват! Это невезение, неудачное стечение обстоятельств, если бы не дифтерия, ты бы ушел с Нелли и остался бы там, где твое место!

Если Алекс будет повторять это снова и снова,

если напишет о случившемся Нелли, то в конце концов и сам поверит. Зажатый между пальцами клочок бумаги с адресом Нелли придает сил, и Алекс понимает, что за все время пребывания в России не написал Ангелике ни единого письма.

— Все в порядке? — неожиданно спрашивает Вилли.

Он сидит напротив Алекса с тех пор, как роту погрузили в вагон для скота, и беседует с Гансом, однако из-за шума вокруг Алекс не слышит ни слова из этой беседы. Он и не хочет ничего слышать, потому что уверен: они снова говорят о Германии.

— Да, пойдет, — отвечает Алекс и, чтобы окончательно успокоить Вилли, даже пытается выдавить улыбку.

— Ты очень бледный, — говорит Вилли. — Даже при плохом освещении видно. Белый, как известь.

Алекса трогает эта забота, но больше раздражает: сейчас ему хочется побыть наедине со своими мыслями, наедине со своими русскими мыслями.

— Все хорошо, — отрезает он, — просто меня подташнивает.

Вилли удивленно вскидывает брови:

— Повтори-ка!

— Что повторить? Что меня тошнит?

Вилли подталкивает локтем стоящего рядом Ганса:

— Ты тоже это слышишь?

— Что он должен услышать?

Ганс пристально смотрит на Алекса и немного щурится, словно прислушиваясь.

— Что происходит, что он должен услышать? — снова спрашивает Алекс.

Ганс широко улыбается.

— Ты говоришь с акцентом, Алекс, — говорит он, — с русским акцентом.

— Ерунда! — возмущается Алекс, однако теперь он и сам слышит, как раскатисто звучит его «р».

— Ничего не ерунда, акцент и правда есть, но очень легкий, — подтверждает Вилли, и Алекс, несмотря на слабость в животе, тоже улыбается.

Можно увезти русского из России, но не Россию из русского, на этот раз я заберу родину с собой, больше ее у меня не отнимут.

Далек обратный путь на Родину,
Как же он далек, как далек!

После гжатских музыкальных вечеров немец-

кие марши кажутся особенно грубыми. Интересно, что бы ответил на это суждение профессор Хубер, великий знаток и заядлый собиратель немецких народных песен? Впрочем, так называемые солдатские песни, которые разучивают в гитлерюгенде, ему тоже не по вкусу — мол, в них нет ни малейшего намека на народность, только пустой немецкий национализм. Только шум.

— До чего же хочется послушать Баха, — вздыхает Вилли, — я устал от бесконечных завываний о порохе и ждущих невестах.

— Наконец-то мы снова пойдем на концерты! — восторгается Ганс. — Снова услышим Брамса и Бетховена!

Алекс пытается вспомнить, каково это — сидеть в концертном зале, увлеченным и ошеломленным глубинами чувственности, которые могут раскрыть нескольких удачно подобранных нот, но у него не получается: все оркестры и залы кажутся чем-то далеким. Даже любимый Бетховен теперь кажется слишком чуждым, чтобы его сочинения могли тронуть. И виновата во всем Вера со своей балалайкой! Вот что такое музыка! Чайковский, может быть, еще сгодится.

Пока Ганс и Вилли поют хорал Баха как музыкальный акт сопротивления, Алекс закрывает

глаза и через некоторое время слышит только игру на фортепиано и мамин голос: «Калинка, калинка, калинка моя…»

Когда он просыпается, в вагоне уже темно. Дождь прекратился, ветер тихонько завывает в щели, солдаты громко храпят во сне. Те немногие, кому не спится, рьяно играют в карты, от них то и дело доносится бранное словечко или сдержанный смех. Вилли спит, уронив голову на колени, видно только его макушку. Рядом сидит Ганс и курит сигарету, сна ни в одном глазу. Алекс вспоминает, как на пути в Россию его самого мучила бессонница. Сейчас она мучает Ганса, ситуация повторяется, только один из них возвращается домой, другой — на чужбину. Интересно, думает Алекс, нашли бы они с Гансом путь друг к другу, если бы жили в другие времена?

— Мы должны действовать совершенно иначе, — лихорадочно бормочет Ганс.

Алекс молчит, он предпочел бы закрыть глаза и вернуться ко сну.

— Мы ошибались, когда думали, что к переменам приведут мыслители, — говорит Ганс. — Интеллектуалы, пф-ф-ф. Пусть рыбак Дмитрий нигде не учился, но он понимает о добре и зле больше многих людей, мнящих себя образованными.

Люди, Алекс. Толпы. Чтобы до них достучаться, нужно говорить на понятном им языке. Для обращения к людям нужно найти слова.

— Ш-ш-ш, — шипит Алекс.

С одной стороны, он опасается, что кто-нибудь их подслушает и сделает свои выводы, а с другой — не хочет ничего больше слышать о Германии. Он пытается представить, что бы случилось, если бы сейчас Ганс впервые показал ему свои антигосударственные записи. Как бы он поступил? Стал бы снова рисковать всем ради свободы страны, с которой никак не связан? Если и умирать за свободу страны, то только за Россию!

Ганс неожиданно послушно замолкает и курит, неподвижно сидя в темноте с выпрямленной спиной. Алекс смотрит на него, пока у него не закрываются глаза, пока в ушах снова не звучит «Калинка».

В Варшаве студенческая рота пересаживается из вагона с дырявой брезентовой крышей в поезд отпускников, полный военнослужащих вермахта, скоро они впервые за несколько месяцев увидят своих родителей, жен, детей, становится еще шумнее, звучит еще больше песен. Алекс сидит плечом к плечу с незнакомцами, но его душа и мысли бесконечно далеко. Он думает

о Нелли, видит во сне мать, и в полудреме, между сном и явью, они сливаются воедино. Если ему и суждено погибнуть, то только ради них!

Вдруг он видит перед собой дорогое сердцу лицо отца, видит улыбающуюся *Njanja*, которая готовит чай, видит брата, сестру и даже Элизабет, видит Лило, Кристеля и Софи, и тогда он действительно чувствует что-то похожее на… нет, не тоску по дому и не радостное предвкушение, но по крайней мере что-то, что притупляет боль. Он открывает глаза и начинает болтать с соседом, просто чтобы услышать собственное произношение, раскатистое «р», твердое «х», их он может взять с собой, только их.

В Мюнхен они прибывают холодным дождливым утром. После долгого сидения в тесном вагоне все радостно расходятся, хлынув в разные стороны, превращаясь из солдат в простых людей. Алекса охватывает нетерпение, ему кажется, что он движется слишком медленно. Не в силах больше ждать, он срывает с себя кепку и подставляет дождю вспотевшие немытые волосы. Он бы с удовольствием разделся до белья прямо здесь, избавился бы от вонючей солдатской формы и вернулся к гражданской жизни! К жизни!

Пока остальные солдаты пятиконечной звез-

дой разбегаются в разные стороны, Ганс стоит на перроне и изучает расписание поездов. Перед отъездом в Россию ему пришлось отказаться от своей студенческой комнаты, он сделал это с тяжелым сердцем, но экономия была весьма значительной. Скорее всего, теперь он смотрит расписание ближайшего поезда в Ульм.

Алекс сопротивляется желанию уйти, как сделали все остальные, долгожданная свобода так и манит. Порой дружба требует некоторых жертв. Алекс надевает на голову промокшую кепку, подходит к Гансу и примирительно кладет руку ему на плечо. Примирительно? Почему, собственно, примирительно, они ведь и не ссорились вовсе, ссора ограничилась предостерегающим «ш-ш-ш». Однако теперь, когда они вернулись сюда, в «столицу движения», этот жест кажется Алексу необходимым шагом навстречу. Он отчетливо понимает, что поступил бы так же, если бы сейчас Ганс стоял перед ним со своими опасными листовками.

— Ни один порядочный железнодорожник не пустит тебя в таком виде в вагон, — со смехом говорит он, — пойдем со мной, примешь у меня ванну!

Ганс с облегчением кивает и следует за ним.

Осень 1942 года

Гжатск и Ульм, война и детство — сложно представить два более разных места, однако теперь они кажутся похожими. Сестры выглядят бледными и раздраженными, как измученные солдаты, и Ганс постоянно боится спровоцировать взрыв необдуманным словом или поступком.

Отца и правда освободили из тюрьмы всего через восемь недель заключения — за примерное поведение, но теперь ясно, что лицензии налогового аудитора он лишится. Национал-социалистический союз юристов не нуждается в таком человеке, а без членства в союзе работы не найти, разве только простым бухгалтером, но бухгалтером много не заработаешь. Поэтому отец всегда в плохом настроении и срывается на Инге, которая и так завалена бумажной работой.

— Да что вы понимаете! Легко говорить громкие слова, сидя в Мюнхене! — возмущается Инге, когда Ганс утверждает, что нужно воспринимать исключение отца из союза как честь, что ни один порядочный человек не должен состоять в национал-социалистической организации. «Вы»

— говорит Инге, потому что сейчас Софи для нее как бельмо на глазу. Инге считает, что сестра работает недостаточно усердно.

— Все всегда на мне, — вздыхает Инге, — все всегда ложится на старшего.

Конечно, она несправедлива по отношению к Софи, да и к Лизерль, которая взяла отпуск на своей работе в Тюбингене, тоже. Теперь они обе разрываются между работой и домашним хозяйством, совсем как и Инге. Мамино состояние ухудшилось. Она лежит в постели совершенно без сил. Софи и Лизерль по очереди приносят чай и суп, порой заглядывает Ганс и дает врачебные советы: много пить, много спать, много отдыхать.

«Много отдыхать». Он и сам знает, насколько глупо это звучит в такие времена, как сейчас, но в голову не приходит ничего лучше.

— Молись, дорогая матушка, молись побольше. Лизерль, будь добра, почитай маме что-нибудь из Библии!

— Очень сомневаюсь, что в следующем семестре смогу вернуться к учебе, — иногда грустно вздыхает Софи, выходя из спальни матери, и Ганс тогда отвечает:

— Союзники уже в Северной Африке, долго

ждать не придется. Потом отец снова сможет нормально работать, мама поправится. До тех пор денег нам хватит, как-нибудь проживем.

Софи улыбается, но Ганс видит, что она не верит. Софи постоянно нервничает и курит еще больше прежнего.

Для Софи лето было сплошной чередой неудач, начавшихся еще на вокзале. Проводив поезд в Россию, Софи направилась к их с Трауте велосипеду, но его нигде не было. Кто-то украл велосипед, пока она, прощаясь, стояла у ограды. Пришлось признаться в этом Трауте. К счастью, злилась Трауте недолго, и потом они вместе отправились к Гансу домой, чтобы убраться. Сам он перед отъездом не успел. Софи рассердилась на старшего брата за то, что он повсюду оставил конверты и почтовые марки. В ящике стола даже лежали листовки! К счастью, на них наткнулись они с Трауте. Страшно представить, что бы произошло, если бы их обнаружил кто-то другой.

Несколькими днями позже Софи отправилась в Ульм — исполнять трудовую повинность на местном военном заводе. Там ей с утра до вечера приходилось стоять на конвейере и вкручивать шурупы, как дрессированной обезьянке, каждый день одно и то же. Работницы завода смеялись

над студентками:

— Ты, может, и читала Шопенгауэра, но стоит немного поработать — и уже валишься с ног?

Конечно, Софи не опускала руки — она помнила о листовках. «Оказывайте пассивное сопротивление, где бы вы ни находились», и теперь в хорошо смазанном немецком механизме будет несколько незакрученных винтиков. Подневольным работницам из России и Польши — некоторые из них были еще совсем детьми — приходилось куда хуже, чем студенткам. Софи хотелось закричать каждый раз, когда одну из этих бедных девушек били без всякой причины. Вместо этого она просто стискивала зубы и думала об обеденном перерыве.

— Я же обещала продолжить наше дело, — объясняет она Гансу. — Если не в Мюнхене, то в Ульме.

Поэтому она частенько обедала со старыми друзьями. Хорошими друзьями, надежными друзьями. Конечно, Софи не могла рассказать им подробности, но было очевидно, что она ищет соратников для тайной организации сопротивления. Одному из этих друзей — еще школьнику, которому только исполнилось восемнадцать, но очень восторженному и готовому на все, — Со-

фи передала часть присланных Францем денег. Юноша купил гектограф, но утопил его в Дунае. Потом он, заикаясь, сказал, что хотел помочь — и поможет! — но страх оказался слишком велик.

Софи не понаслышке знает, что такое страх, поэтому сердилась недолго. Страх неотступно преследовал ее все лето — страх за жениха, за родителей, за находившихся в России братьев и, конечно, за Шурика. Известие о смерти Эрнста Редена невероятно огорчило и разозлило ее, но ни гнев, ни горе не смогли подавить проклятый страх.

К тому же осенний авианалет на Мюнхен оставил свой след не только в городе, но и в душе Софи. Комнаты, в которой она прожила несколько дней, став студенткой, больше не существует. В доме никого не было, когда зажигательная бомба пробила крышу, теолог и его семья не пострадали, но на следующий день Софи стояла перед грудой обломков, где нечего было разбирать, и тряслась от страха, которого никогда прежде не испытывала.

От страха не проснуться после ночной бомбардировки.

От страха быть уличенной в предательстве.

От страха быть уличенной слишком рано, до

того как они чего-нибудь добьются, до того как «Белая роза» расцветет в полную силу.

Постоянный страх — вот что делает Софи такой раздражительной и уязвимой к сетованиям Инге и укоризненным взглядам Лизерль. Ганс частенько вспоминает Россию, вернее последние недели в бункере: атмосфера как перед прорывом фронта, воздух звенит от напряжения, кажется, будто вот-вот начнется лагерная лихорадка.

«Если бы только Вернер был здесь, — думает Ганс, — его спокойный нрав пошел бы на пользу всем нам». Но Вернер все еще на войне и вернется не раньше Нового года.

Зато приехал Алекс — чтобы поддержать Ганса, но в первую очередь — чтобы расширить круг сопротивления. Дома Алекс пробыл недолго, там он по обыкновению продолжал ругаться с Элизабет, но настоящей неожиданностью стало то, что теперь он серьезно поссорился с отцом, возможно впервые в жизни. Повод был пустяковым, по крайней мере по мнению Ганса, однако для Алекса вопрос имел национальное значение. Алекс видел бедные крестьянские избы, ветхие лачуги, в которых живут русские — настоящие русские! — и теперь уютный особняк, украшенный вязаными салфетками и коврами, кажется

ему оскорблением. Отец спросил, не заделался ли Алекс коммунистом, ценит ли жизнь, которую они с Элизабет построили для него здесь, в Германии? Ради него — него! — они решились на побег, полный опасностей, сделали все, чтобы дать ему хорошую жизнь, и вот его благодарность?!

— Разве я просил о такой жизни? — выкрикнул Алекс, разумеется по-русски, со своими он больше не говорит на другом языке, а потом выбежал из дома и с тех пор не возвращался.

По словам Алекса, лучше бродяжничать по ночам в компании опустившихся пропойц, лучше курить и пить, чем хотя бы час пролежать в слишком мягкой постели!

Бродяжничать, пить и курить — все это Ганс и сам может ему предложить, и вот они оба в Ульме, оба в некоторой мере бездомные.

Здесь Алекс становится для Ганса опорой, но еще большей опорой он становится для его сестер. Алекс всегда обладал определенной привлекательностью, а теперь, вернувшись из России, еще больше притягивает своей экзотичностью. Поздно вечером, когда Инге наконец заканчивает бумажную работу, а Лизерль вместе с матерью совершают ночную молитву, все пятеро собираются на мансарде, в бывшей детской, и Алекс

играет на старой гитаре Ганса красивые русские песни. Ганс уже знает все слова наизусть, а сестры его слушают пение с восторженным видом, на припеве одной из песен Софи начинает громко подпевать, и остальные смотрят на нее с удивлением.

— Этой песне меня научили русские девушки на заводе, — объясняет Софи. — Они такие славные и даже не понимают, как несправедливо с ними обращаются. Когда бригадир на них кричит, они просто смеются. Что им остается? А еще они поют. Поют при любой возможности.

Инге и Лизерль уходят поздно. Иногда часы показывают далеко за полночь, когда они, сонно покачиваясь, спускаются в свою комнату. Софи остается до утра, с заспанными и покрасневшими глазами обсуждая происходящее. Пополнить свои ряды, привлечь на свою сторону как можно больше людей — Софи успела прийти к тому же мнению, что и Ганс, и предложение Вилли поехать навестить своих друзей в Сааре вызывает у нее волну энтузиазма.

— Я снова переговорю с местными жителями, — говорит она, затягиваясь сигаретой, — они нас поддержат. Когда дело касается каждого, то любой даже самый большой страх можно пре-

одолеть.

— А как же Берлин? — внезапно спрашивает Алекс.

Ганс округляет глаза от удивления:

— У тебя есть друзья в Берлине, и ты говоришь об этом только сейчас?

— Не у меня, — отвечает Алекс, — у Лило. Она думает, что могла бы связаться с человеком по имени… Харнак, его зовут Фальк Харнак. Лило не в восторге от моей идеи, говорит, у нее нехорошее предчувствие, но ради меня она сделает все, что необходимо. Брат Харнака в тюрьме. Он занимался шпионажем в военных кругах и передавал русским важную информацию, по крайней мере в этом его обвиняют. К сожалению, большее мне не известно, но Лило считает, что Фальку Харнаку можно доверять. — Немного помолчав, Алекс добавляет: — Кажется, когда-то она была с ним помолвлена.

— Тебя это не смущает? — спрашивает Софи, и Ганс невольно улыбается.

— Лило задала мне тот же вопрос, — отвечает Алекс. — Ума не приложу почему.

— Харнак, — повторяет Ганс, возвращаясь к теме. — Военные круги — это прекрасно, Берлин — тоже, что нам нужно делать?

— Достаточно одного звонка, — отвечает Алекс. — Вернее, двух: я звоню Лило, а она звонит Харнаку. Кажется, сейчас он в Хемнице.

— Хемниц, — задумчиво повторяет Ганс. — Хорошо. Что еще у нас есть?

— Гамбург, — отвечает Софи. — Трауте оттуда родом, и у нее столько знакомых…

Ночь за ночью плетутся сети, которые вскоре затянутся на шеях преступной правящей клики, и когда они сидят вот так, втроем, предаваясь размышлениям о будущем, поглощая чай и табак, чтобы оставаться бодрыми, Ганс практически видит эту картину у себя в голове. Он снова идет в маршевой колонне, снова впереди всех, он предпочел бы пропустить этап планирования со всеми его опасностями и трудностями и оказаться сразу там, в будущем. Когда-то отец был мэром. Сколько всего сможет добиться сам Ганс, когда будет побежден этот проклятый фашизм…

— Нам нужны деньги, — говорит Софи, — больше денег.

— Я могу добавить еще, — отвечает Алекс.

Софи качает головой:

— На этот раз твоих карманных денег будет недостаточно. Мы ведь решили, что теперь нам нужно несколько тысяч листовок. Это означает

несколько тысяч листов бумаги, несколько тысяч конвертов и марок. И новый большой гектограф — такой, с ручкой. А лучше несколько. Если мы хотим достучаться до тысяч людей, то нужно печатать листовки в огромном количестве.

— Я попрошу Гриммингера помочь с деньгами, — говорит Ганс. — Думаю, он будет на нашей стороне. Ойген Гриммингер — налоговый аудитор, как и отец, и его представитель в Бюро доверительного управления, теперь уже не временно, потому что отец не сможет вернуться на свою старую должность. Отец и Гриммингер знают друг друга целую вечность, и Гриммингер всегда оказывался рядом, когда наша семья попадала в неприятности, — поясняет Ганс. — Как ты, наверное, уже и сам понял, мы чаще других попадаем в неприятности.

Алекс смеется:

— Это ваша особенность!

Гриммингер — человек от природы отзывчивый, он всегда готов протянуть руку помощи, но сейчас это в его же политических интересах: жена Гриммингера — еврейка.

Последние несколько дней Гриммингер частенько приходил к Шоллям, чтобы обсудить рабочие вопросы, и Ганс неоднократно вовлекал

его в безобидные разговоры. Ему показалось, что Гриммингер — убежденный пацифист, но он слишком долго жил при диктатуре, чтобы от него можно было добиться чего-то конкретного. Вдобавок ко всему рядом всегда сидит отец, и смотрит он мрачно и недоверчиво. Отец только что вышел из заключения и теперь держит ухо востро. Ганс не хочет впутывать и его.

— Думаю, лучше поговорить с Гриммингером у него дома, в Штутгарте, — говорит Ганс. — Такие вещи не обсуждаются на ходу. По дороге можно заглянуть к Негелям. Они друзья семьи, надежные люди с моральными принципами. Их дочка Роза когда-то была влюблена в меня по уши!

Софи хочет поехать с ними, но Инге решительно возражает. Мол, одно дело — Алекс с Гансом, которые только что вернулись с войны, они заслужили небольшую «увеселительную поездку». Но не Софи. Поэтому Софи остается дома и моет посуду так раздраженно и нервно, что разбивает две чашки за вечер.

Из Штутгарта Алекс и Ганс возвращаются с хорошими и плохими новостями. Хорошая: Гриммингер не сказал «нет», плохая — он также не сказал «да». Просто пробормотал, что должен тщательно все обдумать, учитывая их с женой

положение. Однажды он уже потерял работу из-за «еврейского родства», он находится под подозрением. А тюремное заключение, пусть даже и на короткий срок, может погубить его жену. Если он, арийский супруг, будет осужден, то жена лишится всех привилегий, и Ганс знает, что это означает. Да, Гриммингер не раз подчеркивал, что с радостью поможет Шоллям в любое время, в том числе и материально, но сейчас Ганс просит деньги не на аренду и не на оплату обучения. Ганс и сам должен все понимать.

Другой визит оказался еще менее удачным.

— И слышать не хочу, — отрезал старший брат Розы и добавил, что это слишком опасно, более того — совершенно бессмысленно. Можно подумать, на Гитлера произведут впечатление несколько красивых слов. Ганс, конечно, горячо запротестовал, но, по правде говоря, такие мысли часто приходили ему в голову. Что делать, если слов окажется недостаточно? Что тогда? Впрочем, он быстро отбрасывал эту мысль в сторону, как отбрасывал все неприятные мысли: ему не до осенней тоски. Проигранная битва — это не проигранная война, и чужие сомнения только подстегивают Ганса сильнее. Вот увидите, вы все увидите! А завтра мы поедем в Хемниц к этому

Харнаку, он поможет!

На протяжении всей поездки Алекс был довольно молчалив. Если он и говорил, то исключительно с дамами. Например, долго беседовал с Розой, снова превратившись в общительного русского парня, Роза от души смеялась, но о политике они не сказали ни слова.

Ганс злился: не то чтобы Роза для него что-то значила, совсем наоборот, однако его безмерно беспокоило то, что Алекс шутил с ней, а о важных вещах молчал.

Ганс невольно вспоминает время, когда они с Алексом могли молчать друг с другом. Все между ними было иначе, они всегда понимали друг друга. Теперь Ганс понятия не имеет, о чем Алекс думает. Наверное потому, что теперь он думает только по-русски.

— О чем ты сейчас думаешь, Алекс?

— Я? Ни о чем.

— А следовало бы, — отвечает Ганс немного резче, чем собирался. — Подумай о том, чего мы можем добиться, особенно сейчас, когда союзники так близко, подумай о свободе, подумай о будущем!

Но Алекс не отвечает.

Зима 1942 года

— Ну вот, — говорит Софи, положив на стол рождественский венок с четырьмя свечами, — теперь даже в разгар зимы у нас дома будет немного зелени.

Ганс считает, что рождественский венок слишком велик для маленького столика и что во время еды он будет мешаться, однако с улыбкой достает спички, чтобы зажечь свечку.

— Нет, надо дождаться воскресенья, — упрекает Софи, и Ганс думает, что ему нужно привыкнуть к жизни с женщиной.

Гансу пришлось использовать всю силу своего убеждения, чтобы увезти сестру из родительского дома. «Пусть Софи приезжает на выходные, — предложил он, — и помогает с домашними делами на каникулах, но сейчас ей нужно вернуться к учебе, особенно учитывая, сколько времени она потеряла из-за проклятой трудовой повинности». В конце концов согласилась даже Инге, и Софи позволили уехать.

Тогда Ганс приступил к поиску квартиры, где сможет жить вместе с сестрой. Как говорится,

сила любви растет пропорционально квадрату расстояния, и во время своего пребывания в России он часто думал о Софи. В воспоминаниях ее нравоучения и упреки казались не столько утомительными, сколько милыми, а строгость, с которой она относилась к важным для нее людям, — Ганс должен радоваться, что входит в их число, — заслуживала восхищения.

Чаще всего Ганс вспоминал сестру тогда, когда Алекс находился в компании своих русских. Обычно Ганс находился там вместе с ним, впрочем, «вместе» — не совсем верное слово, Ганс почти не понимал их разговоров, только отдельные слова и отрывки, которые переводил ему Алекс. В такие минуты Ганс думал о том, что всегда мог поговорить с Софи.

Еще он часто думал о Кристеле, ему не терпелось вернуться домой и возобновить их беседы о Боге, однако эта возможность неожиданно испарилась: Кристеля снова переводят, на этот раз в Инсбрук, в пустынную лощину между горами, куда почти не проникает дневной свет. Жене его скоро рожать, она в отчаянии. Кристель выглядел очень подавленным, когда они с Алексом и Гансом пили вино на прощание — снова прощание, сколько их еще будет, сколько можно вынести.

— Если все, что говорят о Сталинграде, правда, то я не знаю, что будет дальше, — вздохнул Кристель.

— Если все, что говорят о Сталинграде, правда, то война закончилась, и Россия празднует победу, — ответил Алекс.

Он говорил таким довольным тоном, что стало неприятно, хотя Ганс не желает России ничего, кроме победы. Но Фриц, жених Софи, сейчас находится под Сталинградом, как и множество других мужчин, молодых, моложе него самого, чьих-то сыновей — вот о чем, наверное, думает сейчас Кристель. О сыновьях. Если будущее кого-то и волнует, так это Кристеля. Ему, как никому другому, удается выразить словами надвигающееся безумие.

— Запиши это, — шепнул ему Ганс, когда они, прощаясь, обнялись в дверях. — Ни о чем не спрашивай, просто запиши все, что говорил. Ты лучше меня говоришь о чувствах.

— Мне не нужно ни о чем спрашивать, — ответил Кристель, — я знаю, что это вы пишете политические листовки.

Ганс удивленно отстранился:

— Алекс тебе сказал?!

Кристель покачал головой:

— Он ничего не говорил, но и тайны хранить не умеет. Его необдуманные высказывания… в итоге все очевидно. Я прекрасно знаю, что поставлено на карту. С одной стороны — моя жизнь, с другой — будущее моих детей.

Ганс воспринял его слова как согласие.

На следующий день Кристель уехал в Инсбрук, а Софи приехала из Ульма. Она пришла в восторг от маленькой квартирки, которую нашел для них Ганс: там две небольшие комнаты, соединенные гостиной, где стоит обеденный столик и висит полка с радиоприемником, который даже принимает Би-би-си, по крайней мере в определенные часы. Мама прислала электрическую плитку, рядом уже гудит самовар, а Софи испекла в хозяйской духовке пирог из всего, что еще можно достать по продовольственным карточкам.

— Наверняка получилось ужасно невкусно, — говорит она, — но я не виновата.

— А кто тогда виноват? — спрашивает Ганс.

— Гитлер. Как по мне, то пусть дефицит растет. Может, тогда люди наконец поймут, что происходит… Ах, уверена, большинство уже понимает.

В следующую секунду кто-то звонит в дверь.

«Наверное, это Алекс», — думает Ганс.

— Наверное, это Гизела! — восклицает Софи и

бежит к двери. Вскоре она возвращается в сопровождении светловолосой девушки. — Позволь представить тебе Гизелу Шертлинг, — говорит Софи, обращаясь к Гансу, а потом поворачивается к девушке: — Это мой старший брат Ганс. Ну, тот самый, о котором я столько рассказывала! — Софи подмигивает.

Гизела улыбается и застенчиво теребит пуговицу непромокаемого пальто, словно не зная, снять его или оставить.

— Надеюсь, вы слышали обо мне только хорошее, — говорит Ганс и помогает гостье снять пальто, тем самым принимая решение за нее. Гизела смотрит на него с благодарностью. Софи уходит, чтобы принести чай и пирог, а Ганс тем временем предлагает девушке сесть.

«Интересно, — думает он, — где Софи берет таких хорошеньких подруг?» Конечно, Гизела не такая юная и наивная, какой некогда была Лиза, но у нее такой же взгляд, такие же нежные руки, которые она сложила на коленях, как прилежная ученица воскресной школы. Интересно, Лиза рассказала Софи о его письмах? Должно быть, рассказала, а ведь Ганс даже не помнит, что в них писал. Неудивительно, что Лиза не ответила. Это были тяжелые, окутанные лихорадочным

туманом несколько дней и ночей, однако теперь он снова видит ясно. Теперь он видит Гизелу.

Софи возвращается с чаем и тарелкой, на которой лежит несколько кусочков пересохшего пирога — жир сейчас достать трудно.

Пока они едят, Ганс задает Гизеле разные вопросы, например, где она родилась (в небольшом городке Пёснек в Тюрингии) и что изучает (филологию). На самом деле ответы его не очень интересуют, но ему нравится слушать ее тихий высокий голосок, совсем не похожий на голос Трауте.

Софи рассказывает, что они с Гизелой познакомились позапрошлым летом, когда вместе отбывали трудовую повинность — разговорились во время полевых работ.

— Ты тоже не могла выносить унылого однообразия, да? — спрашивает Софи.

Гизела согласно кивает.

— По вечерам мы сбегали, — улыбаясь, продолжает Софи, — и шли в церковь, чтобы поиграть на органе в четыре руки, заняться чем-то полезным. Гизела виртуозно играет на органе.

— О, вовсе нет! — восклицает Гизела и смеется, похлопывая Софи по плечу, но Ганс смотрит ей прямо в глаза и говорит:

— Хотел бы я однажды услышать, как вы играете.

Гизела стыдливо опускает голову и снова складывает руки на коленях.

— Или сходить с вами на концерт, — продолжает Ганс, — скажем, на концерт органной музыки. Вы не можете ответить отказом.

Гизела улыбается:

— Посмотрим…

Ганс ждал Алекса весь день и тем не менее вздрагивает от неожиданности, когда в дверь снова звонят. Какая жалость, а ведь разговор с фройляйн Гизелой так удачно складывается…

— Сейчас я познакомлю вас со своим другом, — говорит Ганс, — он вам понравится, он настоящий русский.

— Русский? — повторяет Гизела и делает такое испуганное лицо, что Ганс не может не рассмеяться, а Софи укоризненно смотрит на подругу.

— Ах, Гизела, — строго говорит она, — ты сама знаешь, что нельзя верить пропаганде. Русские совсем не такие, какими их выставляют «Штюрмер» или «Фёлькишер Беобахтер». Разве остарбайтеры, которые повсеместно стоят у конвейеров и работают в полях, хоть немного похожи на чудовищ из газетных фельетонов и

карикатур? Вот видишь. Шурик тебе понравится. Он всем нравится.

Гизела виновато опускает глаза в чашку и, не жуя, проглатывает кусочек пирога.

Видимо, Алекс не ожидал увидеть здесь посторонних — он без утайки несет в руках пишущую машинку, которую снова одолжил у соседа. «Пятая листовка должна быть готова к тридцатому января, когда Гитлер будет отмечать десятилетие своего пребывания на посту рейхсканцлера», — говорил Ганс, преисполненный идей. Было решено, что на этот раз они напишут листовку в квартире Шоллей — там меньше людей. Кроме того, Алекс толком не помирился с отцом и потому предпочитает находиться где угодно, но только не дома.

Алекс замер, уставившись на незнакомую ему девушку.

— Добрый день, — говорит он, крепко прижимая к груди пишущую машинку.

— Хайль Гит… Добрый день, — отвечает Гизела, вежливо улыбаясь.

— Александр Шморель.

— Гизела Шертлинг, — представляется Гизела, но Алекс перебивает ее на последнем слоге:

— Эй, Ганс, — зовет он и пускается в сбивчивые

объяснения: — Я пришел потому, что… В общем, я принес машинку, чтобы… ну, знаешь… Студенческие дела и все такое…

Ох, Алекс, почему ты совсем не умеешь лгать?! Что будет, если за тебя возьмется гестапо? Раз мы говорим правду, то теперь должны как можно быстрее научиться лгать, такова жизнь.

— Спасибо, — бормочет Ганс, — спасибо.

— Не волнуйся, Шурик, — со смехом вмешивается Софи, — на Гизелу можно положиться. Правда, Гизела?

Гизела энергично кивает, как будто боится сделать что-то не так, боится реакции Софи.

— Вот-вот, — говорит Софи. — А теперь поставь машинку ко мне в комнату, Шурик. У Ганса вечно бардак, там нет места.

Алекс делает, как она велит, и остается на чашечку чая, но, как и в случае с Трауте, он чувствует, когда лишний. Вскоре, запинаясь, он говорит, что должен идти:

— Меня ждет Лило… Мы хотели поговорить о… эм-м-м… ну, ты знаешь…

Алекс вежливо благодарит за пирог, к которому даже не притронулся, и уходит.

Софи уходит заварить свежий чай и делает это ужасно долго. Ганс тем временем развлекает Ги-

зелу беседой. Он больше ни о чем не спрашивает, а рассказывает о себе, особенно о России — не об изъеденном червями солдате, конечно, а об игре на балалайке и о церковной музыке, и глаза Гизелы загораются.

Гизела уходит поздно, очень поздно, трижды она порывалась уйти и трижды Ганс уговаривал ее остаться, но потом, через некоторое время, ей это удается, Ганс набрасывает ей на плечи пальто и провожает до двери:

— Проводить вас домой?

— Нет, это совсем не обязательно, спасибо…

— Как скажете.

— Ну что ж…

— До скорой встречи, фройляйн Шертлинг.

— До скорой встречи, герр Шолль!

Гизела делает книксен, после, смутившись, неуверенно улыбается и уходит. Ганс смотрит ей вслед, пока она не скрывается за домами.

Он возвращается в квартиру и видит на пороге Софи, которая с гордым видом упирает руки в бока:

— Ну?

— Она миленькая.

Софи смеется:

— Просто «миленькая»? Она идеально тебе

подходит!

— Как скажешь.

— Серьезно, Ганс, — говорит Софи, на этот раз со свойственной ей строгостью. — Тебе нужна девушка.

Конечно, Лиза показала ей письма. Лиза обручена, а его письма — сбивчивые любовные письма с фронта. Но если вмешательство Софи проявляется в виде фройляйн Шертлинг, то Ганс не возражает. Он садится поудобнее и закуривает сигарету, а Софи уходит к себе в комнату и ставит пластинку в граммофон. Квартиру наполняют веселые переливы фортепиано, «Форель» Шуберта, жизнь могла бы быть прекрасной, невероятно прекрасной.

Зима 1942 года

С первым днем адвента приходят и лютые холода, хочется думать о пришествии Иисуса Христа, но не получается: сейчас не время для ожиданий. Когда Ганс пытается молиться, то в молитву каждый раз вмешивается что-нибудь постороннее — слова Томаса Манна, которые звучат из радиоприемника, новости о больших потерях под Сталинградом, мысли об ангельском личике фройляйн Шертлинг или о грядущей демократии (как и где ее будут формировать, в Берлине или все-таки в Мюнхене? отсюда было бы, конечно, лучше: южные немцы не пруссаки), сетования на то, что бумага подорожала, да и конверты достать непросто…

Как бы Ганс ни старался, мысли его не поддаются упорядочиванию ни в молитве, ни в чем-то другом, он пишет текст для листовки и в клочья рвет черновик за черновиком. Он пытается писать вместе с Алексом, перебрасываясь с ним обрывками фраз, как раньше, смешивая мысли, подсказывая друг другу слова, но получается только хуже. Их предложения сталкиваются,

подобные множеству отдельных шипов, а не белой розе. Тогда они пытаются разделить работу, первую часть пишет Ганс, вторую — Алекс, или наоборот, но получившиеся части никак не хотят складываться в единый текст. Гансу кажется, что за лето Алекс несколько разучился писать по-немецки; кроме того, у него все всегда сводится к превосходству России.

— Мы хотим достучаться до немцев, — говорит Ганс. — Как ты знаешь, большинство из них ничего не знают о русских. Надо показать последствия войны для их собственной страны, будущее Германии — вот что важно.

— Да? — упрямо возражает Алекс. — А мне важен мир.

В конце концов Ганс предлагает привлечь Софи в качестве третейского судьи, надеясь, что она сможет образумить Алекса.

Софи сидит у себя в комнате и читает — вернее, смотрит в книгу. Интересно, когда она в последний раз переворачивала страницу? С недавних пор Ганс видит Софи такой все чаще: на первый взгляд она погружена в какую-то работу, но на самом деле погружена в мысли, и тогда напоминает Гансу его самого, когда на душе у него наступает осень.

Софи как будто бы рада отвлечься, она закрывает книгу и подходит, благоговейно садится на кровать Ганса и слушает, как ей читают оба черновика — сначала Ганс, потом Алекс, ее сосредоточенное лицо не выдает никаких эмоций. Когда Алекс заканчивает последнее предложение, она задумчиво переводит взгляд между ними и наконец качает головой.

— Отличная работа, — торопливо говорит она, — правда отличная. Вы пишете правильные вещи, но если мы собираемся печатать листовку большим тиражом, то она должна быть… однозначной. Написанной понятными и ясными, как фуга Баха, словами. Люди должны понимать их и чувствовать одновременно.

Потом она выдвигает предложение, которое заставляет Ганса потерять дар речи — не столько из-за самого предложения, сколько из-за того, что Ганс не додумался до него раньше.

И вот он стоит перед маленьким, несколько обветшалым домиком и думает: такое скромное жилье совсем не подходит именитому профессору! Впрочем, нацисты никогда бы не позволили такому человеку жить где-нибудь еще, отсутствие роскоши — это отличительный знак.

Прежде для них с Алексом этот адрес был

набором букв, второпях перепечатанных из телефонного справочника посреди ночи. Алекс осторожно прислоняет велосипед к стене дома, однако, несмотря на всю его осторожность, часть штукатурки осыпается на руль.

— Нам точно сюда? — недоверчиво спрашивает он.

Ганс кивает.

С верхнего этажа доносится менуэт из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», который слышно даже сквозь закрытые окна. Время от времени проскальзывает фальшивая нота, после чего музыка стихает, но ненадолго.

Откашлявшись, Ганс нажимает на дверной звонок, отчего игру на фортепиано прерывает пронзительное дребезжание. Долгое время ничего не происходит, Ганс обхватывает себя руками, он замерз и сейчас немного завидует Алексу, на котором меховая шапка, пусть даже выглядит она нелепо.

— А что, если он… мыслит иначе? — тихо спрашивает Алекс.

— Ты же слышал его речи, — отвечает Ганс, — и потом, мы писали ему из Варшавы и из России. Он знает, что происходит. Он нам поможет.

Алекс кивает, но по лицу видно, что он не до

конца убежден.

Ганс собирается позвонить во второй раз, однако в эту секунду входная дверь с громким скрипом распахивается, и перед ними предстает девочка лет двенадцати-тринадцати, с двумя туго заплетенными косичками и со строгим взглядом.

Ганс улыбается: обычно он нравится девочкам такого возраста. Но не этой.

— Да? — спрашивает она, скрестив руки на груди.

— Моя фамилия Шолль, а это мой однокурсник Шморель, мы — студенты вашего отца, уважаемая фройляйн, — говорит Ганс со всем обаянием, на которое способен, но взгляд девочки остается строгим.

— Папа́ у себя в кабинете, — невозмутимо отвечает она, — и ему не нравится, когда его беспокоят. У вас что-то срочное?

— Чрезвычайно срочное, — отвечает Ганс, улыбаясь еще шире.

Девочка на мгновение задумывается, а потом решает сжалиться:

— Проходите.

Ганс окидывает Алекса торжествующим взглядом, у него такое ощущение, будто самая трудная часть работы позади.

Девочка ведет незваных гостей по скрипучему коридору — кажется, все в этом доме скрипит и стонет, однако он выглядит очень чистым и с любовью обставленным. На стенах висят фотографии, на них запечатлены одетые в баварские национальные костюмы мужчины и женщины и альпийские луга, где пасутся коровы. Есть там и семейная фотография, на которой с младенцем на руках стоит профессор Хубер, а рядом с ними — улыбающаяся девочка с косичками, она выглядит младше, но у нее такие же косички.

Увидев эту фотографию, Ганс судорожно сглатывает, он и сам не знает почему. Они быстро проходят мимо, и в конце коридора девочка стучит в закрытую дверь:

— Папа́?

Из комнаты слышится неразборчивое и недовольное ворчание.

— Папа́, — снова зовет девочка, — к тебе пришли двое студентов, господин Шолль и господин Шморель…

— Войдите, — слышится изнутри рокот, и девочка открывает дверь в кабинет. В кабинет профессора Хубера.

Профессор сидит за столом, как Ганс и представлял, и его почти не видно за стопками книг,

и это лишь малая их часть — стены заставлены книгами буквально от пола до потолка. В кабинете стоит запах старой пожелтевшей бумаги, кожаных переплетов и спертого воздуха, слышно, как за стопками книг неустанно скрипит перьевая ручка.

— Спасибо, Биргит, — бурчит профессор, не переставая писать. — Будь добра, принеси господам кофе.

Не успевают Ганс с Алексом возразить, что в этом нет необходимости, они зашли ненадолго, как маленькая строгая Биргит послушно исчезает за дверью.

— У вас очаровательная дочь, — говорит Ганс.

— Садитесь же, — бормочет профессор Хубер.

Но перед столом всего один стул, поэтому Ганс и Алекс в нерешительности стоят по обе стороны от него. Профессор Хубер тем временем сосредоточенно пишет письмо. Должно быть, кухня находится рядом: звон посуды смешивается со скрипом ручки, Ганс рассматривает корешки книг, а Алекс — гипсовые бюсты на полках. Все великие немецкие мыслители объединены этими книгами и бюстами, и один из них, думает Ганс, сейчас находится напротив него. Профессор Хубер дописывает предложение, ставит точку и

откладывает ручку в сторону.

— Простите мне мою грубость, — объясняет он с несколько тщеславной улыбкой, — но издатель поставил мне жесткие сроки. Я пишу монографию о Лейбнице. Итак, чем могу вам помочь?

Ганс с Алексом дружно смотрят на стоящий между ними стул и не двигаются. Ганс откашливается и открывает было рот, но в эту секунду возвращается Биргит, которая с ловкостью официантки несет три исходящие паром чашки.

— Спасибо, Биргит, — говорит профессор, — а теперь можешь вернуться к своему Баху. И, бога ради, не забывай знак диеза. Каждый раз одна и та же ошибка…

Биргит виновато кивает:

— Хорошо, папá.

— Талантливая девочка, — поясняет профессор Хубер, когда Биргит покидает кабинет, — но, к сожалению, репетирует без энтузиазма. Итак, повторюсь: чем я могу вам помочь?

Ганс с надеждой смотрит на Алекса, однако тот полностью сосредоточен на ячменном кофе, который пьет с явной неохотой. Судя по всему, процесс требует от него полной отдачи. Да и потом, философия — это конек Ганса, профессор Хубер нетерпеливо постукивает пальцами по

столу.

— Профессор Хубер, — наконец говорит Ганс, прочищает горло, и тут его осеняет: — Профессор Хубер, что вы думаете о тезисе Лейбница о лучшем из всех возможных миров?

Профессор Хубер и Алекс смотрят на Ганса с одинаковым удивлением, но тот знает, что задал правильный вопрос.

— Во всяком случае, Лейбниц вкладывал в понятие «лучший из всех возможных миров» не тот наивный смысл, который насмешливо приписывал ему Вольтер, — несколько растерянно отвечает профессор Хубер. — Скорее он описывал Бога как творца, подчиняющегося логике…

Алекс едва заметно морщится, с трудом подавляя зевоту. Со второго этажа снова доносится звук фортепиано, Биргит прислушалась к словам отца — теперь она фальшивит намного меньше, чем прежде.

— …следовательно, добро порождает зло, — подводит итог Ганс.

— В целом верно, пусть и очень упрощенно, — недовольно отвечает профессор Хубер. — Очень упрощенно.

— А наоборот? — спрашивает Ганс. — Порождает ли зло добро?

Кажется, после этих слов профессор понимает, к чему он клонит. Он ставит чашку на стол и встает, однако даже стоя он намного ниже своих студентов, ему приходится смотреть на них снизу вверх.

— Герр Шолль, герр Шморель, — говорит профессор, изучающе глядя сначала на одного, потом на другого, — будьте любезны, господа, скажите, зачем вы пришли на самом деле?

Ганс молчит, поэтому отвечает Алекс:

— Из-за «Белой розы», профессор.

С тем же успехом он мог сказать: «Чтобы убить вас, профессор!» Профессор Хубер выглядит перепуганным донельзя. Он округляет глаза и зажимает руками свой искривленный рот.

— Шолль, Шолль, Шолль… — бормочет он, — мне следовало догадаться, я должен был догадаться. Этот витиеватый напыщенный стиль, переполненный лавиной буржуазных цитат… Не зря он показался мне знакомым.

— Значит, вы прочитали листовки, — заключает Ганс. Несмотря на очевидную критику, он не может сдержать улыбку.

— Прочитал и сразу же бросил в огонь, как всякий здравомыслящий человек, — выплевывает профессор. — Если бы такое воззвание нашли у

меня дома… Страшно представить, что могло бы случиться!

— Но мы должны что-то сделать, — оправдывался Ганс. — Вы же сами так говорили!

— Но делать это надо разумно!

— Разумно, — повторяет Алекс. — А люди под Сталинградом гибнут разумно?

Профессор отшатывается — похоже, упоминание Сталинграда ударило его по больному.

— Еще ничего не известно, — бормочет он, — пока ничего нельзя сказать…

— Все известно, было бы желание знать, — перебивает Алекс. — Даже «Фёлькишер Беобахтер» признает, что русские сокрушили оборонительную линию немцев под Сталинградом. Можно только представить, как обстоит ситуация на самом деле…

Алекс резко замолкает и опускает взгляд. После слов о Сталинграде голос его кажется почти счастливым, остается только надеяться, что профессор ничего не заметил.

Впрочем, профессор никак не реагирует, он стоит за столом как каменное изваяние и смотрит куда-то вдаль, в точку над головами студентов. Тишину нарушает только исполняемый в сотый раз менуэт Баха.

Ганс лезет в карман пиджака и достает несколько плотно исписанных листов бумаги, Алекс торопливо следует его примеру.

— Прочтите, — просит Ганс, и они одновременно, как по команде, кладут бумаги профессору на стол: Алекс — слева, Ганс — справа. Профессор Хубер не реагирует, он словно оцепенел.

— Да, текст плохой, — поспешно говорит Ганс. — Мы не знаем, как объединить все идеи… И никак не можем договориться. Если бы вы, профессор, собрали из них воззвание, которое поймет каждый немец, буквально каждый… знаете, что-то вроде фуги Баха… воззвание, которые положит конец войне. Если кто и может это сделать, профессор, так это вы.

Профессор Хубер отмирает — по крайней мере, лицо его начинает оживать. Он переводит взгляд между Гансом и Алексом, однако Гансу внезапно кажется, что он смотрит на них не снизу вверх, а, наоборот, сверху вниз, как отец на двух непослушных, но любимых сыновей. Биргит берет последнюю ноту менуэта, возможно впервые в жизни сыграв его без ошибок.

— У меня жена и двое детей, — говорит профессор. — Они зависят от меня. От моей работы.

— Понимаю. — Ганс собирается забрать черно-

вики, но профессор перехватывает его руку.

— Я прочту вашу писанину, — бормочет он, — но только разочек. Знаете, ведь это в некотором роде философское эссе…

— Ничего подобного, — вмешивается Алекс, но профессор Хубер невозмутимо продолжает:

— Это творческая работа двух ретивых медиков, которые попросили меня дать свое экспертное заключение. Я очень серьезно отношусь к преподавательской деятельности и не могу отвечать за содержание этой работы, которое, разумеется, является предметом строжайшей конфиденциальности. Не так ли, господа?

Ганс улыбается:

— Спасибо, господин профессор.

Наверху Биргит начинает играть менуэт заново.

Зима 1943 года

Рождественские каникулы закончились, и Ганс с Софи вернулись в Мюнхен, по официальной версии — чтобы продолжить учебу, по неофициальной — чтобы пытаться свергнуть власть. Сегодня Вилли с Алексом пришли в квартиру Ганса и Софи, они, как четверка генералов, стоят вокруг обеденного столика, положив на него руки, и обдумывают план сражения, которое существует пока только у них в головах. Вилли отчитывается о том, как съездил к старым знакомым, которых пытался привлечь в сторонники. Пока, правда, без особого успеха — мол, опасность слишком велика, шансы на успех слишком малы, слишком много «если» и «но», слишком много непреодолимой нерешительности. Вилли выглядит заметно подавленным: от набожных католиков он ждал куда большего, чем пустые ободряющие фразы. Оптимизм Ганса остается непоколебимым, несмотря ни на что.

— Они одумаются, Вилли, они поддержат нас. Вот увидишь, они поймут, что иначе нельзя. Я возлагаю большие надежды на этого Фалька

Харнака!

Он ни словом не обмолвился о том, что ноябрьская встреча в Хемнице прошла не так успешно, как ожидалось.

Поначалу Харнак спрашивал о Лило, о том, как она поживает и чем занимается:

— Передайте ей мои искренние соболезнования по поводу гибели мужа.

Ганс понял, что Лило совсем не подготовила своего знакомого к истинной цели этого визита. После, казалось бы, вечности бессмысленной болтовни он попытался перевести тему и заговорил о политической деятельности, лицо Харнака окаменело.

— Вам известно, что мой брат и невестка сейчас находятся в тюрьме по обвинению в государственной измене? — спросил он тихим, сухим голосом.

— Поэтому мы и приехали, — сказал Ганс, — вы должны нам помочь. Нам нужны вы, ваши связи.

В ответ они снова услышали слова о большой опасности и низком шансе на успех, о том, что «вас слишком мало», а «их слишком много», о необходимости выждать. Харнак говорил так, будто он был мудрым стариком, а Ганс и Алекс

— двумя школьниками, хотя на самом деле их разделяло всего несколько лет. Ганса это раздражало, и он постоянно перебивал:

— Да поймите же вы, нельзя больше ждать! Поэтому мы и пришли к вам!

Алекс, напротив, ничего не говорил и только печально смотрел перед собой, то ли разочарованный, то ли снова думая о России.

В конце концов Харнак дал им адрес некоего герра Бонхеффера, теолога и антифашиста («Сходите к нему, возможно, он решит вам помочь»), а на прощание сказал, что в новом году приедет в Мюнхен и навестит дорогую Лило. Но пока это все, что он может для них сделать.

Конечно же, Ганс воспринял его слова как согласие. «Я возлагаю большие надежды на этого Фалька Харнака! Он знает нужных людей!»

Ганс не упоминает о том, что в декабре брата Харнака казнили за государственную измену и что его жена находится в камере смертников. Остальные и так знают, зачем постоянно напоминать себе об угрозе смерти, если думать надо об идеях? Об идеях, которые соединят Берлин с Мюнхеном и объединят всю Германию, об идеях, которые бессмертны. Ганс не хочет думать ни о чем, кроме этого бессмертия, и не говорит ни

о чем другом.

Они стоят, строят планы, курят и между делом пьют чай, позабыв о выступлении гауляйтера на четырехсот семидесятилетии университета, которое сейчас проходит в Немецком музее. Посещение этого мероприятия обязательно для всех студентов, но никто из них четверых туда не пошел. Саботаж всех фашистских мероприятий — это, пожалуй, самая приятная часть пассивного сопротивления. Трудно представить себе что-то ужаснее и вместе с тем скучнее, чем самовосхваление партийной шишки, а гауляйтер Мюнхена и Верхней Баварии — особенно мерзкий тип.

А вот Гизела Шертлинг появилась в конгресс-зале Немецкого музея как раз к тому времени, когда должно было состояться выступление гауляйтера. Несколько минут она высматривала Софи, а потом села в верхнем ряду. Наверху сидят женщины, внизу — мужчины, таков порядок, а солдаты студенческих рот должны явиться в форме. Некоторые из них часами маршировали по городу в честь гауляйтера — по долгу службы, а не по собственному желанию. Раненых на войне сажают в первые ряды, как будто гауляйтер может исцелить их словами точно мессия.

Войдя в конгресс-зал, Гизела сразу замечает

гнетущее напряжение, царящее в зале, которое с каждой минутой ожидания становится только сильнее. Конечно, у студентов есть дела поважнее, чем тратить время на выступление гауляйтера, — Гизела тоже бы предпочла остаться дома и готовиться к экзаменам. Сидящие рядом с ней студентки раздраженно посматривают на часы, но, судя по всему, их время не представляет для гауляйтера никакой ценности. Интересно, что сейчас делает Софи? Чем бы это ни было, Софи наверняка хорошо проводит вечер, потому что ничто не мучает так, как абсолютная бессмысленность. В зале то и дело слышатся возмущенные возгласы, тяжелые вздохи и недовольное ворчание, но Гизела молчит. С огромным опозданием на трибуну выходит гауштудентенфюрер, раздаются вялые аплодисменты, которые стихают быстрее, чем Гизела успевает как следует похлопать. Не обращая внимания на прохладный прием, гауштудентенфюрер с победоносным видом выкрикивает приветствие и благодарит гауляйтера, почтившего их своих присутствием. Как любезно со стороны господина гауляйтера наконец-то явиться, думает Гизела, пока гауштудентенфюрер вовсю разглагольствует об особой задаче, которая сейчас стоит перед отправленны-

ми на фронт студентами. Быть солдатом — вот истинное предназначение каждого образованного человека!

— А студентки… — гауштудентенфюрер демонстративно поднимает взгляд на верхние ряды, — серые мышки, которые любят забиться в библиотеки, не должны жаловаться, когда их отправляют работать на заводы и в поле, потому что война — дело всех и каждого, и женщин тоже!

Гауштудентенфюрер широко раскидывает руки в ожидании бурных аплодисментов, но удостаивается лишь сдержанных хлопков. Гизела нервно оглядывается на сидящих рядом студенток, большинство из них даже не думают хлопать, и Гизела тоже решает воздержаться.

Наконец на сцену выходит он, долгожданный господин гауляйтер. Он самодовольно ухмыляется толпе всем своим одутловатым лицом и скользит остекленевшим взглядом по девушкам, в том числе по Гизеле. Гауляйтер еще не сказал ни слова, однако уже понятно, что он совершенно пьян.

Он начинает с того же, с чего начал гауштудентенфюрер, — толкает пафосную речь о фронте и фронтовиках и бурно радуется присутствию

многочисленных отпускников, словно не зная об обязательной явке. Гизела сдерживает зевоту и думает обо всех книгах, которые предстоит прочитать к экзамену профессора Хубера. Вместо этого приходится тратить время здесь, и ради чего? Ради пустых лозунгов, которые с таким же успехом можно почерпнуть из любой газеты, из любого кинофильма. Гизеле хочется достать вязальные спицы и пряжу, но она не решается. Сложив руки на коленях, она сидит неподвижно, как статуя. Вдруг гауляйтер снова поднимает взгляд и смотрит прямо на нее.

— Мои дорогие дамы, — говорит он так, словно рассказывает анекдот в пивной, и растягивает губы в насмешливой улыбке: — Удивительно, как много вас нынче болтается по университетам! Интересно, сколько матерей и отцов вдруг обнаруживают в своих дочерях невообразимые таланты только для того, чтобы вместо трудовой повинности отдать их в мягкие объятия высшего образования? Или, быть может, вы приходите сюда в поисках личного счастья? О, я желаю каждой из вас найти это счастье! Причем в виде мужчины, сильного и энергичного, и как можно скорее посвятить себя истинно женским задачам, а не тратить попусту время…

И тогда начинается нечто невообразимое. Гизела не знает, кто был первым, но теперь со всех сторон раздается недовольный топот, сначала только на верхних рядах, а потом и внизу — солдатские сапоги издают совершенно особенный грохот.

Господин гауляйтер явно не привык к такому публичному проявлению недовольства, он оглядывается по сторонам в поисках помощи и нетвердо хватается за трибуну для выступлений, теперь даже раненые в первых рядах стучат костылями и протезами.

И тут гауляйтеру приходит в голову спасительная идея — шутка, которая должна разрядить обстановку и привести всех присутствующих в благостное расположение духа. Он примирительно разводит руками и, моргнув шаловливыми глазками, кричит, заглушая весь шум:

— Лучше бы вы рожали детей, чем забивали себе головы учебой! А если какая-то из вас недостаточно красива, чтобы найти себе мужа, так я готов прислать ей своего адъютанта для выполнения патриотического долга.

Взрыв больше не предотвратить. Некоторые студентки вскакивают и убегают из зала, другие остаются и стучат кулаками по столам и стенам

в такт мужским скандированиям:

— Мы не дадим порочить наших женщин! Мы не дадим порочить наших женщин! — кричат даже те, кто в форме, даже имеющие высокие награды, некоторые поднимаются к своим возлюбленным, другие спускаются, все больше и больше людей выбегают из зала, даже раненые, которых сопровождает громкий стук костылей.

Шуцманы пытаются остановить выбегающих, возникают потасовки и откровенные драки, оставшийся в одиночестве гауштудентенфюрер кричит:

— Вы за это ответите! Это государственная измена, вы все — предатели! — Но крики его тонут в общей суете.

Гауляйтер, в свою очередь, ошарашенно оглядывается по сторонам, словно не может — и не хочет! — осознавать происходящее.

Гизела вскакивает на ноги и тоже кричит, тоже стучит кулаком по стене в такт своему бешеному сердцебиению. Она так долго, слишком долго была статуей, и как же здорово наконец ожить! Человеческий поток выносит ее на улицу.

— Мы устроим демонстрацию! — кричит кто-то рядом. — Пойдем к Изарским воротам! Мы не потерпим такой наглости!

Устроить демонстрацию, отказываться что-то терпеть — фразы давно минувших времен, теперь они снова обретают значение, и внезапно Гизела чувствует веяние того, о чем постоянно говорит Софи и чего сама она до сих пор не понимала.

Они толпой идут по городу, горланя старые студенческие песни о свободе и независимости. Гизела не знает текста, но от всей души поет бессмысленные слова, которые в толпе обретают смысл.

Они подходят к Изарским воротам, а потом идут дальше, выстрелов не слышно, отдельные аресты некоторых демонстрантов не могут остановить шествие — их слишком много, слишком много. И только сгущающейся темноте удается сделать то, что не удается полиции, — в сумерках пение и крики постепенно стихают, постепенно студенты один за другим отделяются от толпы и расходятся по домам, возвращаясь к своим учебным пособиям и бомбоубежищам, и только самые неугомонные продолжают ходить по улицам, выкрикивая лозунги.

Гизела остается стоять.

— Софи! Я должна увидеть Софи, — говорит она себе. — Я должна обо всем рассказать Софи! — И бросается бежать.

Однако Софи нет дома. Зато есть ее брат. Ганс с недовольным видом открывает дверь, он выглядит так, словно Гизела подняла его с кровати, — и одновременно так, словно он несколько дней не спал. Но стоит ему узнать Гизелу, как его лицо озаряется усталой улыбкой.

— К сожалению, Софи нет дома, — говорит Ганс. — Они с Алексом ушли на концерт. Проходите, фройляйн Шертлинг. Вы выглядите так, будто вам не помешает чашечка чая.

Только сейчас Гизела замечает, что пальто ее застегнуто криво, одна из двух кос расплелась, и волосы беспорядочно свисают на плечо. На мгновение она задумывается о том, что сказала бы на это мама — незамужняя девушка наедине с молодым человеком… Но потом Гизела понимает, что больше не может молчать: ей нужно кому-нибудь рассказать о том, что произошло на улицах и в ней самой, и Ганс в роли слушателя устраивает ее не меньше Софи.

Стоит Гансу закрыть за Гизелой дверь, как слова начинают литься из нее рекой — она рассказывает о пьяном гауляйтере и его оскорблениях, о скандирующих возмущенных студентах, о стучании костылей и сапог. К тому времени, как она доходит до шествия по улицам — толпой, рука

об руку, с песнями и лозунгами, — Ганс больше не может оставаться на месте. Он рвется выйти к демонстрантам, но Гизела его останавливает:

— Все уже разошлись!

Она не знает, так ли это, но не хочет, чтобы он уходил.

Ганс мечется по тесной комнатке взад и вперед, как тигр в клетке, слушает и постоянно перебивает:

— Сколько было студенток? А студентов? И все они, все они протестовали? Правда?

Гизела кивает, она и сама понимает, насколько неправдоподобно звучит ее рассказ. Внезапно она начинает сомневаться в собственной памяти: неужели в оглушительном шуме никто не кричал «Хайль Гитлер!», неужели никто не смеялся над ужасными шутками гауляйтера?

Чем больше Ганс спрашивает, тем больше Гизела путается: я точно не помню, я даже не знаю… И вообще, произошло ли что-то серьезное или ее воображение раздуло незначительное происшествие до огромных размеров? Но потом Гизела понимает: совсем не важно, что она говорит, — Ганс, судя по всему, уже создал в своей голове желаемый образ произошедшего. Образ революции.

— Вот оно, — бормочет он, — то, к чему мы стремились, Алекс, я, Софи. Время наконец пришло.

Вдруг он оказывается совсем рядом и заключает Гизелу в крепкие объятия. Она испуганно вздрагивает, ей хочется оттолкнуть его, но только в первую секунду. Уже во вторую ей хочется раствориться в объятиях Ганса, потому что с ним она снова чувствует дух перемен и дуновение великой свободы, которые почувствовала сегодня на улице. Гизела не ошиблась — есть сила могущественнее Гитлера, и внезапно отчий дом с его непререкаемыми догмами национал-социализма и морали ощущается чем-то далеким. Гизеле кажется, что только сегодня она стала самостоятельной личностью. Она еще крепче прижимается к Гансу.

— Всего один поцелуй, — шепчет он. — Один поцелуй в этот особенный день.

И Гизела дарит Гансу этот поцелуй, но потом он, конечно, хочет большего. Ему нужно все, на меньшее он не согласен. Как и всегда.

— Ты не можешь отказать обреченному на смерть в последнем желании.

— Ты что, обречен на смерть? — со смехом спрашивает Гизела, но потом вспоминает его слова: «Вот оно, то, к чему мы стремились, Алекс,

я, Софи» — и вздрагивает.

— Если ты меня не услышишь, то мне так или иначе придется покончить с собой!

— Не говори таких страшных вещей! Ты меня пугаешь!

— Да, настали страшные времена, происходят страшные вещи, но сегодня стремление к свободе восторжествовало, а значит, страшные времена скоро подойдут к концу! Давай отметим это, Гизела! Давай отпразднуем как следует!

Потом Ганс обещает, что обязательно женится на ней, как только закончится война.

— А закончится она скоро.

И сегодня Гизела верит ему, верит обоим обещаниям, потому что ей хочется в них верить.

Студенческий бунт в Мюнхене заканчивается столь же внезапно, как и начался. Подавляющее большинство демонстрантов быстро возвращается к насущным проблемам — к подготовке к экзаменам и военным учениям, или, быть может, угрозы гауштудентенфюрера все-таки возымели действие.

Политическое руководство, похоже, твердо намерено забыть о произошедшем. В газетах не появляется ни слова об инциденте. Всех арестованных студентов отпускают на следующий день

с незначительными наказаниями. Некоторое время ходят слухи о том, что протестующие сбросили в Изар гауляйтера или гауштудентенфюрера, а то и обоих. Постепенно эти слухи стихают, и на улицах Мюнхена становится тише, чем прежде.

Зима 1943 года

Город полон русских. По воскресеньям в православной церкви не протолкнуться, поп жалуется, мол, не успевает заказывать новые распятия и иконы. У них, так называемых остарбайтеров, ничего нет, им едва хватает денег на выживание, однако они постоянно берут распятия и иконы в поисках хотя бы маленького проблеска надежды.

Рюкзак Алекса набит хлебом и теплой одеждой, которую связала *Njanja*. Бедняжка всю осень распутывала старые свитера, а из получившейся пряжи мастерила варежки. Только в такие моменты Алекс вообще мог находиться дома — когда сидел рядом с *Njanja*, пил русский чай и просил: «Спой, *Njanja*! Спой что-нибудь!» — и *Njanja* пела про казаков и кадетов, а еще «Калинку», снова и снова. За окном мела метель, и Алекс представлял, что находится в России. Он думал о Нелли, думал, что влюблен, он влюблен в воспоминания о ней. Алекс представлял, как Нелли сейчас сидит в деревенской избе, продуваемой со всех сторон сквозняками, или как прячется с братом в лесу на

лютом морозе, и все бы отдал, чтобы быть с ней. При любой возможности Алекс надевает русскую народную рубаху, зимнее пальто и меховую шапку, а из формы — только сапоги, которые прежде ненавидел. Но теперь на их подошвах русская земля, и Алекс упорно отказывается их чистить.

С ними он стоит на русской земле — всегда, куда бы ни пошел.

Велосипед легко катится по заснеженным улицам, рюкзак весит немного, и впереди уже виднеется забор. За забором в ветхих бараках живут мужчины, которые работают на местном военном заводе, Алекс видел их в церкви. Разговаривать с ними строжайше запрещено, однако Алекс все равно пытался, они отвечали робко и односложно — видимо, боясь наказания. Поп рассказал, что по прибытии в Германию мужчины были настолько больными и ослабшими, что не могли работать, сначала их надо было поставить на ноги и немного откормить. Еще в Германию привезли много девушек, которые теперь трудятся на фабриках — как девушки, о которых рассказывала Софи, на фермах или помогают по хозяйству в немецких семьях. Жене Кристеля выделили такую девушку, молодую украинку. «Славянка до мозга костей», — писал Кристель.

Девушка была напугана до смерти, можно только представить, через что ей пришлось пройти за ее недолгую жизнь, да еще и языковой барьер… Радует, что по крайней мере одна из этих несчастных оказалась в хорошем доме.

Алекс слезает с велосипеда, снимает со спины рюкзак и смотрит сквозь прутья забора, надеясь увидеть кого-нибудь из своих русских братьев: «Поэтому я все еще здесь, а не в России — нет, Германии я не нужен, а вот вам, братцы, вам я еще пригожусь!»

Через некоторое время из барака выглядывает молодой паренек, почти еще ребенок, худой, истощенный, возможно слишком истощенный, чтобы работать. Паренек замирает, в ужасе уставившись на Алекса.

– *Priwjet! S nowym godom*! — кричит Алекс, не удержавшись от приветствия и поздравления с прошедшим праздником. Паренек смотрит испуганно, но Алекс уже достал из рюкзака пакет с хлебом и многочисленными варежками. Он с ловкостью перебрасывает пакет через забор, и тот беззвучно падает в глубокий снег, прямо перед пареньком, который продолжает растерянно хлопать глазами. Через несколько секунд паренек наконец понимает, что происходит,

молниеносно хватает неожиданный подарок и прячет под развевающейся рубашкой, одними губами произносит «*spasiba*» и торопливо скрывается в бараке. Алекс вскакивает на велосипед и едет так быстро, как только может. Ни охранник, ни случайный прохожий не должен его догнать, он задыхается, и не только от напряжения. На этот раз все обошлось, и на этот раз его не преследуют.

Отъехав достаточно далеко, Алекс останавливается, чтобы успокоить сердцебиение. Интересно, сколько человек находится в заводских бараках? Наверное, семьдесят или восемьдесят. Максимум — сто. Говорят, в Берлине есть лагеря для военнопленных, где содержится в десять раз больше. Все, что нужно сделать, — это найти подходящую одежду и присоединиться к одной из многих колонн, возвращающихся вечером с заводов, чужой среди чужих, в таком большом лагере даже охрана не может знать всех заключенных в лицо. Если кто-нибудь спросит, Алекс ответит: «А ты что, не знаешь? Я Саша, Саша из Гжатска!»

Такое не сработало бы даже в бульварном романчике, однако от одной этой мысли Алексу становится спокойнее. Уйти в подполье, исчезнуть если не в России, то хотя бы среди русских.

Все равно эта война долго не продлится.

Алекс трогается с места, но велосипед с трудом катится по заснеженным улицам. Сейчас рюкзак еще легче, однако давит на плечи сильнее прежнего. Алекс едет к Гансу и Софи, как и каждый вечер. Теперь у него даже есть собственный ключ от их от квартиры.

— Ведь ты приходишь сюда часто, — объяснил Ганс тем же тоном, что некогда Лило, но имел в виду нечто совершенно иное. Вся квартира полна улик. Если что-то случится с ним или Софи, Алекс сможет прийти сюда и «замести следы». Конечно, Ганс никогда бы так не выразился — ни вслух, ни даже мысленно.

— Суть тайной организации в том, чтобы оставаться тайной, — любит говорить он и злится на любое «что, если» или «а вдруг»: не должно быть «если» или «вдруг», есть только план А.

Правда, иногда он говорит:

— Если нас обнаружат, я скроюсь в Югославии.

Можно подумать, сейчас это проще простого.

К тому времени, как Алекс подъезжает к дому, уже успевает стемнеть. Ни один фонарь не освещает путь — ни малочисленным прохожим, ни многочисленным самолетам союзников. Алекс вспоминает, как в прошлом году они с Гансом

отмечали свое тихое Рождество; сегодня то Рождество кажется столь же далеким, как его родина. Ворота еще не заперты, и Алекс проходит к флигелю. Не успевает он вставить ключ в дверь, как она распахивается. Как ни странно, на пороге стоит не Ганс и не Софи, а Вилли.

— Мы услышали шаги, — говорит Вилли вместо приветствия, — и подумали, что пришел профессор Хубер.

— Что, разочарованы? — спрашивает Алекс. Он, конечно, шутит, но голос его звучит немного обиженно.

— Конечно, нет, — спешит заверить его Вилли. — Входи!

Ганс влетает в комнату так стремительно, что чуть не проливает свежезаваренный чай. Он говорит, что чуть позже откроет бутылку вина — смотритель дома оказался спекулянтом на черном рынке, поэтому вина здесь в избытке. Кроме того, если смотритель о чем-то прознает, у них есть на него компромат.

«Чего-то не хватает», — думает Алекс и вскоре понимает: «не чего-то», а «кого-то».

— Бедная Софи уехала в Ульм, — объясняет Ганс. — Маме по-прежнему нездоровится, а теперь еще и Инге заболела.

Алекс с удивлением обнаруживает, что скучает по Софи. С тех пор как он вернулся из России, Софи больше не ведет себя странно, не запинается во время разговора с ним, не хихикает безо всякой на то причины. Пусть она по-прежнему называет его Шуриком, но теперь это прозвище звучит обычно. Видимо, пока она работала на заводе, у нее было достаточно времени, чтобы подумать. И о нем тоже.

Да, теперь Алекс скучает по Софи, особенно по ее молчанию — Ганс говорит и говорит, куда только подевалась глубокомысленная тишина, которая их связывала? Алекс садится на один из стульев и раскуривает трубку, сначала вспоминает нежные глаза Софи, а потом — страстные очи Нелли, некоторое время наблюдает за Гансом, не слыша ни слова, и думает: «Теперь я понимаю, что имела в виду мачеха, когда говорила о глазах фанатика».

Ганс всегда говорит о демократии как о свершившемся факте, осталось лишь согласовать несколько досадных мелочей! Кажется, он уже готов раздавать министерские посты.

«Быть может, демократия не нужна вовсе, — упрямо думает Алекс, — быть может, после национал-социализма наступит монархия с

добрым, верующим в Бога царем. Впрочем, это Германия. Что здесь значит доброта и вера в Бога? Что я понимаю в Германии, откуда мне знать, что лучше для этой страны? Я знаю только, что режиму Гитлера должен прийти конец — даже одна сотая Тысячелетнего рейха причинила бы достаточно горя».

А Ганс все говорит и говорит, Вилли кивает, и Алекс больше не понимает их языка.

Бутылка вина наполовину выпита, Вилли с Гансом вовсю предаются фантазиям о будущем, когда раздается звонок в дверь.

— Профессор, — с сияющими глазами шепчет Ганс и торжественно поднимается.

Профессор Хубер похож на человека, спешащего под покровом ночи к любовнице. Ганс уже давно закрыл дверь, однако профессор продолжает нервно оглядываться через плечо, не снимая шляпы и пальто. «Он еще ничего не решил и в любую минуту может встать и уйти», — думает Алекс, чувствуя короткий укол зависти.

Заметив Вилли, профессор Хубер удивленно приподнимает брови, но бормочет только:

— Мне следовало догадаться. — А Вилли немного виновато улыбается.

Ганс приносит из комнаты Софи самое удобное

кресло, и профессор, опустившись в него, выглядит еще меньше, чем раньше. От бокала вина он отказывается.

— Перейдем сразу к делу, господа, — говорит он и на словах «к делу» шлепает на стол черновики листовок. — Шморель. — Он протягивает Алексу записи со смесью притворного безразличия и неприкрытого отвращения. С таким же видом учитель латыни возвращал ему контрольные — не просто так он завалил латынь. — Шморель, — сурово повторяет профессор, — это совершенно бесполезное коммунистическое словоблудие, в котором отсутствует основная идея.

— Что?..

Но профессор Хубер не дает Алексу закончить, обращаясь к Гансу:

— А вот ваши наброски можно довести до ума, господин Шолль!

Ганс улыбается с гордым тщеславием образцового ученика.

— Формулировки довольно неуклюжие, — быстро добавляет профессор Хубер, — некоторые мысли продуманы не до конца, но из этого действительно можно сделать что-то годное. Мне нравится рассуждение о том, что мы, немцы, станем народом без страны, если война закончится

так бесславно, как это кажется сейчас… Я слышу здесь Томаса Манна? Прежде чем вдаваться в подробности, замечу: господа, эта эмблема, эта «Белая роза» должна исчезнуть. Мы же не девичий клуб! Воззвание немцев ко всем немцам — это сильнее всех выдуманных названий!

Ганс и Вилли одобрительно кивают, и Алекс удивляется тому, как быстро Ганс отказывается от тайного ордена, который основали они вдвоем. Не то чтобы он сам был особенно привязан к этому названию, «Белая роза» была идеей Ганса, и профессор Хубер, пожалуй, прав. Сейчас не время для высокопарных пустословий, однако Алекс еще не переварил замечание о «коммунистическом словоблудии». Он чувствует, как кровь снова приливает к лицу. Да что знает немец о России — настоящей России! — и о том, как мало общего она имеет с коммунизмом?! Что знает о пустых фразах и идеях философ, который всегда руководствуется логикой и никогда — чувством художника?! Что общего у профессора Хубера и Александра Шмореля? Враг, думает Алекс, больше ничего. Однако в такие времена, когда дружба в первую очередь обусловлена товариществом по несчастью, этого вполне достаточно. Не вмешиваясь в разговор, Алекс спокойно курит

свою трубку.

Зима 1943 года

Молодая пара идет в сторону вокзала. Возможно, они собираются поехать к родителям невесты или отправиться в путешествие, в любом случае, уезжают они надолго: у обоих в каждой руке по тяжелому чемодану. Если кто-то спросит, что находится в чемоданах, они ответят: «Одежда».

Но никто не спрашивает, да и зачем спрашивать, они выглядят совершенно обыденно, идут себе рядом, тихо разговаривают.

Несмотря на все возражения Ганса, Софи настояла на том, чтобы это поручение доверили ей.

— Молодые девушки не вызывают ни у кого подозрений, — говорила она. — Я буду менее приметной, чем вы.

С этим доводом Ганс согласился:

— Но будь осторожна и не рискуй понапрасну!

Софи с улыбкой закатила глаза. Было решено, что вторым рассыльным будет Алекс — только он мог купить билеты на свои карманные деньги. Когда Алекс соглашался ехать, он думал не столько об опасностях, сколько о возможности сбежать из этого города, из родительского дома,

из квартиры Ганса, даже от Лило. Просто уехать, далеко-далеко.

По дороге на вокзал Алекс и Софи стараются не говорить ни о чем, кроме пустяков, — вдруг кто-нибудь подслушает.

Но стоит кому-нибудь подойти — особенно если он в форме, — как они сразу же теряют нить разговора, Софи дрожащим голосом рассказывает о своем последнем походе или лыжной прогулке, однако прохожий просто здоровается или идет мимо, не сказав ни слова.

Алекс думает, что было бы здорово иметь глаза на затылке, чтобы одним смотреть только на чемоданы, а другим — в сторону России, однако человеку приходится смотреть вперед, хочет он того или нет. Так уж мы устроены.

Наконец Алекс и Софи добираются до вокзала, где их пути расходятся на платформе: Софи поедет в Аугсбург, Алекс — в Вену. На прощание Софи целует его в щеку:

— Береги себя, Шурик.

— И ты тоже.

Поезд в Аугсбург уже готов к отправлению, и Софи загружает свои чемоданы в вагон. Алекс боится, что кто-нибудь предложит ей помощь. Бумага весит почти столько же, сколько одежда,

никто не догадается, что на самом деле лежит внутри, однако Алекс все равно волнуется. Вскоре в одном из окон поезда появляется Софи, она улыбается и машет рукой: все хорошо. Алекс с облегчением вздыхает и переходит на другой перрон, к своему поезду, который поедет в Вену через Зальцбург и Линц.

Подробно все обсудив, Алекс и Софи договорились не брать чемоданы с собой в купе, а оставить в багажном отделении, через некоторое время никто и не вспомнит, кто именно их туда положил. Что? Изобличительный материал, разрушающий военную мощь государства? Вон оно что! Нет, это не мои чемоданы, клянусь!

Как ни странно, поезд переполнен не так, как большинство поездов в эти дни. Алекс не знает, хорошо это или плохо, он торопливо убирает чемоданы в багажное отделение и садится на другом конце вагона. Когда подходит кондуктор, спрашивая проездной билет, Алекс снова начинает волноваться.

«Соберись! Софи наверняка боится меньше твоего!» — говорит он себе, однако эта мысль не унимает дрожь в руках. К счастью, кондуктор не знает человеческую природу, он терпеливо ждет, пока Алекс неловкими движениями достанет из

кармана сначала бумажник, а потом билет.

— Билет до Вены через Зальцбург и Линц! — зачитывает кондуктор так громко, будто маршрут Алекса касается всех вокруг, и желает ему приятного пути. Ни удостоверение личности, ни разрешение на проезд от вермахта его не интересуют. Хорошо: разрешение Алекс подделал вчера вечером. Как он и опасался, получилось не очень убедительно.

В ответ Алекс улыбается и кладет бумажник обратно в карман.

Они с Софи договорились притвориться спящими, чтобы с ними никто не заговорил. Только мертвецы вызывают меньше подозрений, чем спящие. Вся сложность в том, чтобы не заснуть на самом деле, разум всегда должен бодрствовать и быть готовым ко всяким неожиданностям. У Софи обязательно получится, считает Алекс, у нее достаточно силы воли.

Эта пятая листовка стоила ему многих бессонных ночей, он частенько до самого утра сидел за пишущей машинкой или стоял у нового, более производительного, гектографа, а потом вместе с Гансом, Вилли и Софи, а порой и Трауте складывал в конверты тысячи листовок.

Однако конверты очень быстро закончились,

теперь они строго нормированы, и даже Софи со своими глазами, как у олененка, и рассказом о женихе в Сталинграде не смогла их раздобыть. Поэтому в конце концов они начали писать адреса прямо на сложенных листах бумаги, большинство перепечатывали из телефонного справочника. Кроме того, профессор Хубер предоставил им список своих студентов.

Алекс вынужден признать, что остался доволен работой профессора — тому действительно удалось составить несколько емких, но выразительных предложений, таких как: «Прорвите оболочку равнодушия, окружающую ваше сердце!» А отрывок о том, что нельзя верить национал-социалистической пропаганде, пронизавшей всю немецкую плоть ужасом большевизма, и о том, что каждый народ, каждый в отдельности, имеет право на блага мира, почти слово в слово взят из черновика Алекса! Он уверен, что листовка никого не оставит равнодушным.

Все это стало возможным только потому, что на рождественских каникулах Ганс снова поехал к Гриммингеру и на этот раз вернулся с деньгами. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», как сказал Гриммингер, катастрофа в Сталинграде никого не оставила равнодушным. Софи сразу

же забрала деньги себе на хранение:

— Для того чтобы достичь наших целей, нужно правильно ими распорядиться, а ты, Ганс, в этом не силен, ты и сам знаешь.

На эти деньги и после множества бессонных ночей они напечатали несколько тысяч листовок — Ганс говорит, что десять, но наверняка чуть меньше, Алекс давно потерял счет. Квартира Шоллей была забита бумагой, поэтому Алекс носил коробки с листовками к Лило, где ставил в кладовке, а когда кладовка оказалась переполнена — складывал в подвале.

Однажды ночью раздалась воздушная тревога, и Лило пришлось истуканом сидеть на коробках с опасным содержимым, чтобы соседи ничего не обнаружили.

— Так больше не может продолжаться, Алекс! Их нужно убрать!

К счастью, архитектор Эйкемайер дал Гансу ключ от своей мастерской, мол, пока он в Польше, она ему все равно не понадобится. Ганс решил не сообщать архитектору о своих настоящих планах и сказал, что просто хочет возобновить вечера чтений. В конце концов, осторожность превыше всего! В мастерской места более чем достаточно и для большого гектографа, и для листовок —

впрочем, листовки печатали не для того, чтобы оставить пылиться в темных комнатах. Именно тогда и возникла идея с посыльными.

— Представьте, какие глаза будут у гестапо! — фантазировала Софи. — Только что мы были маленькой ячейкой сопротивления в Мюнхене — и вдруг листовки появляются в Гамбурге, Аугсбурге, Вене! А сколько мы сэкономим на почтовых расходах?!

Трауте должна будет доставить листовки в Гамбург, когда в следующий раз поедет навещать свою семью, поэтому Софи взяла на себя Аугсбург, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, а Алекс — Зальцбург, Линц и Вену. Но не Инсбрук, ни в коем случае не Инсбрук, где несколько дней назад родилась дочь Кристеля. Девочка, долгожданная девочка, наконец-то! И слава богу, здоровенькая! Кристель даже взял срочный отпуск, чтобы лично сообщить Гансу и Алексу радостную весть, и после рассказа о маленькой Кате друзья долго и горячо обсуждали политическую ситуацию.

Алекс замечает, что Ганс больше не старается ничего скрывать от Кристеля — ни в разговорах, ни в квартире. Пачки листовок небрежно лежат у стены, ничем не прикрытые.

— А, Кристель не представляет для нас опасно-

сти, он на нашей стороне, — отвечает Ганс, когда Алекс спрашивает об этом.

— Речь о другом, Ганс. Мы опасны для него.

Но Ганс уже не слушает, мысли его наверняка заняты новыми идеями, которые приведут к восстанию, на этот раз — окончательному и бесповоротному, и любая предосторожность, какой бы незначительной она ни была, кажется ему бесполезным препятствием.

Эта блондинка, эта Гизела, приходит и уходит из квартиры Ганса, когда пожелает, точнее, когда пожелает Ганс, он даже приводит ее в мастерскую на ночные акции, где они печатают листовки и обсуждают свои планы, а Гизела тем временем робко сидит в уголке и молчит.

До сих пор Алекс едва ли обменялся с Гизелой десятком слов, и он не может избавиться от ощущения, что Гизела его боится — быть может, потому, что он русский. Но порой Алексу кажется, что она боится и Ганса, и даже Софи. Что ж, если Гансу нравится такая девушка, это его дело. Главное, чтобы она не проболталась.

Поезд останавливается в Зальцбурге, и Алекс вздрагивает. Должно быть, он ненадолго заснул, в голове кружатся остатки сна — смутные воспоминания о России, детская песенка и жжение на

языке… Алекс напоминает себе о том, что нужно сосредоточиться, и выискивает взглядом два чемодана, которые по-прежнему стоят в багажном отделении как два подтянутых солдата. В черном чемодане находятся листовки для Зальцбурга и Линца, в коричневом — для Вены.

Австрийские адреса они с Софи наобум брали из телефонного справочника в Немецком музее, гестапо не сможет найти никакой закономерности, не сможет их отследить. Схватив чемоданы, Алекс выходит из поезда и быстро пересекает здание вокзала, там довольно оживленно, никого не интересует ни он, ни его чемоданы. Выйдя из здания, он сразу же находит почтовый ящик, который спрятан в темном переулке. Алекс быстро оглядывается по сторонам — убедиться, что за ним никто не наблюдает, — и открывает черный чемодан. Листки с зальцбургскими адресами исчезают в почтовом ящике, и теперь нельзя сказать, кто их туда бросил. Все происходит быстро, гораздо быстрее, чем Алекс думал. Он безо всяких заминок возвращается на вокзал и дожидается следующего поезда, трудно поверить, что все оказалось настолько просто! До подозрительного просто, Алекс параноик, он и сам это знает, тревога сопровождает его повсюду, неужели Бог на

их стороне? Ганс и профессор Хубер наверняка бы знали, что сказать по этому поводу: Лейбниц и тому подобное. Алекс не знает и просто надеется, что Софи повезет так же, как и ему.

Следующая остановка — Линц, так называемый город фюрера, где Гитлер когда-то ходил в школу. Трудно это представить: Алексу кажется, что Гитлер уже родился с усами щеточкой — с самого начала больше карикатура, чем человек. Не будь ситуация столь ужасной, можно было бы только посмеяться.

Алекс радуется тому, что пробудет в Линце всего несколько минут, он быстро находит почтовый ящик, никем не замеченный вытаскивает из черного чемодана оставшиеся письма и после с кажущимся спокойствием садится на поезд в Вену.

На этот раз Алекс почти без страха показывает свой билет, и снова кондуктор не спрашивает ни удостоверения личности, ни разрешения на проезд. Алекс решает рискнуть — не притворяется спящим, а курит, тратя остатки месячной нормы табака. Дым кажется таким приятным, каким бывает только то, что кончается, и сейчас он вспоминает свою первую и пока единственную поездку в Вену. Там, верхом на коне, как кресто-

носец, он участвовал в нелепом триумфальном шествии Гитлера к «аншлюсу», триумфу безо всякого сражения. С тех пор прошло всего пять лет, однако воспоминания Алекса на удивление размыты: на уме у него тогда была только Ангелика. Несколькими неделями ранее она вышла замуж за директора школы. Гитлер со своим вторжением в Европу казался Алексу незначительным в сравнении с его собственным безграничным несчастьем. В то время Алекс без малейших колебаний пожертвовал бы будущим всего мира ради своего будущего с Ангеликой. Наверное, теперь он совсем не узнает Вену — настолько город тогда был скрыт за пеленой его любовной тоски. В памяти остались только шум — ликование венцев о возвращении Вены «в лоно государства» — да несколько размалеванных витрин, звезд Давида и ругательств, написанных масляной краской. Тогда Алекс не мог думать ни о чем, кроме Ангелики. Хорошо, что она покинула его навсегда, однажды что-то должно было произойти.

К тому времени, как поезд прибывает в Вену, уже успевает стемнеть. Улицы тускло освещены фонарями — в Вене позволяют зажигать огни, союзникам пока нет дела до этого города. О, великая Австрия, зачем тебе понадобилось выплевывать

фюрера на этот свет? Алекс распределяет содержимое коричневого чемодана по нескольким почтовым ящикам, которые находит в окрестностях вокзала. Все. Свершилось. Он больше не государственный изменник, а просто странный мужчина с двумя пустыми чемоданами.

Постепенно нервное напряжение спадает, на смену ему приходит усталость, которая наваливается тяжелым одеялом, пытаясь задушить. У Алекса появляется искушение лечь прямо на скамейке в здании вокзала. Нет, это слишком рискованно — примут еще за бродягу, за «чуждый элемент общества». Нет ничего лучше, чем скитаться по миру, изо дня в день жить тем, что посылает Бог, однако нацисты совершенно нетерпимы к бродягам.

Денег у Алекса более чем достаточно. Вот уже несколько дней он носит с собой все свои сбережения, а также свежую фотографию для документов — на всякий случай. Если бы Ганс узнал, он бы, наверное, посмеялся над ним. Или, скорее всего, рассердился бы: смысл тайной организации в том, чтобы оставаться тайной… Конечно, Ганс прав, но тайная организация совершенно не подходит сути Алекса: сегодня он скроется и, быть может, скроется и завтра, но сколько можно так

жить, скрываясь и убегая? Он не рожден для того, чтобы находиться в подполье, ему нужны свет и воздух, нужны бескрайние русские просторы, а не узкие рамки конспирации, почему он снова дрожит, почему не может перестать дрожать, когда вокруг не видно ни души?..

Все, что ему нужно, — это комната на ночь, кровать и немного сна, убеждает себя Алекс, и тогда все будет хорошо. Сейчас в нем говорит разум, а не чувства.

Третьего февраля тысяча девятьсот сорок третьего года следует официальное объявление о поражении немецких войск под Сталинградом.

Февраль 1943 года

Алекс больше не возвращается домой. «У меня нет дома», — объясняет он, и Ганс не задает лишних вопросов.

Однажды они втроем с Вилли до глубокой ночи ходят по Мюнхену, разбрасывая листовки. Несмотря на поездки в другие города, листовок все еще слишком много, а скоро станет еще больше — профессор Хубер уже работает над следующей. Сталинград должен стать искрой, от которой вспыхнет всеобщий пожар, нет другого пути, кроме мира, и теперь все должны это осознать! Они больше не придумывают никаких оправданий на случай, если их поймают. Их не поймают, и Ганс нащупывает в кармане куртки пистолет — наследие тех времен, когда он мечтал стать офицером, пистолетом давно никто не пользовался, однако сейчас он придает Гансу уверенность. Ганс кладет последнюю пачку листовок перед чьей-то дверью, и они неторопливо возвращаются домой, как трое ночных гуляк, идущих с танцев или тайного свидания. Они много смеются и громко разговаривают. Софи ждет на пороге, скрестив

руки:

— Я уже думала, вы не вернетесь!

— Милая моя Софи, не делай такое лицо! Лучше достань бутылочку из кухонного шкафа, хорошее вино успокаивает нервы!

Однако в этот вечер они почти не пьют — уже после нескольких глотков кураж сменяется свинцовой усталостью и леденящим страхом, оба парализуют. Вилли вскоре прощается, Софи удаляется к себе комнату, а Ганс берет грубые шерстяные одеяла, несколько декоративных подушек и спальный мешок и готовит Алексу постель рядом со своей кроватью.

— Спокойной ночи, Алекс!

— И тебе спокойной ночи!

Впрочем, они оба знают, что это не более чем пустые слова. В темноте ничто не может сдержать мрачных мыслей, которые крутятся в голове. Мыслей о том, что случится, если ничего не предпринять. Гитлер не может выиграть войну, но может ее затянуть. Надолго ли? Каждый новый день войны влечет за собой множество смертей и риск угодить в лапы нацистов. Кто проявит больше стойкости: Гитлер со своими приспешниками или кучка невыспавшихся студентов?

Ганс часами ворочается в постели как больной

лихорадкой. Впрочем, Алексу тоже не спится: то скрипнут деревянные половицы, то зашуршит шерстяное одеяло, порой он встает и тихо уходит из комнаты, из квартиры — наверное, в туалет, а может, куда-нибудь еще, высматривая что-нибудь, но что? Тогда Ганса охватывает беспричинный страх, что Алекс больше не вернется, но тот всегда возвращается и ложится обратно в постель, и чем больше он старается не шуметь, тем больше шума издает, а если на мгновение засыпает, то разговаривает во сне.

— Что ты сказал, Алекс?

Алекс всегда бормочет по-русски, а потом резко, будто с перепугу, просыпается, и Ганс еще долго слышит в темноте его тяжелое дыхание.

Они мешают друг другу заснуть, однако Ганс знает, что в одиночестве заснуть ему было бы гораздо труднее.

Через некоторое время дверь открывается и входит Софи, она останавливается у кровати Ганса, обняв себя руками, как маленькая девочка, которую мучают кошмары. Ганс пускает сестру к себе под одеяло и дрожит, ощущая прикосновение ее холодных ног, и вспоминает Фрица, который едва спасся из Сталинграда. «Отделался парочкой обмороженных пальцев!» — написал

он Софи. Конечно, та испытала невероятное облегчение, когда получила письмо, но все равно не может заснуть, ни одна, ни с Гансом. Теперь они втроем ворочаются с боку на бок, сопят и создают невероятный шум, и все же, думает Ганс, близость — единственное, что еще приносит хотя бы толику успокоения. Близость и, возможно, чуточку морфия.

Алекс не возвращается домой, однако порой он навещает Лило. Он больше ничем не может ей помочь, он больше ни на что не годен, но все равно приходит, ложится на диван и смотрит в потолок, Лило приносит свой ужасный кофе, и он пьет его без малейших возражений.

— Ты выглядишь иначе, чем прежде, — замечает она.

— И как же? — спрашивает он.

— Ты выглядишь усталым.

— Я плохо сплю.

— Ты вообще больше не спишь.

— Верно. Или сплю все время, это как посмотреть.

Алекс поднимает взгляд на Лило, которая останавливается возле дивана и взволнованно качает головой.

— И ты туда же, — сетует он, стараясь говорить

шутливо, — не переживай, в мире и без того хватает забот!

Алекс садится на диване и удивляется тому, сколько сил это у него отнимает. Хочется лечь обратно… но еще больше — убедить Лило в том, что все хорошо, поэтому Алекс шутит и смеется, однако морщинки у нее на лбу не исчезают, а становятся только глубже.

— Знаешь, Лило, я недавно был в Вене…

— Ты же знаешь, что я ничего не хочу об этом слышать!

— Нет-нет! Просто… мне тут кое-что пришло в голову… ты ведь художница… У тебя не завалялось случайно темной краски? И фанеры или чего-нибудь еще, из чего можно сделать трафареты?

— Ах, Алекс, — вздыхает Лило.

Пусть Лило вздыхает — Алекс не хочет больше ждать, пока профессор Хубер напишет новую листовку, на этот раз адресованную конкретно студентам: январское студенческое восстание должно превратиться в государственный переворот, однако Алекс в это не верит. Он больше не хочет ждать отточенных предложений и умных рассуждений, он хочет, чтобы самые простые, самые очевидные вещи дошли до людей прямо

сейчас, где бы те ни были.

К счастью, Лило думает недолго: после секундного колебания она спускается в подвал и возвращается с банкой краски и несколькими листами фанеры.

— Будь осторожен, — просит она, словно осторожность еще имеет какой-то смысл! Как бы то ни было, Алекс соглашается. — Кстати, — добавляет она, — на следующей неделе в Мюнхен приезжает Фальк Харнак. Он собирается снова сделать мне предложение. Я отвечу отказом. После этого вы с Гансом сможете его утешить.

— Спасибо, Лило, — улыбается Алекс.

— За что? — без улыбки спрашивает она и протягивает ему ножовку.

Ночь предназначена не только для сна, но и для великих свершений.

Когда Алекс возвращается с краской и сделанными из фанеры трафаретами, Ганс только смеется: и как он сам до этого не додумался! Бумажный лист можно сжечь непрочитанным, но не стену дома. То, что написано на стене, останется там навсегда.

— Как же повезло, что Софи уехала с Гизелой, — говорит Ганс, — иначе она наверняка захотела бы присоединиться.

Он сердится на сестру. Несколько дней назад та вышла на улицы Мюнхена с последней пачкой листовок, которую спрятала под кроватью и потому чуть не забыла о ее существовании. Одна, среди бела дня, Софи разгуливала по Мюнхену, оставляя листовки в телефонных будках и на лобовых стеклах припаркованных машин. Она рассказала об этом Гансу только на следующий день и то мимоходом, во время готовки, как будто речь шла о безобидном развлечении.

Когда он рассердился, Софи вызывающе спросила:

— Вам, мужчинам, можно, а мне — нет?

— Тогда было темно, мы были втроем и вооружены, — ответил Ганс.

— Вооружены! — крикнула Софи и закатила глаза. — И что бы ты сделал, скажи пожалуйста, если бы кто-нибудь вас увидел? Пристрелил бы свидетеля?

— В зависимости от обстоятельств, — ворчит Ганс. — Теперь ты говоришь совсем как Алекс!

После этого он взял с Софи обещание ничего не предпринимать, не посоветовавшись с ним.

— Но я должна что-то делать! — вызывающе добавила она и повернулась к кастрюле.

Нет, на самом деле Ганс совсем не сердится на

сестру. Она права: ночью или днем, в компании или в одиночку, с оружием или без — нет никакой разницы, пока ты не попался. А попадаться нельзя. Тем не менее в последнее время Ганс всегда носит пистолет с собой. Просто так, говорит он себе, для уверенности.

И пока Алекс ждет во дворе с краской и трафаретами, Ганс бежит в комнату и достает из ящика стола пистолет. Сунув его в карман пиджака, Ганс замечает, что внутри лежит сложенный листок бумаги. Черновик листовки, который написал Кристель! Ганс почти забыл о нем. Во время своего последнего визита Кристель молча сунул листок ему в карман, когда они обнимались на прощание. Между ними двумя существует негласное соглашение: Алекс не должен ни о чем узнать. Он старается держать Кристеля в стороне, старается защищать его, как младшего брата. Но почему Алекс должен добиться большего успеха, чем он сам? Софи права: мы все должны что-то делать, все до единого.

Ганс просмотрел записи Кристеля только раз, да и то очень бегло, но они произвели на него глубокое впечатление: каждое слово источает столько искреннего отчаяния от неопределенности будущего Германии, что должно потрясти,

должно разбудить читателей ото сна. Профессору Хуберу наверняка понравится это сочинение, в конце концов у него тоже есть дети.

— Ганс? — раздается снаружи нетерпеливый голос, и Ганс вспоминает, что Софи ужасно возмутилась небрежностью Алекса, когда обнаружила у него в халате черновик листовки. А совсем недавно она вышла из себя, потому что Алекс оставил билет в Вену прямо на кухонном столе. «Такая беспечность погубит всех нас!» — рассерженный голос сестры до сих пор звучит у Ганса в ушах. Давно пора передать записи Кристеля профессору.

— Иду! — кричит он и выходит вслед за Алексом.

Простота слов «свобода», «долой Гитлера», «Гитлер — массовый убийца» завораживает своей красотой. Проезжая утром на велосипеде по центру города, Алекс смотрит на дело своих рук и слышит стенания уборщиц, которые оттирают надпись губками и тряпками, яркий зеленый цвет местами уже побледнел. «В следующий раз надо использовать смоляную краску, ее можно оттирать столько, сколько душе угодно», — думает Алекс.

Простота слов! Как сильно Алекс скучает по

ней тем вечером, когда к Гансу домой приходит Фальк Харнак.

Атмосфера давящая, Харнак явно не в духе, и Алекс вынужден заподозрить, что Лило не шутила: отвергнутое предложение руки и сердца и правда имело место. Присутствие профессора Хубера только осложняет ситуацию, которая с самого начала была не слишком многообещающей. Ганс и Вилли настояли на том, чтобы он пришел. «Посмотрите, даже университетский профессор с нами!» — это должно было убедить Харнака в серьезности их организации, и тогда Харнак не сможет отмахнуться от них как от школьников.

Поначалу Алекс тоже так думал, но теперь Харнак и профессор Хубер сидят и буравят друг друга испепеляющими взглядами, точно два диких зверя, претендующих на одну территорию. Профессор Хубер опасается, что на самом деле имеет дело с заядлым коммунистом. Харнак, в свою очередь, боится, что имеет дело с заядлым нацистом. Поэтому они на протяжении нескольких часов перебрасываются пустыми фразами о «централизме» и «федерализме», о «демократии большинства» и «демократии консенсуса». Ганс, Алекс и Вилли заняты исключительно тем, что стараются предотвратить назревающую

ссору, здесь вставят шутку, там добавят: «…на самом деле профессор хочет сказать, что…» Алексу кажется, будто он снова выступает переводчиком, однако на этот раз переводит с немецкого на немецкий. «Если эти двое — будущие демократы, — думает он, глядя то на Харнака, то на профессора Хубера, — то с демократией можно проститься. Они теряются в деталях и упускают из виду самое главное!» Встреча продолжается до самого утра и заканчивается без какой-либо конкретной договоренности. Впрочем, Ганс кажется довольным этой потраченной впустую ночью.

— Спасибо, господин Харнак, что пришли! И вам спасибо, профессор!

Алекс больше не испытывает разочарования, не по-настоящему. Даже если это и есть демократы будущего, то здесь, в Германии, его все равно не будет.

— Вы уже были у Бонхеффера? — спрашивает Харнак на прощание, и когда Алекс качает головой, тихо шепчет: — Отправляйтесь к нему, да поскорее.

После его ухода Алекс на короткое мгновение задумывается о том, вернется тот к Лило, поедет прямиком на вокзал или куда-нибудь еще, но на самом деле ему все равно.

— До чего меня довели эти времена, — бормочет профессор Хубер, стоя на пороге и задумчиво глядя Харнаку вслед, — теперь я веду переговоры с коммунистами.

Гизела становится для Ганса своего рода дневником, которому он доверяет все свои мысли. Она неподвижно, как кукла, сидит на краю кровати, а Ганс тем временем говорит:

— А потом, моя маленькая Гизелочка, ко мне вдруг подходит какой-то человек. Я уже вижу себя повешенным на ближайшем дереве, а он всего-то хотел прикурить, представляешь? За спиной у меня Алекс с банкой краски, а на стене — только что зачеркнутая свастика…

— Я не могу этого представить, не хочу представлять! — кричит Гизела, и Ганс со смехом целует ее.

Сейчас он любит Гизелу, любит за то, что она не подобна Деве Марии, как Лиза, парящая перед ним во снах, любит за то, что она из плоти и крови и всегда рядом. Время мечтаний прошло. Близость Гизелы стала для Ганса жизненной необходимостью — физическая близость, о духовной он мало что знает, потому что Гизела почти не говорит о том, что думает, а он особо и не спрашивает.

Ганс любит приобнимать Гизелу, когда они вместе идут по улице, он кладет руку ей на плечи, и тогда у нее не остается другого выбора, кроме как поддержать его. Однажды на прогулке они встречают Трауте. Как Софи и предполагала, верная Трауте тайком провезла в Гамбург несколько листовок, до сих пор толком не зная о характере «организации», в которой состоит. Ганс не может себе объяснить, почему ему так хочется сделать Трауте больно, хочется продемонстрировать свое новое завоевание. Он приветливо машет Трауте свободной рукой, та опускает голову и, неразборчиво поздоровавшись, проносится мимо.

Куда ты так спешишь, Трауте? Неужели есть что-то важнее мира, который скоро воцарится, и трепещущего сердца? Гизела, весна в этом году наступит рано, весна наступит в середине февраля!

Ганс повсюду берет Гизелу с собой, как талисман, как ангела-хранителя:

— Гизела, пока ты рядом, ничего плохого просто не может случиться.

Она и сейчас сидит рядом, а Вилли рассказывает о своей последней поездке в Саар. На этот раз он встречался с двумя братьями, которых знал с

детских лет. Старший был настроен скептически, а вот младший тотчас же согласился размножить и распространить их листовки.

Софи вскакивает на ноги, чтобы достать из кухонного шкафчика вино: мол, после стольких предостережений и отказов это — немалое достижение! Однако Вилли жестом просит ее сесть обратно и говорит:

— Это еще не все.

Младший брат, о котором идет речь, сейчас служит писарем в госпитале в Саарбрюккене. Ему удавалось забирать оружие у раненых — по большей части автоматы — и вывозить из больницы, за прошедшее время у него образовался целый арсенал. Теперь он хочет использовать это оружие для благого дела, а именно — покончить с гитлеровской диктатурой…

— Нет, — говорит Алекс.

— Дай ему закончить, — возражает Ганс.

— Нет! — повторяет Алекс намного громче, и Гизела слегка вздрагивает.

— Вилли еще ничего не сказал… — успокаивающе говорит Софи, но Алекс перебивает:

— Пассивное сопротивление! Вот о чем мы договорились. Мы не будем хуже их!

— Конечно, — бормочет Вилли, — но положе-

ние в любую секунду может измениться, мы просто должны быть готовы…

— Даже профессор Хубер считает, что без кровопролития не обойтись, — вмешивается Ганс.

— Мне все равно, что там считает твой философ, я не буду ни в кого стрелять! — Алекс вскакивает, ударяясь о стол, холодный пепел высыпается из пепельницы на скатерть. — Не буду стрелять ни в русских, ни в немцев. Ни в кого не буду стрелять! — Он бросается мимо стола и выбегает из квартиры, громко хлопнув дверью. Наступает напряженная тишина, Гизела прячет лицо у Ганса на плече, он рассеянно гладит ее по волосам, тишина терзает его, но сказать больше нечего. Наступает время, когда слов оказывается недостаточно.

Через некоторое время Софи начинает собирать со скатерти рассыпавшийся пепел.

— Если бы сейчас вошел Гитлер и у меня был бы пистолет, я бы его застрелила, — бормочет она. — Если не могут мужчины, то это должна сделать женщина.

В котельной потрескивает огонь, пожирая дневники Алекса, письма Ангелики, в большинстве своем — любовные, несколько открыток от друзей и знакомых, кипу рисунков, записную

книжку, немногочисленные письма от Вали, единственное письмо от Нелли, в котором она пишет только то, что жива и здорова.

Здесь нет ни отца, который мог бы его остановить, ни матери, которая с грустными глазами смотрела бы на него с фотографии, только голодное пламя и молчаливая Лило. Алекс знает, зачем пришел к ней со своими вещами.

Двадцать пять лет жизни превратились в пепел за пять минут, но Алекс вовсе не чувствует грусти: горят только улики, опасные следы, что могут навести гестапо на невинных людей. Просто бумага, которая давно ничего для него не значит, он получит новые письма, и любовные тоже, напишет новые дневники когда-нибудь где-нибудь в России.

Алекс собирается бросить в огонь свою солдатскую книжку, когда его неожиданно останавливает Лило. До того она, сказав: «Я посторожу», осталась стоять в дверях, но на самом деле больше смотрела на Алекса, чем в коридор, вокруг глаз у нее глубокие обеспокоенные морщинки, которые никак не хотят исчезать. Она решительно держит Алекса за руку:

— Если ты избавишься от нее, то официально станешь дезертиром!

— Именно этого я и хочу, — отвечает Алекс, — я дезертирую, перехожу на сторону так называемого врага. Если уж стрелять, если уж пасть, то ради России…

— Ты переутомился, — говорит Лило, продолжая сжимать его руку, крепко впиваясь пальцами в плоть, которой почти не осталось. И когда Алекс успел так исхудать?..

— Лило, мне больно!

— Ты перевозбужден. Все мы перевозбуждены. Каждую ночь — сирены, каждый день — сообщения о новых потерях, Сталинград…

— Видимо, ты плохо меня знаешь, — бормочет Алекс, — я рад поражению под Сталинградом. Германия должна наконец потерпеть поражение, иначе никак. А теперь, пожалуйста, отпусти меня.

— А как же листовки?

От удивления Алекс опускает руку, и солдатская книжка падает на пол. Лило подбирает ее и торопливо прячет в карман передника, как Нелли некогда прятала ломтики хлеба. Отобрать книжку будет несложно, наверняка Лило отдаст ее добровольно, если Алекс настойчиво попросит. Но Алекс молчит и только смотрит на Лило во все глаза.

— О чем ты? — Он говорит медленно, язык вдруг кажется невероятно тяжелым, а каждый немецкий звук — невероятно чужим.

Поколебавшись, Лило отвечает:

— Тебе прекрасно известно, что я никогда не одобряла вашу затею. Быть может, я не показывала этого, но я с самого начала ужасно боялась за тебя, Ганса и малышку Софи, за всех вас. Но я продолжала надеяться. Надеяться на то, что этот страх не будет напрасным, что… ваши слова пробудят сердца людей.

«Мы все на это надеялись», — думает Алекс, но слова — это всего лишь слова. Ганс прав, слов не всегда бывает достаточно. Сейчас Алекс вообще не может вымолвить ни слова, настолько тяжелыми они кажутся, он опускает голову Лило на плечо и не видит ничего, кроме ее светлых волос и белоснежной шеи.

— Если ты сейчас уйдешь, — шепотом говорит она, — то все будет напрасно. Закончи дело, которое начал. Долго это продолжаться не может. Быть может, сейчас решающее значение будет иметь одно-единственное слово.

Одно-единственное слово. Почему не что-то попроще… Алекс чувствует, как Лило ласково гладит его по спине, и когда через некоторое

время она возвращает ему солдатскую книжку, Алекс молча кладет ее обратно в карман.

Одна фраза! Одна-единственная неудачная фраза посреди множества блестящих! Ганс умоляюще смотрит на Алекса, на щеках которого появились красные пятна. Вилли треплет того по плечу, пытаясь успокоить:

— Мы наверняка сможем договориться…

Софи среди них снова нет. «Вечно семейные обязательства отрывают меня от морального долга!» — жаловалась она перед тем, как сесть на поезд до Ульма. Быть может, даже хорошо, что Софи сегодня не здесь, думает Ганс, потому что в этом вопросе она наверняка встала бы на сторону Алекса, что разозлило бы профессора Хубера только больше.

— Я такое печатать не буду, — говорит Алекс.

— Ну и не печатайте, — с горечью отвечает профессор Хубер.

— Давайте уберем эту фразу… только ее одну? — предлагает Вилли, пытаясь найти компромисс.

— Все или ничего, — отрезает профессор Хубер. — «Продолжайте стоять единым строем в рядах нашего доблестного вермахта». Почему, думаете, я так написал? Потому что это соответствует моим убеждениям, вот почему. Я против

всяких партийных организаций, но мы должны поддерживать наши вооруженные силы. Это наш патриотический долг. Либо мы печатаем листовку с этой фразой, либо не печатаем вообще.

Ганс вздыхает. Ему хорошо знакомы подобные дискуссии, он уже не раз использовал эти аргументы в разговоре с Гизелой, однако та стоит на своем:

— Я, конечно, уважаю твою позицию, но фонд «Зимняя помощь» надо поддержать. Мы в долгу перед нашими бедными солдатами, которые сейчас голодают и мерзнут. Разве они виноваты в том, что их отправили в Россию? Что они могут поделать?

— Они много чего могут поделать! — возражает Ганс и пытается убедить Гизелу в ответственности каждого отдельно взятого человека, на что Гизела только и знает, что твердить:

— Но как же наши бедные солдаты!

Вот только Гизела — это Гизела, а профессор Хубер — один из величайших умов Германии, и сейчас Алекс своим недипломатичным упрямством мешает их общей борьбе.

— Я такое печатать не буду.

Одна фраза! Одна-единственная неудачная фраза посреди множества блестящих, Ганс прак-

тически видит восстание, такое же громкое, как во время речи гауляйтера, — нет, гораздо громче, а теперь ему говорят, что все разрушит одна-единственная фраза.

Вилли в отчаянии предлагает другой вариант:

— Если немного смягчить формулировку…

— Здесь нечего смягчать, — возражает Алекс, — вы не хуже меня знаете, в каких преступлениях виновен ваш доблестный вермахт! И к тому же любая, даже небольшая, поддержка армии — это продление войны!

— Ну и не печатайте! — повторяет профессор Хубер, на этот раз гораздо громче. — Но я запрещаю вносить какие-либо изменения в мой текст! Тогда забудем об этом, просто забудем!

Он вскакивает на ноги, и Ганс лестью пытается удержать его от ухода:

— Профессор, в остальном ваш текст просто прекрасен!

Профессор Хубер возвращается на место — уже хоть что-то! — но продолжает настаивать на своем:

— Надо подумать о немцах, которые сейчас на фронте!..

— А о русских? — возмущенно спрашивает Алекс. — О поляках? Евреях? А вы, вы были на

фронте? Видели преступления нашего вермахта? Быть может, вы и на войне были?

Последнее предложение Алекс практически выкрикивает, после чего в помещении повисает тишина, похожая на непроницаемый туман. Одно-единственное предложение, несколько провокационных слов — и все потеряно.

— Господин профессор, Алекс совсем не то имел в виду…

Ганс нарушает тишину сбивчивыми извинениями, к нему присоединяется Вилли, но пути назад нет: Алекс ударил профессора Хубера по самому больному месту — тот возмущенно восклицает, что «не обязан выслушивать подобное от такого, как он!», и кивком указывает на Алекса, не уточняя, кого подразумевает под «таким» — студента, русского или коммуниста. Потом он, прихрамывая, выходит из квартиры, с шумом волоча больную ногу по деревянным половицам.

— Обязательно было так говорить? — раздраженно спрашивает Ганс после ухода профессора Хубера.

Алекс не отвечает и только перекатывает пустую трубку из одного уголка рта в другой. Лицо его ничего не выражает, что ему несвойственно. Ни сожаления, ни триумфа… От гневного

румянца не осталось ни следа… Алекс ведет себя так, словно не он сейчас выступил с пламенной речью против вермахта, словно он простой наблюдатель. Ганс нервно откашливается, но больше ничего не говорит. Он думает о том, как быть. Дальше так продолжаться не может. Вилли берет со стола черновик листовки, который профессор Хубер оставил по ошибке — или, быть может, в надежде, что студенты одумаются и вернутся к тем взглядам, которые сам он считает правильными.

Вилли торопливо просматривает черновик и качает головой.

— Алекс прав, — вздыхает он, — мы действительно не можем это напечатать.

— Фразу о вермахте, мы, конечно, вычеркнем, — отвечает Ганс, — быть может, эта листовка вообще будет последней. Быть может, она пробудит сердца людей…

В эту секунду Ганс снова вспоминает о черновике Кристеля, который лежит в кармане пиджака и который он забыл отдать профессору Хуберу. Что ж, пожалуй, это к лучшему.

— Значит, последняя листовка будет иметь решающее значение, — бормочет Алекс, а потом внезапно оживает и даже улыбается: — Я же

обещал это Лило!

С этими словами он встает и приносит из комнаты Софи пишущую машинку.

Сегодняшней ночью все становится почти как прежде: Алекс насвистывает русские песни, Ганс — немецкие, в промежутках между Вилли напевает хоралы, в это многоголосие гармонично вливаются стук пишущей машинки и жужжание гектографа. Сейчас, в шумной суете, они втроем твердо верят в свое дело, верят в мир и свободу, верят в будущее. Им кажется, словно так будет продолжаться всегда.

17 февраля 1943 года

Но когда сердца людей отказываются пробуждаться, когда мы ночами печатаем и рассылаем листовки, а слова больше не находят своего адресата, когда мы шлем листовки по собственным адресам, а те не доходят, когда мы оставляем их ночью на улицах, а до рассвета они исчезают, а когда не исчезают, то люди просто переступают через них, потому что не хотят видеть то, что им запрещают видеть, и не видят того, что не хотят видеть; когда мы пишем на стенах, а люди проходят мимо, глядя в другую сторону, когда мы неделями не спим, а Германия никак не просыпается; когда университет пребывает в полудреме, а студенты и студентки, сокурсники и сокурсницы ходят на лекции словно сомнамбулы, словно до них не дошло наше воззвание — нет, не только «Белой розы», воззвание немцев ко всем немцам, словно они не знают, что многие думают так же, как они, — очень многие! — когда, возможно, они действительно не знают, ничего не видели, ничего не хотели видеть; и когда мы смотрим на тебя и знаем, что ты снова думаешь только

о Нелли, о Вале, о своей маме, своей матушке России, когда мы знаем, что Лило могла сделать тебе поддельное удостоверение личности, все-таки она художница, она бы не хотела, но все равно пошла бы на это ради тебя; когда мы знаем, что ты сейчас думаешь о свободе; когда мы говорим «свобода и честь» и подразумеваем совершенно иное, нежели Гитлер, а ты — что-то совершенно иное, нежели мы; когда мы снова вместе сидим до утра и обсуждаем наш следующий шаг, и нам, по сути, больше нечего сказать друг другу, потому что нет никакого «следующего шага», потому что без восстания нет будущего, потому что мы по-прежнему верим в восстание, а ты больше не веришь; когда наш последний рывок, последняя листовка не имеет решающего значения, не пробуждает сердца людей, не склоняет чашу весов в нашу пользу; когда мы не хотим в это верить, а ты веришь; когда Вилли уже ушел домой, а ты нет, потому что наша квартира — твой дом, потому что Россия — твой дом, потому что у тебя нет дома; когда нам больше нечего сказать друг другу и мы не можем вынести молчания, когда мы вспоминаем лето, «Мы должны что-то сделать!», и мы действительно что-то сделали, но этого оказалось недостаточно — что бы мы ни сделали,

этого оказалось бы недостаточно, и когда Софи наконец находит в себе силы сказать:

— Так больше не может продолжаться. Мы должны отнести листовки в университет. Да, средь бела дня. Мы положим листовки прямо перед аудиториями, и никто не сможет пройти мимо, не сможет перешагнуть через них. Тогда что-то сдвинется с места. В ту или иную сторону. Но так больше продолжаться не может!

И когда ты знаешь, что она права… то что тогда?

Алекс медленно встает из-за стола.

— Мне нужно подумать, — шепотом говорит он, не глядя ни на Ганса, ни на Софи. — Я русский, и потому на меня с самого начала падут подозрения…

— Понимаю, — отвечает Ганс.

— Я не говорю «нет».

— Знаю.

Алекс берет пальто со спинки стула и неуклюже, неторопливо надевает, словно пытаясь выиграть время. Однако Софи права, пора действовать, так или иначе что-то должно сдвинуться с места.

— Ты куда? — спрашивает Софи.

Алекс ненадолго задумывается, а потом отвечает:

— К родителям. Последние несколько недель они меня почти не видели.

Ганс кивает:

— Не забудь шапку.

Он провожает Алекса до двери и невольно вспоминает их первую встречу, вспоминает стоявшего рядом с ним юношу, который сбежал из строя.

— Я пошел, — говорит Алекс, — берегите себя.

— Хорошо, — отвечает Ганс, — и ты береги себя. *Do swidanja, Schurik*.

Алекс улыбается:

– *Do swidanja*.

А потом он уходит в темноту, Ганс забыл спросить, когда он вернется, будет ли завтра ждать их здесь, в квартире — а впрочем, ничего страшного, что забыл. Ведь у Алекса есть ключ.

Когда Ганс возвращается к себе комнату, Софи уже лежит в кровати, и ноги у нее совсем не холодные. Той ночью Ганс спит так крепко, как не спал уже давно.

Послесловие

В своей книге «Дезинтегрируйтесь!» [5] Макс Чоллек приводит результаты исследования 2018 года, в котором интервьюеры обзвонили тысячу случайно выбранных респондентов на территории Германии, спрашивая о том, кем были их родственники во время Второй мировой войны. Бóльшая доля респондентов (69 %) заявили, что их предки не были нацистами. Даже если предположить, что предки некоторых опрошенных — мигранты, очевидно, что эти заявления не соответствуют исторической реальности.

Другое исследование [6], посвященное национал-социализму и Холокосту в семейной памяти, показывает, что истории, которые очевидцы передавали своим детям, а те, в свою очередь, своим, часто — слишком часто — связаны с актами сопротивления. Безусловно, куда приятнее знать о героических поступках своих родителей,

---

[5] Примечания: 5

Czollek M. Desintegrierteuch! München, 2018. S. 97.

[6] Примечания: 6

Welzer H. et. al. “Opa war kein Nazi!” Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Frankfurt am Main, 2002.

(пра)дедушек и (пра)бабушек, чем об их преступлениях. Сопротивление национал-социализму — удобная тема для разговора?

Давайте рассмотрим историю восприятия «Белой розы». В отличие от большинства групп сопротивления, «Белая роза» стала широко известна еще во время Второй мировой войны. Весной 1943 года графу Хельмуту Джеймсу фон Мольтке [7] удается тайно вывезти из Германии шестую листовку и доклад о сопротивляющихся студентах из Мюнхена. За границей его доклад (фактически довольно неточный) привлекает большое внимание: Томас Манн рассказывает о нем по радио, и по крайней мере два писателя в изгнании вдохновляются и пишут романы (Вики Баум «Отель Берлин», Альфред Нойман «Их было шестеро»), а в 1945 году Королевские военно-воздушные силы Великобритании даже сбрасывают над несколькими немецкими городами копии шестой листовки.

В чем причина такого восхищения? За границей видят молодых людей, которые с самого

---

[7] Примечания: 7

Гельмут Джеймс граф фон Мольтке (11 марта 1907–23 января 1945) считается основателем «Кружка Крайзау» — гражданской интеллектуальной группы сопротивления, состоявшей примерно из двадцати человек, представлявших различные социальные слои. В 1944 году фон Мольтке был арестован гестапо и в 1945 году повешен в Плётцензее.

раннего детства были пропитаны нацистской идеологией. Они — представители того поколения немцев, которое союзники уже считали потерянным, а теперь именно они доказывают победу порядочности над пропагандой!

Впрочем, история «Белой розы» привлекает внимание не только за границей. В Мюнхене первое памятное мероприятие в честь «Белой розы» прошло уже осенью 1945 года. Произведения о внутригерманском сопротивлении становятся первыми произведениями, которые помогают осмыслить до боли недавнее прошлое. Немецкоязычные авторы, пережившие национал-социализм в так называемом внутреннем изгнании, хотят увековечить память тех, кто поступал честнее их самих. И «Белая роза» с самого начала занимает особое место среди других движений сопротивления.

Этому есть несколько причин. Во-первых, как уже отмечалось, «Белая роза» довольно быстро получила известность за границей, поэтому ее не пришлось «открывать заново». Во-вторых, в 1950-х годах ее славу закрепила Инге Айхер-Шолль, выпустив свой бестселлер «Белая роза». То, что эта книга вообще стала бестселлером, — заслуга автора. Ее сугубо религиозная трактовка поступ-

ков своих брата и сестры (о других героях она упоминает лишь вскользь, что вызвало довольно резкую критику со стороны их родственников) вполне соответствует духу времени. Впрочем, будь все так просто, то «Белая роза» не смогла бы сохранять свое очарование на протяжении стольких десятилетий.

Вот тут-то и проявляется огромный потенциал для идентификации: в случае с «Белой розой» мы видим людей, которые могли бы относительно комфортно существовать в Третьем рейхе, их не вынуждали к действию никакие внешние обстоятельства. В отличие, например, от графа Клауса фон Штауффенберга, члены «Белой розы» не вращались в высших кругах и разбирались в политике и военном деле не больше, чем основная масса населения. Этим они напоминают нас самих.

И последнее, но не менее важное: «Белая роза» не является группой со строго идеологической линией. Ее члены не коммунисты, не монархисты, и пусть христианство, безусловно, играло большую роль в личной мотивации некоторых членов, их действия нельзя приписать какой-либо конкретной церкви. У «Белой розы» не существует единого последовательного политического мани-

феста, а в тех случаях, когда, находясь в тюрьме, отдельные участники были вынуждены делать политические признания, неоднородность их взглядов становилась особенно очевидной. Каждый находил для своих политических взглядов свои точки опоры.

Однако именно по этой причине «Белую розу» так легко использовать в своих интересах, причем особенно со стороны, от которой этого не ожидаешь. Например, партия «Альтернатива для Германии» выбрала для рекламы лицо Софи Шолль, чтобы привлечь голоса избирателей, на демонстрациях против мер по борьбе с пандемией коронавируса проводились неуместные параллели, а цитаты Софи используются на листовках движения «Рейхсбюргеры» и на сомнительных акциях протеста. Также возможна идентификация с точки зрения исторической ревизии.

Но проблема начинается с другого: вспомните о телефонном опросе и о 69 процентах. Как ни крути, активисты «Белой розы» не являлись представителями немецкого народа при национал-социализме. Они были в меньшинстве. Если сопротивление не приводит к государственному перевороту, то оно всегда движение меньшин-

ства. «Если» — именно в нем и кроется суть проблемы.

Почему я выбрала эту тему? Я понимаю, что все, что я написала до сих пор, больше похоже на предостережение в отношении работы над этим материалом. Честно говоря, предостережений я наслушалась достаточно: на эту тему все уже сказано, она больше неинтересна и, наконец, откровенно пошла…

Однако истории сопротивления — это истории надежды. В самом начале я писала, что нам гораздо больше нравится смотреть на сопротивляющихся русских, чем на отчаяние и разрушение. Потому что они — образы надежды. А надежда не является ни пошлостью, ни зоной комфорта. Надежда — это центральная движущая сила конструктивного формирования будущего. Именно поэтому важно снова и снова показывать образы надежды. Они говорят: вы никогда не одиноки.

После этого несколько затянувшегося рассказа о том, почему я написала то, *что* написала, следует сказать несколько слов о том, почему я написала так, *как* написала. Итак, вопреки всем предостережениям, я приняла решение написать роман о «Белой розе», и в первую очередь у

меня возник вопрос о главных героях. Он встает всякий раз, когда работаешь с историческими материалами, потому что, выбрав того или иного героя как «главного», вы низводите всех остальных до второстепенных. Так было в случае с Инге Айхер-Шолль, и мне придется жить с этой несправедливостью. Пожалуй, с «Белой розой» произошел редкий в историографии случай, когда женщина затмила окружающих ее мужчин. Большинство работ — как беллетристических, так и научных — посвящены Софи Шолль. С феминистской точки зрения это прекрасно, однако такая зацикленность на одном человеке приводит к тому, что многие другие истории и точки зрения, о которых тоже было бы интересно рассказать, отходят на второй план. Поэтому я остановила свой выбор на мужчинах. Точнее, на тех, кто основал «Белую розу»: Гансе Шолле и Александре Шмореле. В конце концов, история «Белой розы» — это, помимо всего прочего, история их дружбы.

Следующим моим решением было рассказать историю в настоящем времени, чтобы как можно сильнее сократить историческую дистанцию — не только для читателей, но и для самой себя.

Сложнее всего оказалось принять третье ре-

шение: какую точку зрения мне выбрать? Как и в предыдущем случае, я выбрала то, что позволит сократить расстояние между героем и читателями. Конечно, это довольно спорное решение: можно ли с этической точки зрения превращать реальных людей в героев книги, вкладывать в их уста слова, которые они, быть может, никогда не произносили, вкладывать в их головы мысли, которых они, быть может, никогда не думали? Должны ли писатели лингвистически отразить дистанцию, которая отделяет нас и наших современников от событий прошлого — особенно тех, у кого нет никаких личных или семейных связей с историческими личностями? Это непростые вопросы. Однако я хотела написать книгу не о том, как все было, и даже не о том, как все могло бы быть. Я хотела написать роман. Пожалуй, правильнее всего было бы сравнить это произведение с художественным фильмом, где все зрители знают, что перед ними актеры, которые лишь притворяются кем-то другим. Однако каким-то образом на экране их история становится реальностью.

Благодаря относительной известности «Белой розы» в моем распоряжении оказалось много — возможно, даже слишком много — текстов, на

основе которых я могла создать свой собственный. Для меня было важно изобразить моих героев не бездушными юношами с немецких плакатов, а простыми людьми — со своими повседневными заботами и типичными для этого возраста проблемами в отношениях, со своими недостатками и полными противоречий. Поэтому я читала опубликованные письма и заметки Ганса Шолля и Александра Шмореля, читала рассказы и биографии очевидцев, проводила собственные исследования, изучала разные материала — и думала.

В романе я по большей части придерживалась исторических фактов: собирала разные даты, цитаты и исторические анекдоты, рассматривала их со всех сторон, сравнивала друг с другом, иногда переставляла местами, заполняла пробелы с помощью литературных приемов, пока передо мной не возникли персонажи и сюжет, возможно не являющиеся исторически достоверными, но в общем и целом правдивые.

«Повествовать» всегда означает «опускать»: я не смогла включить в роман все результаты своих исследований и размышлений, некоторые из них вы найдете в этом послесловии и в прилагаемом именном указателе. Здесь же опубликован

список моих источников.

Несколько заключительных слов

Элизабет Хартнагель, которая была последней оставшейся в живых сестрой Ганса Шолля и умерла в 2020 году, не любила мемориальные мероприятия. В частности, она не любила, что ее брата и сестру, а также других членов «Белой розы» превращают в героев: «Если считать их героями, то это станет оправданием для других: каждый сможет сказать — я не рожден, чтобы быть героем» [8].

Я уже упоминала о том, как опасно с кем-либо себя идентифицировать, однако мы не можем этого избежать — и, быть может, не должны. Энтузиазм и сомнение, силы и усталость, надежда и разочарование — всем нам знакомы чувства, которые сопровождают Ганса и Алекса на их пути сопротивления. Нет, конечно, мы не знаем, каково это — жить под нацистской диктатурой. Но мы знаем, что значит чувствовать бессилие перед лицом преступной несправедливости, желать действовать и не знать, что делать, знаем, как важны единомышленники и как трудно до-

[8] Примечания: 8

Bassler S. Die weiße Rose, Zeitzeugen erinnern sich. Hamburg, 2006. S. 9

стучаться до людей, которые думают иначе.

Ганс, Алекс, Софи, Кристель, Вилли, профессор Хубер… Никто из них не является героем. И мы тоже не герои.

Но все мы люди. По крайней мере, об этом мы никогда не должны забывать.

Именной указатель

Ганс Шолль
(22 сентября 1918 года — 22 февраля 1943 года)

18 февраля 1943 года станет для Ганса Шолля роковым днем. Около одиннадцати часов утра они с Софи разложат листовки по всему университету, потом выйдут из здания, но решат вернуться — предположительно потому, что у них в чемоданах останутся листовки. Шоллей заметит смотритель Якоб Шмид, который задержит их до приезда гестапо. Тайная полиция разыскивала авторов листовок с лета 1942 года, в январе 1943 года даже появилась специальная комиссия, занимающаяся исключительно делом группы сопротивления — до этого ареста, однако, без особых успехов.

При аресте у Ганса Шолля найдут черновик листовки Кристофа Пробста, написанный его рукой. Ганс Шолль попытается незаметно уничтожить листовку, однако ему помешают. Брата и сестру по отдельности допросят во дворце Виттельсбахов, в их показаниях выявятся противоречия. Ганс Шолль попытается убедить гестаповцев, что

случайно нашел черновик в своем почтовом ящике и не знает автора. Он также будет утверждать, что не имеет никакого отношения к распространению листовок и что пустые чемоданы нужны ему для того, чтобы забрать из Ульма свежую одежду. Во время обыска квартиры Шоллей гестапо обнаружит уличающие доказательства, и Ганс Шолль признается перед лицом неопровержимых фактов. После этого они с сестрой будут стараться взять на себя всю вину и тем самым защитить своих сообщников. Уже 22 февраля 1943 года пройдет процесс в Народном суде под руководством его печально известного председателя Роланда Фрейслера. На скамье подсудимых окажутся Ганс Шолль, Софи Шолль и, несмотря на все их усилия, Кристоф Пробст. Все трое будут приговорены к смертной казни через обезглавливание. Казни приведут в исполнение в тот же день, в совместном причастии приговоренным откажут, их прощальные письма не передадут семьям. Однако незадолго до казни Ганс Шолль, Софи Шолль и Кристоф Пробст вместе выкурят сигарету — одну на всех. Последними словами Ганса Шолля станут «Да здравствует свобода!».

Александр Шморель
(3 сентября 1917 года — 13 июля 1943 года)

Согласно его собственным показаниям, об арестах в университете он случайно узнал в трамвае. Из телефонной будки Александр Шморель позвонит в квартиру Шоллей и, услышав на другом конце провода незнакомый мужской голос, поймет, что произошло. После этого он встретится с Вилли Графом, но не сможет убедить его бежать. С помощью своего болгарского друга Николая Д. Николаева-Хамазаспяна и Лило Берндль он получит поддельный паспорт, деньги и теплую одежду. Целью его побега, вероятно, будет Швейцария или лагерь для русских военнопленных под Инсбруком. Как бы то ни было, 21 февраля 1943 года Александр Шморель приедет в замок Эльмау, где прежде бывал на семейных праздниках. Русский кучер спрячет его внутри. Оттуда Александр Шморель позвонит матери Кристофа Пробста, чтобы поинтересоваться его самочувствием, и представится как «Алекси». Предположительно из-за этого подслушанного телефонного звонка он попадет в поле зрения гестапо: в Эльмау прибудут двое офицеров жандармерии и потребуют у него документы. Александр Шморель покажет свой поддельный паспорт, офицеры будут удовлетворены и уйдут. Судя по всему, случившееся убедит Александра

Шмореля вернуться в Мюнхен и спрятаться у друзей. Однако он не будет знать, что гестапо уже объявило его в розыск. 24 февраля Александр Шморель попытается найти пристанище у бывшей сокурсницы в Швабинге, но начнется воздушная тревога. Он найдет свою бывшую сокурсницу в бомбоубежище, где его узнают и выдадут гестапо. Очередная попытка бегства не удастся, Александра Шмореля арестуют и доставят для допроса во дворец Виттельсбахов. О том, что Ганс и Софи Шолль, а также Кристоф Пробст уже мертвы, он узнает только 3 марта.

Александр Шморель станет одним из главных обвиняемых во втором процессе по делу «Белой розы», который 8 апреля 1943 года возглавит Роланд Фрейслер. На этот раз в качестве обвиняемых предстанут одиннадцать человек. Вместе с Вилли Графом и Куртом Хубером Александра Шмореля приговорят к смертной казни через обезглавливание. На этот раз процесс займет больше времени, и смертные приговоры Александру Шморелю и Курту Хуберу приведут в исполнение только 17 июля 1943 года. Однако казнь первого отложится еще на несколько минут, поскольку трое офицеров СС неожиданно захотят наблюдать за исполнением приговора, и

им будут объяснять принцип работы гильотины.

4 февраля 2012 года Русская православная церковь канонизирует Александра Шмореля, он будет почитаться как святой Александр Мюнхенский.

Софи Шолль
(9 мая 1921 года — 22 февраля 1943 года)

После того как Софи с Гансом вернутся в университет, Софи сбросит с балкона пачку листовок, и они разлетятся по всему внутреннему дворику. Скорее всего, именно тогда Софи и привлечет внимание смотрителя. На допросе она признается, что разбрасывала листовки, однако будет утверждать, что ничего не знала об их содержании, и сдастся только после того, как узнает о признательных показаниях брата. Тогда Софи постарается взять всю вину на себя и признается даже в том, чего не делала. Вместо с Гансом Шоллем и Кристофом Пробстом 22 февраля Софи приговорят к смерти и в тот же день казнят. Очевидцы событий сойдутся во мнении, что на допросах, во время суда и на пути к гильотине Софи будет вести себя удивительно спокойно. В бланке, где зафиксирована ее казнь, мужские обозначения будут исправлены на женские — судя по всему, в общую процедуру национал-социали-

стических властей не вписывается женщина как борец сопротивления.

После смерти Софи Шолль быстро станет лицом не только «Белой розы», но и всего немецкого сопротивления. О ней напишут множество книг, графический роман, снимут фильмы, в 2005 году фильм «Последние дни Софии Шолль» будет номинирован на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. В 2021 году по случаю столетия со дня рождения Софи Шолль телеканал ARD даже перенесет ее жизнь в «Инстаграм» [9], создав аккаунт от ее имени.

Кристоф (Кристель) Пробст
(6 ноября 1919 года — 22 февраля 1943 года)

Кристоф Пробст родился в творческой семье, его родители дружат со многими известными деятелями искусства, в том числе с художником Эмилем Нольде. Родители разводятся, и в 1922 году отец женится на еврейке Элизе Яффе. Во время войны она скрывается в крестьянской семье.

В 1935 году, после многочисленных переездов и смен школ, Кристоф Пробст поступает в седьмой класс мюнхенской гимназии на Мюллерштрассе,

---

[9] Примечания: 9

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

где знакомится с Александром Шморелем. Они быстро становятся неразлучны. В следующем году Кристоф Пробст снова меняет школу, однако они с Александром до конца жизни остаются близкими друзьями.

Из-за черновика листовки, которую найдут у Ганса Шолля при аресте, Кристоф Пробст быстро станет одним из главных подозреваемых. Сравнение почерка позволит установить авторство черновика. Его арестуют 20 февраля в казарме в Инсбруке. Он ничего не будет знать ни об акции в университете, ни об аресте Ганса и Софи Шолль. Ради своей семьи на допросах Кристоф Пробст попытается дистанцироваться от группы сопротивления, а написание черновика оправдает депрессией. Ганс и Софи Шолль постараются взять всю вину на себя и тем самым оправдать Кристофа Пробста.

Несмотря ни на что, 22 февраля его вместе с Гансом и Софи Шолль будут судить на первом процессе по делу «Белой розы» и приговорят к смертной казни, которую приведут в исполнение в тот же день. Незадолго до казни Кристоф Пробст примет католичество и получит причастие.

Его жена Герта в это время будет находиться в больнице, страдая от родильной горячки после

рождения третьего ребенка. Она переживет своего мужа на 73 года.

Курт Хубер
(24 октября 1893 года — 13 июля 1943 года)

Курт Хубер происходит из интеллигентной буржуазной семьи, с юных лет преуспевает в учебе. Изучает музыковедение, психологию и философию, по которым в 1920 году защищает докторскую диссертацию, в 1929 году женится на Кларе Шликенридер, в браке с которой у него рождаются двое детей — Биргит (1930–2012) и Вольфганг (род. 1939). Вскоре Курт Хубер становится широко известным в научном мире, особенно благодаря своим публикациям по народному песенничеству и музыкальной психологии. Однако из-за паралича одной стороны лица и тела, вызванного перенесенным в детстве рахитом, национал-социалистическое руководство университета отказывает ему в профессорском звании. Кроме того, Курта Хубера признают «антипартийным» и чрезмерно религиозным. Тем не менее в 1938 году ему предлагают занять место профессора в Мюнхенском университете, а в 1940 году он даже становится членом НСДАП. На протяжении всей жизни его политическая позиция остается противоречивой: с одной сто-

роны, он осуждает национал-социалистическое государство, а с другой — его мышление находится под сильным влиянием национализма. Помимо всего прочего, Курт Хубер до конца верит в превосходство немецкого вермахта.

Он станет свидетелем ареста Ганса и Софи Шолль, поскольку будет находиться в это время в университете. Несмотря на то что Курт Хубер сожжет все компрометирующие материалы, 27 февраля 1943 года его арестуют и на втором процессе по делу «Белой розы» приговорят к смертной казни. Его казнят 13 июля 1943 года всего через несколько минут после Александра Шмореля.

Вилли Граф
(2 января 1918 года — 12 октября 1943 года)

Вилли Граф происходит из строгой католической семьи. В юности был членом католической молодежной организации «Серый орден». После того как организацию запрещают, Вилли Граф отказывается вступать в гитлерюгенд. Как и Ганс Шолль, в 1938 году он на некоторое время попадает в тюрьму за «подрывную деятельность». С 1940 по 1942 год его неоднократно призывают на военную службу в качестве санитара. В отличие от Ганса Шолля и Александра Шмореля, он в это

время успевает побывать на Восточном фронте, совсем недалеко от места их последующего пребывания в Гжатске.

18 февраля Вилли Граф вместе с Трауте Лафренц случайно встретит в университете Софи и Ганса Шолль, ничего не зная об их планах. После ареста Шоллей Вилли Граф договорится о встрече с Александром Шморелем, чтобы обсудить дальнейшие действия. Александр Шморель будет настаивать на побеге, но Вилли Граф решит выждать, чтобы не быть обвиненным в дезертирстве. Около полуночи его вместе с сестрой Аннелизой и соседкой по квартире арестуют. На втором процессе по делу «Белой розы» Вилли Графа приговорят к смертной казни. Аннелизу, которая ничего не знала о деятельности своего брата в рядах сопротивления, освободят.

Вилли Граф не будет казнен вместе с Александром Шморелем и Куртом Хубером, поскольку гестапо все еще надеется получить от него важные сведения о контактах в сопротивлении. Однако он не раскроет никаких имен, и в октябре его также казнят на гильотине. Аннелиза сохранит дневник брата, который впоследствии будет опубликован.

Вопрос о беатификации Вилли Графа обсужда-

ется с 2017 года. Его казнь не станет последней в процессе по делу «Белой розы»: 29 января 1945 года студент-химик Ганс Лейпельт будет обезглавлен за распространение листовок и сбор пожертвований для вдовы Курта Хубера.

Траут Лафренц, в замужестве Лафренц-Пейдж

(3 мая 1919 года — 6 марта 2023 года)

Траут Лафренц считается самым важным связующим звеном с «Гамбургской “Белой розой”», как историки сегодня называют разрозненную сеть оппозиционных семей и групп в Гамбурге. Траут Лафренц не удастся избежать внимания гестапо — на втором процессе по делу «Белой розы» ее приговорят всего к одному году тюремного заключения. Траут Лафренц удастся скрыть свою истинную роль в движении сопротивления, ее признают виновной только в укрывательстве. Однако в 1944 году, уже через несколько недель после освобождения, девушка вновь попадет в тюрьму после расследований о деятельности групп сопротивления в Гамбурге, где будет находиться до конца войны. В 1947 году Траут Лафренц эмигрирует в США, где получит медицинское образование и станет руководителем школы для умственно отсталых детей в Чикаго.

Трауте Лафренц-Пейдж жила в Йонджес-Айленд в Южной Каролине, где скончалась 6 марта 2023 года.

Весной 1943 года все родственники главных обвиняемых (Ганса и Софи Шолль, Кристофа Пробст, Александра Шмореля, Вилли Графа, Курта Хубера) проведут несколько месяцев под стражей по причине «родственной ответственности» — ответственности всей семьи за преступления отдельных ее членов.

Семья Шолль

Роберт Шолль
(13 апреля 1891 года — 25 октября 1973 года)

Роберт Шолль родился в бедной крестьянской семье. После Первой мировой войны, в которой погибают двое его братьев, он становится пацифистом. В 1916 году женится на Магдалене Мюллер, которая старше его на десять лет. К этому времени у него уже есть сын — родившийся в 1915 году Эрнст Грюле, который растет в семье как «приемный». С 1917 года Роберт Шолль становится мэром Ингерсхайма, а с 1919 года — и Форхтенберга. Однако после разногласий с муниципальной администрацией в 1930 году его не переизбирают, и в 1932 году семья переезжа-

ет в Ульм, где Роберт Шолль начинает карьеру налогового аудитора и открывает собственную фирму.

Роберт Шолль вместе с женой будут присутствовать на суде над своими детьми. Он попытается защищать их сам, однако его выведут из зала. Впрочем, родителям удастся коротко переговорить с Гансом и Софи и попрощаться. Из всей семьи Роберт Шолль просидит в тюрьме дольше всех — якобы за прослушивание вражеских радиостанций.

После войны Роберта Шолля назначат бургомистром Ульма, на этой должности он останется с 1945 по 1948 год, а в 1950 году они с женой переедут в Мюнхен.

В последующие годы Роберт Шолль вместе с будущими президентами Германии Густавом Хайнеманом и Йоханнесом Рау станут основателями Общегерманской народной партии, которая будет выступать против перевооружения Германии. После смерти жены Роберт Шолль в 1960 году женится во второй раз и последние годы жизни проведет в Штутгарте.

Магдалена (Лина) Шолль, урожденная Мюллер (5 мая 1881 года — 31 марта 1958 года)

Магдалена Шолль тоже происходит из бедной

семьи. В 23 года рукоположена в диаконисссы и осваивает профессию медсестры. Протестантство на всю жизнь остается для нее важной опорой. Во время Первой мировой войны Магдалена Шолль работает медсестрой в военном госпитале Людвигсбурга, где и встречает Роберта Шолля. У супругов рождается шестеро детей, младшая дочь Тильда, появившаяся на свет в 1926 году, умирает от кори, когда ей не было еще и года. В течение многих лет Магдалена Шолль страдает хроническими заболеваниями желудка и кишечника, что, возможно, вызвано тяжелой работой по хозяйству.

Инге Шолль, в замужестве Айхер-Шолль (11 августа 1917 года — 4 сентября 1998 года)

Под влиянием своего жениха, а позже и мужа, набожного католика и очень известного графического дизайнера Отла Айхера, в день похорон брата и сестры Инге Шолль перейдет в католичество. В 1946 году вместе с Отлом Айхером станет основательницей Ульмского народного университета, а в 1950 году — Ульмской школы дизайна. В 1972 году переедет с мужем в Ротис, район Лёйткирх-им-Альгой, в 1970–1980-е годы будет принимать активное участие в движении за мир.

Нельзя недооценивать роль, которую сыграет Инге Айхер-Шолль в увековечивании истории «Белой розы»: ее книга «Белая роза», опубликованная в 1952 году, закрепит за группой название, которое фактически использовалось только в первых четырех листовках. Из-за своей набожности Инге Айхер-Шолль преувеличит влияние религии на поступки своего брата. Именно благодаря Инге Айхер-Шолль «Белую розу» в первую очередь будут отождествлять с Гансом и Софи Шолль, поскольку в своей книге она пишет по большей части о собственной семье. Она подвергнет цензуре наследие брата и сестры и, таким образом, долгое время будет определять их образ в глазах общественности. Например, Инге Айхер-Шолль до самой смерти будет молчать о том, что Ганса Шолля судили по обвинению в гомосексуализме.

Элизабет (Лизерль) Шолль, в замужестве Хартнагель

(27 февраля 1920 года — 28 февраля 2020 года)

Несмотря на то что Элизабет Шолль приезжала к брату и сестре в Мюнхен за две недели до их ареста, она ничего не знала о движении сопротивления. Да и об аресте Элизабет узнает из газеты. В свой двадцать третий день рождения она вместе

с остальными членами семьи будет заключена под стражу, после чего заболеет хроническим циститом, и ее освободят раньше остальных. После случившегося Элизабет Шолль устроится воспитательницей в детский сад. В 1945 году она выйдет замуж за Фрица Хартнагеля, бывшего жениха своей сестры Софи. Супруги вступят в Социал-демократическую партию Германии и будут участвовать в движении за мир. Элизабет Шолль станет публичной персоной только после смерти своей сестры Инге, чтобы сохранить память о Гансе и Софи. Она умрет ровно на следующий день после своего столетнего юбилея.

Вернер Шолль (13 ноября 1922 года; пропал без вести 7 мая 1944 года)

В отличие от Ганса и Софи Вернер Шолль уходит из гитлерюгенда, еще будучи школьником. Служит рядовым медико-санитарной службы сначала во Франции, а потом в России. Когда Ганса и Софи арестуют, Вернер Шолль будет находиться в Германии в отпуске. После вынесения приговора ему удастся ненадолго увидеться с братом и сестрой. Вместе с Трауте Лафренц будет помогать Герте, жене Кристофа Пробста. Вернера не заключат под стражу, как остальных членов семьи, а отправят на Восточный фронт. В первых

числах мая 1944 года он вместе со своим подразделением будет в Припятских болотах — лесной местности на юге Белоруссии. Там Вернер Шолль, который, по словам его товарища, был очень подавлен после казни брата и сестры, бесследно исчезнет. Неизвестно, будет ли он убит партизанами, как сообщит семье вермахт, или просто дезертирует. В 1961 году Роберт Шолль обратится в Красный Крест с просьбой прекратить поиски его пропавшего сына.

Семья Шморель

Гуго Шморель
(19 февраля 1878 года — 19 июля 1964 года)

В начале 1860-х годов семья Шморель переезжает в Оренбург и до Первой мировой войны считается одной из самых богатых и уважаемых немецких семей в городе. Гуго Шморель проводит в Оренбурге счастливые детство и юность, отчего у него в голове формируется романтический образ царской России, который он передает своим детям. Гуго Шморель изучает медицину в Мюнхене и до начала Первой мировой войны работает ассистентом на кафедре внутренних болезней Московского университета. После этого он возвращается в Оренбург в качестве «гражданского

военнопленного», где руководит госпиталем для немецких и австрийских подданных. Приехав в Германию, получает лицензию ортопеда и открывает свою практику. В мюнхенский круг русских друзей Шмореля входит семья Бориса Пастернака, получившего в 1958 году Нобелевскую премию по литературе за роман «Доктор Живаго». В отличие от Гуго Шмореля, многие его братья и сестры остаются в Советском Союзе — из-за немецкого происхождения их ссылают в Сибирь.

Наталья Шморель, урожденная Введенская (1890–1918)

Наталья Шморель родилась в Кременчуге в семье православного священника. В 1911 году она приезжает учиться в Москву, где и знакомится с Гуго Шморелем. После событий 1914 года она следует за ним в Оренбург, в 1916 году они женятся. Через год у них рождается сын Александр. Наталья умирает от брюшного тифа в 1918 году. Точная дата ее смерти неизвестна.

Элизабет Шморель, урожденная Хоффман (30 августа 1892 года — 3 февраля 1982 года)

Элизабет Шморель родилась в Оренбурге в семье немецкого пивовара. У нее одиннадцать

братьев и сестер, во время Гражданской войны в России большинство из них также бегут в Германию. Две сестры выходят замуж за евреев и после прихода к власти национал-социалистов оказываются вынуждены эмигрировать в Швецию и США. Трое братьев, напротив, становятся обладателями золотого партийного значка НСДАП.

В доме Шморелей также проживают Антония («тетя Тони») Хоффман, младшая сестра Элизабет, горничная Мария Кирмайер, но в романе они не упоминаются.

Эрих Шморель
(8 августа 1921 года — 5 июля 2005 года)

Во время войны Эрих Шморель находится на военной службе, в феврале 1943 года его отправляют во Фрайбург. Он изучает медицину, совсем как его единокровный брат Алекс, и становится ортопедом, как и отец. Позже именно он займется литературным наследием Александра Шмореля и переведет на немецкий язык некоторые из его русских сочинений.

Натали (Наташа) Шморель, в замужестве Ланге
(15 марта 1925 года — 17 января 2016 года)

О ней известно немного, но письма Александра Шмореля из тюрьмы свидетельствуют о том, что особенно он беспокоился о своей младшей единокровной сестре. Впоследствии Натали Шморель сохранит воспоминания о брате и будет выступать за налаживание российско-германских связей.

Njanja, она же Феодосия Константиновна Лапшина

(1884 или 1885 год — 20 сентября 1960 года)

Njanja происходит из многодетной семьи в Волгоградской области, всю жизнь служит у семьи Шморелей, также берет на себя заботу о детях Эриха Шмореля. В Германии официально живет под именем «Франциска Шморель», это же имя указано в свидетельстве о смерти, однако на надгробии ее будет написано только «*Njanja*».

Другие лица (в порядке упоминания в романе)

Старый теолог, он же Карл Мут

(31 января 1867 году — 15 ноября 1944 года)

Публицист и представитель католического экзистенциализма. Наравне с Теодором Хеккером (4 июня 1879 года — 9 апреля 1945 года) считается важнейшим религиозным наставником Ганса

Шолля; часто выступает с лекциями и чтениями на собраниях, которые организует Ганс Шолль. Когда после бомбардировки его дом оказывается разрушен, он переезжает в Ахенкирх. После ареста Ганса и Софи Шолль у него в доме также будет произведен обыск, однако это не приведет к предъявлению каких-либо обвинений.

Манфред Эйкемайер
(30 октября 1903 года — 6 декабря 1978 года)

Художник и архитектор, который предоставляет свою мастерскую в распоряжение «Белой розы» и считается основным источником информации о зверствах на Востоке. В день казни Александра Шмореля и Курта Хубера, 13 июля 1943 года, Манфред Эйкемайер предстанет перед судом по обвинению в «недонесении о планируемой государственной измене», но будет оправдан.

Ангелика (Ангели) Кнуп, урожденная Пробст
(7 апреля 1918 года — 1976 год)

Старшая сестра Кристофа Пробста и бывшая возлюбленная Александра Шмореля, вела переписку с ними обоими. После развода родителей живет в Мюнхене с матерью и единокровным братом по имени Дитер Зассе. Ангелика Пробст поддерживает близкие отношения с Кристофом

Пробстом, после преждевременной кончины отца в 1936 году брат и сестра сближаются еще сильнее. С 1936 года Ангелика Пробст посещает гимнастическую и музыкальную школу сорокалетнего композитора Карла Орфа, с которым вступает в любовную связь. В 1937 году их отношения заканчиваются, Ангелика внезапно бросает школу и вскоре выходит замуж за Бернхарда Кнупа, директора школы-пансиона Мариенау в окрестностях Люнебурга, который на десять лет старше нее. Этот брак, осложненный отношениями Ангелики Кнуп с Александром Шморелем, распадется в конце 1945 года. Уже в январе 1946 года Бернхард Кнуп женится на Аннелизе, младшей сестре Вилли Графа. Они познакомятся во время заключения, где оказались по причине «родственной ответственности».

Ангелика Кнуп-Пробст, как она называет себя позднее, до конца жизни будет хранить многочисленные любовные письма Александра Шмореля, однако попросит, чтобы после ее смерти их уничтожили. Ее семья не выполнит это пожелание и передаст письма настоятельнице монастыря, которая должна будет прочитать их как беспристрастный свидетель той эпохи и принять решение об их дальнейшей судьбе.

Поскольку настоятельница монастыря выступит против уничтожения писем, те будут переданы семье Шморелей и опубликованы в 2011 году вместе с письмами Кристофа Пробста.

Фриц Хартнагель
(4 февраля 1917 года — 29 апреля 2001 года)

Уже в 1936 году Фриц Хартнагель добровольно вступает в ряды вермахта и до конца войны остается кадровым офицером. В 1937 году на чаепитии у общей приятельницы знакомится с Софи Шолль, они встречаются вплоть до смерти Софи, однако из-за службы Фрица бóльшую часть времени проводят порознь. По их сохранившейся переписке видно, как благодаря влиянию Софи Шолль, а также собственному военному опыту Фриц Хартнагель постепенно становится противником войны и нацистского режима. Он будет находиться в военном госпитале в Лемберге, когда узнает об аресте своей невесты, и немедленно отправится в Берлин. Туда ему позвонит Вернер Шолль и скажет, что казнь уже состоялась. В 1945 году Фриц Хартнагель добровольно сдастся в плен американцам, а после освобождения женится на Элизабет (Лизерль) Шолль. Он будет изучать право, вместе с женой вступит в Социал-демократическую партию Германии,

активно выступая против перевооружения страны и за отказ от военной службы по убеждениям. Некоторое время будет занимать должность председательствующего судьи в окружном суде Штутгарта.

Лизелотта (Лило) Берндль, урожденная Рамдор, в замужестве Фюрст-Рамдор
(11 октября 1913 года — 13 мая 2013 года)

Первый муж Лизелотты Берндль — Отто Берндль, сын известного мюнхенского архитектора Рихарда Берндля, погибает в России в мае 1942 года.

Лизелотта Берндль сыграет решающую роль в попытке побега Александра Шмореля: вместе с подругой, мастером художественного переплета, она сделает ему поддельный паспорт, сожжет в печи его форму и солдатскую книжку. После задержания Александра Шмореля ее арестуют, но отпустят за недостаточностью улик. В 1944 году Лизелотта Берндль снова выйдет замуж и с тех пор будет носить фамилию Фюрст-Рамдор. В том же году переедет в Ашерслебен, но в 1948 году сбежит из советской зоны обратно в Баварию, где будет работать учительницей, заниматься живописью и писательством, а также продолжать преподавать гимнастику вплоть до 1999 года.

Хуберт Фуртвенглер
(4 апреля 1918 года — 3 мая 2011 года)

Сын композитора и дирижера Вильгельма Фуртвенглера. В феврале — марте 1943 года Хуберта Фуртвенглера несколько раз допросят по делу «Белой розы», но благодаря заступничеству старшего полкового врача и командира мюнхенской студенческой роты обвинения так и не будут предъявлены. После войны работает в Мюнхене педиатром, женится на концертной пианистке Маргарет Книттель, дочери писателя Джона Книттеля. Дальний родственник актрисы Марии Фуртвенглер.

Раймунд Самиллер, также Раймунд Саммюллер или Самюллер
(даты рождения и смерти неизвестны)

Студент-медик и солдат студенческой роты, входит в круг друзей Ганса Шолля и Александра Шмореля. Погибает в России.

Нелли
(даты рождения и смерти неизвестны)

В литературном наследии Александра Шмореля сохранилось несколько черновиков писем к русской подруге по имени Нелли, в том числе прощальное письмо из тюрьмы. По воспоминаниям

одного из его друзей, Нелли была учительницей, которая хотела свести Александра Шмореля с русскими партизанами. Больше о ней ничего неизвестно. Среди бумаг Александра Шмореля также остался черновик письма к некой Вале.

Имена и профессии остальных упомянутых в романе русских взяты из различных писем, записей из дневников и т. д.

Эрнст Реден
(10 июня 1914 года — 5 августа 1942 года)

Во время военной службы в Ульме знакомится с семьей Шолль. Еще раньше он становится одним из организаторов движения «Спутники», основанного на принципах Молодежного движения от первого ноября тысяча девятьсот двадцать девятого года, также известного как «МД.1.11», и приглашает вступить туда Ганса Шолля.

Участники этого молодежного движения совершают долгие походы в нетронутые цивилизацией места и ночуют в палатках. Первоначально молодежные движения не имеют какого-либо определенного политического направления, но с 1933 года переходят под руководство гитлерюгенда. Однако «спутники» всегда находятся под подозрением, поскольку продолжают сохранять традиции «МД.1.11».

Эрнст Реден, который является гомосексуалом, вступает в связь с Вернером Шоллем, при этом некоторое время встречается с Инге Шолль. Он становится членом Имперского союза немецких писателей и публикует несколько стихотворений. Погибает на Восточном фронте в 1942 году.

Лиза Рempис, в замужестве Шлехе
(7 июня 1923 года — 1971 год)

Подруга детства Софи Шолль. Поначалу она живет в одном доме с тетей Софи, потом переезжает в Лангенбург. После того как семья Шоллей переехала в Ульм, Лиза Рempис и Софи Шолль долгое время переписываются. С 1938 года по 1940 год Лиза Рempис встречается с Гансом Шоллем, однако родители девушки выступают против этих отношений, поскольку Ганс старше Лизы на пять лет. В июне 1942 года Лиза Рempис обручается с Августом Шлехе, за которого потом выходит замуж.

Рольф Фюттеркнехт
(9 апреля 1920 года — 29 октября 1942 года)

В 1933 году Рольф Фюттеркнехт вступает в юнгфольк (младшую возрастную группу гитлерюгенда), а в 1935–1936 годах командиром его отряда становится Ганс Шолль. В это время юно-

ши вступали в сексуальные отношения друг с другом. Позднее на суде оба скажут, что инициатива всегда исходила от Ганса Шолля.

Рольф Фюттеркнехт будет убит в 1942 году под Харьковом. Неизвестно, узнает ли Ганс Шолль о его гибели.

Друг из Ульма, он же Ганс Хирцель
(30 октября 1924 года — 3 июня 2006 года)

Вместе со своей сестрой Сюзанной Хирцель и одноклассником Францем Мюллером создает так называемую группу выпускников Ульмской средней школы, члены которой будут распространять листовки «Белой розы» в Ульме. На втором процессе по делу «Белой розы» юноши будут приговорены к пяти годам лишения свободы каждый, а Сюзанна Хирцель — к шести месяцам заключения.

После войны Ганс Хирцель будет работать в Институте социальных исследований при Университете имени Гёте Франкфурта-на-Майне и редактором газеты «Франкфуртер Хефте». В 1970-х годах он станет членом Христианско-демократическиого союза Германии, но в 1993 году перейдет в правоконсервативную партию, от которой в 1994 году даже баллотируется на пост федерального президента, но в каждом туре

голосования получит наименьшее количество голосов.

Фальк Харнак
(2 марта 1913 года — 3 сентября 1991 года)

Одноклассник и бывший жених Лило Фюрст-Рамдор. После окончания университета работает режиссером и драматургом в Национальном театре в Веймаре и в Народном театре Альтенбурга, пока в 1940 году его не призывают на службу.

Его брат Арвид Харнак считается одним из ведущих фигур «Красной капеллы» — так гестапо называло сеть разрозненных групп сопротивления. Арвид Харнак был казнен в Берлине в декабре 1942 году, а его жена Милдред Харнак-Фиш — вскоре после него, в феврале 1943 года. Фальк Харнак станет обвиняемым во время второго процесса по делу «Белой розы», но, как ни странно, будет оправдан и направлен в Грецию в составе штрафного батальона. Летом 1943 года его собираются арестовать и отправить в концентрационный лагерь, однако ему удается бежать. Фальк Харнак присоединится к греческому партизанскому движению и станет основателем антифашистского комитета «Свободной Германии».

После войны станет известным режиссером

театра и кино.

Ойген Гриммингер
(29 июля 1892 года — 10 апреля 1986 года)

Ойген Гриммингер родом из Крайльсхайма, округа, где Роберт Шолль некогда был мэром, поддерживает «Белую розу» денежными пожертвованиями, часть которых дают его клиенты. Будет арестован и обвинен 2 марта 1943 года в ходе второго процесса по делу «Белой розы». Государственный обвинитель потребует смертной казни, однако Ойгена Гриммингера приговорят к десяти годам лишения свободы. В том же году, 10 апреля, его жену-еврейку депортируют и убьют в Аушвице. Узнав о ее смерти, Ойген Гриммингер попытается покончить с собой, но выживет. После войны он станет президентом региональной ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Штутгарта и будет заниматься охраной животных.

Роза Нэгеле, в замужестве Михель
(20 июля 1921 года — 23 апреля 2013 года)

В марте 1941 года Ганс Шолль и Роза Нэгеле закрутили роман во время лыжного похода, но их отношения продлились всего месяц. После расставания они остались друзьями и продолжа-

ли переписываться. В ноябре 1942 года во время поездки в Штутгарт Ганс Шолль и Александр Шморель попытались убедить брата Розы, Ганспетера, присоединиться к сопротивлению, но получили ответ, что их затея — «самоубийство».

Гизела Шертлинг
(9 февраля 1922 года — 8 ноября 1994 года)

Гизела Шертлинг стоит в толпе студентов во внутреннем дворике во время ареста Ганса и Софи Шолль. Предположительно именно ей Ганс Шолль сказал: «Иди домой и скажи Алексу, когда придет, чтобы не ждал меня». Гизелу арестуют в этот же день. Не выдержав давления, она даст подробные признательные показания, однако ей это не поможет: на втором процессе по делу «Белой розы» Гизелу Шертлинг приговорят к одному году тюрьмы за «укрывательство». После войны она выучится на преподавателя религии, катехизиса и органиста и будет работать в Фриденскирхе в Вильдау и станет членом Ассоциации протестантских церквей ГДР.

Гауштудентенфюрер, он же Юлиус Дёрфлер
(предположительно 19 мая 1910 года — дата смерти неизвестна)

Написал мемуары (не опубликованы), в связи

с чем можно предположить, что он пережил войну.

Гауляйтер, он же Пауль Гислер
(15 июня 1895 года — 8 мая 1945 года)

В 1941–1943-х годах гауляйтер Южной Вестфалии, а с 1942 года — Мюнхена и Верхней Баварии. В конце войны покончит жизнь самоубийством.

Двое братьев из Саара, они же Генрих (Хайнц) и Вильгельм (Вилли) Боллингер

Если Хайнц (23 апреля 1916 года — 17 июля 1990 года) не участвует в кампаниях по распространению листовок «Белой розы», считая их преждевременными, то его брат Вилли (10 июня 1919 года — 7 января 1975 года) распространяет в Сааре пятую листовку и передает противникам национал-социализма огнестрельное оружие. Во время второго процесса по делу «Белой розы» в 1943 году Хайнца Боллингера приговорят к семи годам тюремного заключения, в то время как Вилли Боллингера в 1944 году заключат в тюрьму всего на три месяца — ему удастся скрыть свою истинную роль в движении сопротивления. После войны Хайнц Боллингер станет профессором психологии в Лёррахе, а Вилли Боллингер — химиком в Вуппертале.

Благодарности

Я бы хотела выразить благодарность городу Грацу, который поддержал работу над этим романом литературной стипендией, и Берлинскому литературному коллоквиуму, в священных залах которого были написаны первые главы.

Я бы хотела выразить благодарность молодежной литературной мастерской Граца, где поддерживали мои литературные начинания с самого раннего детства. Некоторые части романа были переработаны на семинаре «Молодая литература — 2020» в Рецхофе. Большое спасибо всем участникам за конструктивную критику!

Я бы хотела выразить благодарность Петре Эггерс и Норе Бёкль из агентства «Эггерс», которые с самого первого романа поддерживали меня словом и делом и на которых я могу положиться во время свойственных всем писателям взлетов и падений.

Я бы хотела выразить благодарность своему редактору Магдалене Хеер и руководителю направления Сюзанне Кронес, которые с самого начала не побоялись такой серьезной темы и тем

самым способствовали публикации этого романа. Большое спасибо Магдалене за конструктивную критику и за письма с предложениями, которые, даже если автору не хочется это признавать, всегда приводили к улучшению текста.

Я бы хотела выразить благодарность Франциске Бауэр, которая помогла мне с русскими словами и репликами. Если в них все же есть ошибки, то это полностью моя вина.

Я бы хотела выразить благодарность моим брату и сестре, Паулю и Дотти, а также моим родителям Катрин и Чарли. Вы доказали, что писателем можно стать, имея прекрасное детство.

И конечно, больше всего мне бы хотелось поблагодарить моего мужа Александра, который всегда верил в меня и верил в эту книгу даже тогда, когда я сама не верила. Да и вообще, он — лучший на свете муж.

Список литературы

Aicher-Scholl I. Die Weiße Rose. Erweiterte Neuausgabe. Frankfurt am Main, 1994.

Aicher-Scholl I. (Hg.). Sippenhaft. Nachrichten und Bot-schaften der Familie in der Gestapo-Haft nach der Hin-richtung von Hans und Sophie Scholl. Frankfurt am Main, 1993.

Bald D. Von der Front in den Widerstand. Berlin, 2004.

Breinersdorfer F. (Hg.). Sophie Scholl. Die letzten Tage. Frankfurt am Main, 2005.

Büttner J., Grandy J. Weiße Rose. Die App. München, 2020.

Chaussy U., Ueberschär G. R. "Es lebe die Freiheit!" Die Geschichte der Weißen Rose und ihrer Mitglieder. Frankfurt am Main, 2013.

Claudel P. Der seidene Schuh oder Das Schlimmste trifft nicht immer zu. Salzburg, Leipzig, 1939. Издание на русском: *Клодель П.* Атласный башмачок / Пер. с фр. Е. Богопольской. Москва, 2010.

Ellermeier B. Hans Scholl. Hamburg, 2012.

Ellermeier B. Sophie Scholl. Lesen ist Freiheit! München, 2018.

Gebhardt M. Die Weiße Rose. Wie aus ganz normalen Deutschen Widerstandskämpfer wurden. München, 2018.

Gottschalk M. Sophie Scholl. Wie schwer ein Menschenleben wiegt. Eine Biografie. München, 2020.

Jens I. (Hg.). Hans Scholl. Sophie Scholl. Briefe und Auf-zeichnungen. Frankfurt am Main, 1988.

Knab J. Ich schweige nicht. Hans Scholl und die Weiße Rose. Darmstadt, 2018.

Knoop-Graf A., Jens I. (Hg.). Willi Graf. Briefe und Aufzeichnungen. Frankfurt am Main, 1988.

Mertz T. Christoph Probst. Ein Student der «Weißen Rose». Trier, 2020.

MIR e. V., Zentrum russischer Kultur in München (Hg.). Alexander Schmorell und sein Weg vom Widerstandskämpfer zum Heiligen. MIR-Kalender. München, 2018.

Moll Ch. (Hg.). Alexander Schmorell. Christoph Probst. Gesammelte Briefe. Berlin, 2011.

Munier J. N. Lebenswelten
und Verfolgungsschicksale homosexueller Männer in Baden und Württemberg im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2021.

Sachs R. H. White Rose History. Vol. 1. Coming Together. Academic Version. Utah, 2003.

Sachs R. H. White Rose History. Vol. 2. Journey to Free-dom. Academic Version. Utah, 2005.

Schüler B. “Im Geiste der Gemordeten …”: die “Weiße Rose” und ihre Wirkung in der Nachkriegszeit. Paderborn, 2000.

Seybold K. (Regie). Die Widerständigen. Zeugen der Weißen Rose. Dokumentarfilm. München, 2015.

Vinke H. Das kurze Leben der Sophie Scholl. Ravensburg, 2005.

Zankel S. Die “Weisse Rose” war nur der Anfang. Köln, 2006.

Zoske R. M. Flamme sein! Hans Scholl und die Weiße Rose. München, 2018.